

II
42448



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ



СЕРИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

ВЫПУСК 14

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОРДЕНА ЛЕНИНА УНИВЕРСИТЕТА
им. А. А. ЖДАНОВА
ЛЕНИНГРАД
1949

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА
УНИВЕРСИТЕТ им. А. А. ЖДАНОВА

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ

СЕРИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Выпуск 14

42448
Редакционная коллегия: чл.-корр. АН СССР
проф. В. М. Жирмунский, проф. Б. А. Ларин
и проф. Р. А. Будагов

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОРДЕНА ЛЕНИНА УНИВЕРСИТЕТА
им. А. А. ЖДАНОВА
ЛЕНИНГРАД
1949

ОТ РЕДАКЦИИ

Этот сборник лингвистических статей посвящается светлой памяти профессора Льва Петровича Якубинского. Он был собран в 1945 году вскоре после смерти Льва Петровича. Выпуская этот сборник, Филологический факультет Ленинградского университета им. А. А. Жданова вспоминает лингвиста, который талантливо разрабатывал актуальные вопросы советского языкознания: проблему становления и развития национальных языков, проблему языка пролетариата, проблему стилей русского литературного языка и многие другие вопросы советской лингвистики. Лев Петрович Якубинский прошел сложный научный путь, иногда ошибался в методологических вопросах (например, в вопросе о происхождении славянских языков, в оценке формальной сравнительной грамматики), но он искренне пересматривал свои позиции, чутко прислушивался к критике, смело ставил и разрабатывал новые важные для советской науки проблемы. В лице Л. П. Якубинского наша наука потеряла крупного советского ученого.



Лев Петрович ЯКУБИНСКИЙ

Проф. Л. П. ЯКУБИНСКИЙ

(Некролог)

Э. Якубинская-Лемберг

23 августа 1945 г. в Ленинграде скончался профессор Лев Петрович Якубинский. Тяжелая болезнь, обострившаяся за годы блокады, вырвала его из наших рядов сравнительно молодым, полным творческих замыслов и планов. В его лице русская лингвистика потеряла талантливого ученого, блестящего лектора, прекрасного организатора и воспитателя лингвистических и учительских кадров.

Л. П. Якубинский родился в 1892 г. в Киеве в семье военного педагога. Среднее образование получил в Киеве. Еще в средней школе у Л. П. проявились литературные наклонности. Уже в 1908—1909 гг. в киевском журнале „Литературно-научный сборник“ появляются его статьи и заметки о Бальмонте, Тургеневе, а также ряд его собственных стихотворений.

По окончании средней школы Л. П. в 1909 г. поступил в Киевский университет на историко-филологический факультет, откуда в том же году перевелся в Петербургский университет на тот же факультет.

В 1911 г. Л. П. пишет первую научную работу—медальное сочинение на тему: „Психофонетические нули в русском языковом мышлении“, удостоенное серебряной медали (по отзыву проф. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ). По окончании университета в 1913 г. Л. П. был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию.

Уже в бытность студентом старшего курса Л. П. занимался под руководством проф. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ (Ригведа, резьянские говоры, литовский язык), проф. М. Фасмера (древне-греческие диалекты, албанский язык),

акад. А. А. Шахматова (русский язык, сербо-хорватский, словинский), акад. Л. В. Щербы (экспериментальная фонетика) и др. В 1917 г. сдал три (из четырех) магистерских экзамена; последний магистерский экзамен (сравнительное языкознание) сдал в 1923 г. По сдаче магистерского экзамена в 1923 г. читал в заседании факультета две пробные лекции на темы: „Об арго одного из детских домов“ и „Отражение ъ в чакавских говорах“. В том же году Л. П. был назначен доцентом Ленинградского гос. университета с поручением ему чтения курса общего языковедения.

С 1913 г. Л. П. работал в средней школе в качестве преподавателя русского языка. После Великой Октябрьской социалистической революции продолжал работу в средней школе. Занимая ряд административных должностей, принял активное участие в строительстве советской школы. С 1922 г. Л. П. прекратил работу в средней школе, но никогда не терял к ней живого интереса.

Понимая, какую большую роль играет советское учительство в поднятии общей культуры и в частности культуры речи широких масс, Л. П. вел большую общественно-научную работу среди преподавателей средних школ, выступал с докладами по вопросам языковой культуры на учительских конференциях, участвовал в дискуссиях, борясь с формализмом в преподавании родного языка, читал лекции по истории русского языка в Институте усовершенствования учителей и в специальном семинаре, организованном Горono при Ленинградском институте языкознания. Л. П. также принимал участие в составлении и рецензировании учебников и программ по русскому языку для средней школы.

С 1924 по 1928 г., работая в Ленинградском отделении Главнауки (впоследствии—Управление уполномоченного Наркомпроса) в качестве ученого специалиста, заведывающего Отделом научных учреждений и инструктора, Л. П., вместе с В. Б. Томашевским, принял участие в организации ряда научных учреждений Ленинграда.

Педагогическую деятельность в высшей школе Л. П. начал еще в 1915/16 г. на высших курсах имени Лесгафта и на высших курсах Лохвицкой-Скалон (читал курс общего языковедения). В 1918/19 г. состоял профессором 3-го Педагогического института (позднее им. А. И. Герцена) и Института живого слова. После 1923 г. наряду с преподаванием в Ленинградском гос. университете в звании доцента, а затем профессора, преподавал в различных высших учебных заведениях Ленинграда: в Педагогическом институте им. Герцена, в Институте агитации им. Володарского, Фонетическом

институте и др. С 1934 г. по 1943 г. работал в Педагогическом институте им. Покровского в качестве профессора, заведующего кафедрой и декана литературного факультета.

Прекрасный лектор, Л. П. умел увлечь свою аудиторию постановкой широких принципиальных вопросов по языку, которые с начала тридцатых годов он пытался разрешать на основе марксистско-ленинской методологии.

С 1921 г. по 1937 г. Л. П. работал в научно-исследовательском Институте сравнительного изучения языков и литератур Запада и Востока (ИЛЯЗВ), преобразованном впоследствии в Государственный Институт речевой культуры (ГИРК) и позднее в Ленинградский научно-исследовательский институт языкознания (ЛНИЯ)—в качестве научного сотрудника, действительного члена, заведующего сектором языка, ученого секретаря и затем директора института.

С 1924 г. Л. П. в разное время состоял научным сотрудником в различных научно-исследовательских институтах (в б. Яфетическом институте, Гос. Институте истории искусств, Институте языка и мышления им. Н. Я. Марра АН СССР).

1936/37 учебный год Л. П. провел по командировке Наркомпроса в Турции в г. Анкаре, где преподавал русский язык в Институте языка, истории и географии. Живя в Турции, Л. П., естественно, с большим интересом занимался турецким языком. В рукописях Л. П. сохранился ряд очень любопытных замечаний о некоторых грамматических категориях турецкого языка.

Первая научная работа была выполнена Львом Петровичем в 1911 г., когда он, еще будучи студентом университета, написал свою медальную работу; по отзыву проф. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ „теоретические соображения автора выделяют человека, очень тонко мыслящего и глубоко проникающего в суть предмета“.

Первые печатные работы Л. П. посвящены вопросам поэтического языка и имеют еще формалистический характер. В этом кратком очерке жизни и деятельности Льва Петровича мы не ставим своей задачей дать анализ эволюции его лингвистического мировоззрения. Укажем только, что после Великой Октябрьской социалистической революции Л. П. тщательно изучает труды классиков марксизма-ленинизма, пересматривает свои философские позиции и понимание исторического процесса.

С 1923 г. Л. П. увлекся учением акад. Н. Я. Марра, приняв его принципиальные положения. Со свойственной ему искренностью Л. П. отказывается от некогда принятых им лингвистических позиций. Совместная работа с акад. Н. Я. Марром укрепляет и расширяет понимание Львом

Петровичем основ марксистско-ленинского языковедения. Николай Яковлевич высоко ценил Льва Петровича, как лингвиста, о чем он неоднократно высказывался устно и письменно.

Когда в 1932 г. Н. Я. Марр получил предложение Учпедгиза взять на себя редактирование „Курса общего языкознания“ и организовать составление этой книги, Николай Яковлевич обратился с письмом к Л. П., в котором, между прочим, писал: „Я бы охотно проредактировал работу, если бы Вы взяли на себя ее составление, так как считаю Вас одним из наиболее подготовленных это сделать“.

Научно-исследовательская работа Л. П. протекала преимущественно в стенах ИЛЯЗВ (ГИРК, ЛНИЯ), с которым он был особенно тесно связан, начиная с 1928 г., когда в качестве заведующего сектором языка, а затем ученого секретаря института принимал непосредственное участие в организации научной работы лингвистической секции, позднее преобразованной в Институт языкознания. Человек большого научного темперамента, Л. П. широко делился своими мыслями, научными поисками с товарищами по работе, а также с аспирантами, неизменно призывая их на конкретном материале изучаемых ими языков разрешать принципиальные проблемы общего языкознания.

К этому времени относятся его работы по историческому синтаксису, по вопросам периодизации истории русского языка, по возникновению национальных языков. Его лингвистические идеи нашли отклик в целом ряде кандидатских диссертаций аспирантов ЛНИЯ, а также в работах сотрудников института.

В последние годы перед войной Л. П. много работал над историей русского языка. Работая над вводной частью курса „История русского языка“, он заново пересмотрел вопрос о месте русского языка среди других славянских языков. Построения буржуазной лингвистики, констатирующей факты и объясняющей их из абстрактно понятого праязыка или отказывающейся от объяснения причин сходств между языками, Л. П. удовлетворить не могли. Ему нужно было вскрыть и понять исторические причины, обусловившие разительную близость строя всех славянских языков. Эти причины могли лежать только в истории славянских народов. В поисках марксистского разрешения этих вопросов Л. П. снова штудировал классический труд Ф. Энгельса: „Происхождение семьи, частной собственности и государства“, в котором он и находит историческое обоснование близости языковых групп. Близость славянских языков объясняется языковыми закономерностями родового быта.

Итоги своих исследований и свою точку зрения по этим вопросам Л. П. изложил в своем труде „Лекции по истории русского языка“, над которым он трудился в последние годы перед войной. Работая над своей книгой, Л. П. очень много внимания уделял языку и стилю собственного изложения. Ему хотелось, чтобы о самых сложных вещах было рассказано простым и доступным для широких читающих кругов языком. Образцом для него всегда служил язык и стиль „Краткого курса истории Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)“. Книга Льва Петровича была принята к печати в ЛОУЧГИЗ'е весной 1941 г.; наступившие затем годы Великой Отечественной войны задержали ее печатание. Приходится глубоко сожалеть, что эта интересная книга до сих пор не опубликована.

В 1941 г. Л. П. не захотел покинуть Ленинграда. Твердо уверенный в окончательной победе Советского Союза, Л. П. мужественно переносил все тяготы жизни 1941/42 года в Ленинграде. Живя в Педагогическом институте им. Покровского, Л. П. своей верой в победу поддерживал в самые тяжелые дни настроение студентов всего своего факультета. При свете коптилки он писал задуманный им учебник „Введение в языкознание“, в котором хотел подвести итог своим научным воззрениям по общим вопросам развития языка.

Когда в блокированном Ленинграде начинает работать единственное гуманитарное высшее учебное заведение— Педагогический институт им. Герцена, Л. П. с энтузиазмом принимается за любимое дело воспитания молодых советских педагогических кадров в качестве профессора, заведующего кафедрой и декана литературного факультета. Но работа в суровых условиях была не под силу уже подорванному здоровью, и зимой 1944 г. болезнь приковала его к постели. Оправившись за лето, Л. П. осенью 1944 г. вновь принимается за любимую работу. Будучи не в силах передвигаться по городу, он ведет специальный семинарий со студентами ЛГУ и консультирует аспирантов на дому.

С открытием Института русского языка Академии Наук СССР осенью 1944 г. Л. П. привлекается к работе Института в качестве старшего научного сотрудника. Несмотря на прогрессирующую болезнь, Л. П. еще весной 1945 г. упорно работал над собиранием материала по истории русского литературного языка XVII в.

Надежды на улучшение состояния здоровья, которые и сам Л. П. и окружающие возлагали на лето, не оправдались. 23 августа „погас источник мысли“.

СПИСОК ПЕЧАТНЫХ НАУЧНЫХ РАБОТ, СТАТЕЙ И ЗАМЕТОК ПРОФ. Л. П. ЯКУБИНСКОГО

1. Первые печатные опыты относятся к 1903—1909 гг. и помещены в киевском журнале „Литературно-научный сборник“ (статьи и заметки о Байроне, Тургеневе, Бальмонте, а также ряд стихотворений).
2. Психофонетические нули в русском языковом мышлении—медальная университетская работа (не напечатана). Печатный отзыв проф. Бодуэна-де-Куртенэ с изложением содержания в „Отчете СПб. Университета за 1912 г.“, СПб. 1913, стр. 195—198.
3. Рецензия на работу акад. Шахматова „Введение в историю русского языка“.—„Современный мир“ 1916, № 5—6, стр. 120—121.
4. О звуках стихотворного языка. Сборники по теории поэтического языка. Пгр., 1916, вып. I, стр. 16—30.
5. Скопление одинаковых плавных в практическом и поэтическом языках.—Там же, Пгр., 1917, вып. II, стр. 15—23.
6. Осуществление звукового единообразия в творчестве Лермонтова.—Там же, стр. 63—70.
7. О поэтическом глоссемосочетании.—Сб. „Поэтика“, Пгр. 1919, стр. 5—12.
8. О звуках стихотворного языка.—Там же, стр. 37—49. (Перепечатка, см. № 4).
9. Скопление одинаковых плавных в практическом и поэтическом языках.—Там же, стр. 50—57. (Перепечатка, см. № 5).
10. Краткая запись выступления на открытии Института живого слова 15 ноября 1918 г.—Записки Института живого слова. Пгр., 1919, вып. I, стр. 10.
11. Программы курсов „Семантика“ и „Эволюция речи“.—Там же, стр. 71 и 85—86.
12. Откуда берутся стихи.—„Книжный угол“, 1921, № 7, стр. 21—25.
13. По поводу книги В. М. Жирмунского „Композиция лирических стихотворений“.—Там же, 1922, № 8, стр. 54—58.
14. О диалогической речи.—„Русская речь“, I. Пгр., 1923, стр. 96—194.
15. Выражение общеславянского-ѣ в чакавском. Zeitschrift für slavische Philologie, 1924, Bd. I, Hft. 3/4, стр. 381—396.
16. Ленин „о революционной фразе“ и смежных явлениях. Доклад, прочитанный в 1924 г. на торжественном траурном собрании, посвященном памяти В. И. Ленина.—„Печать и революция“, 1926, № 3, стр. 5—17.
17. О снижении высокого стиля у Ленина.—„Лепф“, 1924, № 1 (5), стр. 71—80.
18. Советы начинающим учиться писать.—Коммунистический университет на дому, 1925, № 6, стр. 189—201.
19. Второе издание статьи под № 18 в сборнике „Деловая речь“. М., 1926. (Напечатана как приложение к сборнику, без ведома автора).
20. Заметка о современном русском языке. „Журналист“, 1925, № 2 (18).
21. Несколько замечаний о словарном заимствовании.—Язык и литература, 1926, т. I, вып. 1—2, стр. 1—19.
22. К палеонтологии названий для „половины“.—Языковедные проблемы по числительным, I. Сборник статей под ред. Н. Я. Марра, Л. 1927, стр. 191—201.
23. Ф. де Соссюр о невозможности языковой политики.—„Языковедение и материализм“. Под ред. Н. Я. Марра, вып. 2, М. 1931, стр. 91—104.
24. О работе начинающего писателя над языком своих произведений. „Литературная учеба“, 1930, № 1, стр. 34—43.
25. О языковой ответственности писателя. (Совместно с А. М. Ивановым).—Там же, 1930, № 2, стр. 32—47.

26. О теоретической учебе писателя. (Совместно с А. М. Ивановым). Там же, 1930 № 3, стр. 49—64.
27. Язык крестьянства.—Там же, 1930, № 4, стр. 80—92.
28. То же (продолжение).—Там же, 1930, № 6, стр. 51—66.
29. Язык пролетариата.—Там же, 1931, № 7, стр. 22—33.
30. Русский язык в эпоху диктатуры пролетариата.—Там же, 1931, № 9, стр. 66—76.
31. О научно-популярном языке.—Там же, 1931, № 1, стр. 49—64.
32. Русский язык в эпоху диктатуры пролетариата. Статья вторая.—Там же, 1931, № 3, стр. 82—103.
33. Тезисы к докладу „Проблемы синтаксиса в свете нового учения о языке“. Материалы к докладам на Ленинградской конференции педагогов-словесников, Л. 1931, стр. 6—11.
34. Очерки по языку (совместно с А. М. Ивановым). М.—Л., ГИХЛ, 1932.
35. Против „даннловщины“.—Сб. „Против буржуазной контрабанды в языкознании“.—Л. 1932, стр. 47—65.
36. Статьи „Происхождение языка“, „О некоторых особенностях звукового языка“, „О классовых языках“, „Историческая справка о сложном предложении“.—„Учебник русского языка“, Л., 1932, стр. 82—86, 86—90, 90—97, 65—69.
37. Выступление по докладу Б. Д. Грекова „Рабство и феодализм в Киевской Руси“.—Известия ГАИМК, вып. 86, 1934, стр. 127—129.
38. Живой Марр.—„Литературный Ленинград“, 1934, №64 (86).
39. Советская лингвистика.—„За пролетарские кадры“, 1934, № 22 (71).
40. Новаторы и пуристы.—„Литературный Ленинград“, 1934, № 13 (35).
41. Изложение доклада на диспуте о литературном языке в Доме ученых.—„Литературная газета“, 1934, № 56 (372) и „Литературный Ленинград“, 1934, № 21 (43).
42. Величайший поэт. Памяти Маяковского.—„За пролетарские кадры“ 1936, №41 (39).
43. Редактирование „Хрестоматии по истории русского языка“ С. П. Обнорского и С. Г. Бархударова. ч. I, Учпедгиз, Л., 1938.
44. Учебное пособие по истории русского языка для пединститутов. (Принято к печати в Учпедгизе, 37 печ. листов).
45. Образование народностей и их языков.—Вестник Ленингр. ун-та 1947, № 1, стр. 139—153.
46. О языке „Слова о полку Игореве“.—Доклады и сообщения Института русского языка АН СССР, вып. II, М.—Л., 1948, стр. 69—79.

«ПОУЧЕНИЕ» МОНОМАХА КАК ПАМЯТНИК ДРЕВНЕ- РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Проф. Л. П. Якубинский

1. Поучение Владимира Мономаха (род. 1053 г.—ум. 1125 г.) является одним из важнейших памятников древнерусской литературы и древнерусского литературного языка. Оно написано в конце XI или в первой четверти XII века. Поучение Мономаха написано на древнерусском, а не на церковнославянском литературном языке.

Поучение по своему составу сложно. Мы остановимся прежде всего на языке т. н. «летописи» Мономаха, в которой он в назидание детям и другим читателям описывает свои ратные и охотничьи подвиги.

Хотя Поучение Мономаха обращено в первую очередь к его детям, но оно и по замыслу и по выполнению отнюдь не является частным документом, частным завещанием, но подлинным литературным произведением, рассчитанным и на постороннего читателя. Сам Мономах в начале Поучения говорит: «Да дѣти мои или инѣ кто, слышавъ сю грамотицу, не посмѣйтеся».

Поучение Мономаха дошло до нас в Лаврентьевском списке Повести временных лет под 1096 г.

2. Обратим прежде всего внимание на соотношение полногласных и неполногласных форм в «летописи» Мономаха. Приведу материал, расположенный в порядке изложения «летописи»:

головнѣ	тое же зимы той посласта брата Берестию на головнѣ , иде биху пожгли
городъ	той ту блюд[ох]ъ городъ тѣхъ
золота	и вдахъ отцю 300 гривень золота
полонъ	а се мечи и полонъ весь отъяхомъ
городъ	извѣяхомъ городъ и не оставихомъ у него ни челядина, ни скотины

<i>передъ</i>	и на весну посади мя отецъ в Переяславли <i>передъ</i> братьею
<i>городу</i>	и ѣдучи к Прилуку <i>городу</i>
<i>напередъ</i>	но оружье бяхомъ услали <i>напередъ</i> на повозѣхъ
<i>городъ</i>	и внидохомъ в <i>городъ</i>
<i>горѣдъ</i>	и потомъ на Торческый <i>городъ</i>
<i>сторонѣ</i>	и паки на той же <i>сторонѣ</i> у Красна Половци побѣди- хомъ
<i>перевоза</i>	и ѣххомъ сквозѣ полкы Половьчскиѣ... и с дѣтми и с женами, и облизахутся на насъ акы волци стояще и отъ <i>перевоза</i> и з горъ
<i>неврежени</i>	богъ и святыи Борисъ не да имъ мене въ користь. <i>неврежени</i> доидохомъ Переяславлю
<i>голода</i>	многы бѣды прияхомъ отъ рати и отъ <i>голода</i>
<i>перѣздилъ</i>	днемъ есмъ <i>перѣздилъ</i> до вечерни
<i>молодыхъ</i>	и инѣхъ кметий <i>молодыхъ</i> 15
<i>чередамъ</i>	по <i>чередамъ</i> избѣено не съ 200 в то <i>время</i> лѣпшихъ- <i>время</i> см. предыдущий пример
<i>неврежена</i>	и богъ <i>неврежена</i> мя съблюде
<i>голову</i>	<i>голову</i> си розбихъ дважды
<i>вередихъ</i>	и руцѣ и нозѣ свои <i>вередихъ</i>
<i>вередихъ</i>	въ уности своей <i>вередихъ</i>
<i>головы</i>	не щадя <i>головы</i> своя

3. Из 23 случаев, приведенных в предыдущем параграфе и исчерпывающих весь соответствующий материал «летописи», только в трех случаях: в то время (-тогда), *неврежени* «невредимы» и *неврежена* мы имеем неполногласные формы. При этом выражение в то время, как и само слово *время* могло бытовать в повседневном разговорном языке образованных людей Киева, как заимствование из церковнославянского уже обрусевшее (ср. *время* в современном литературном языке). Для автора, повидимому, в этом случае не было выбора между полногласной и неполногласной формой; он употребил единственно ему свойственную неполногласную форму *время*, как употребляет ее каждый из нас. Что касается форм *неврежени*, *неврежена*, то, повидимому, с этим словом были связаны какие-то религиозные ассоциации в том смысле, что своей невредимостью после испытанных опасностей и испытаний человек обязан богу; на это определенно указывает контекст, в котором появляются эти два слова в «летописи» (см. в предыдущем параграфе); с другой стороны, когда речь идет о конкретном простом членовредительстве («и руцѣ и нозѣ свои вередихъ»), этот же корень употребляется в полногласной форме. Как бы то ни было, как видно из приведенного материала, древнерусские полногласные формы в «летописи» Мономаха совершенно подавляющим образом преобладают над церковнославянскими неполногласными, хотя перед автором и была возможность, как это мы и встречаем в других текстах, написать вместо *город*—град, вместо *голод*—глад, вместо *золото*—злато, вместо *молодых*—младых и т. п.

4. Отметим соотношение форм с *ч* в соответствии с церковнославянским *щ* (за исключением причастных форм).

помочь на весну Глѣбови в *помочь*
тысячь и срътоша ны внезапно Половечьскыѣ князи 8 *тысячь*,
дщерь створихомъ миръ съ А[е]пою и поимъ у него *дщерь*
ночь то самъ есмь створилъ дѣла на войнѣи на ловѣхъ *ночь* и день.

Как видим, в этой категории слов форм с *щ* вовсе нет. Особо укажем на соотношения *щ* и *ч* в причастных формах.

ѣдучи и *ѣдучи* к Прилуку городу
вдадуче бишася дружина моя с нимъ... и не *вдадуче* имъ въ острогъ
горящихъ съжаливъ си хрестьяныхъ душъ и селъ *горящихъ* и монастырь
стояще и ѣхачомъ сквозъ полкы Половчскыѣ не въ 100 дружинъ и с дѣгми и с женами, и облизахутся на насъ акы волци *стояще*
терпяче и потомъ ходихомъ къ Володимерю на Ярославця, не *терпяче* злюбъ его

Горящихъ с *щ* употреблено потому, что форма *горящихъ* (с *ч*) имела бы значение прилагательного, как и в современном русском языке. В древнерусской письменности употребляется и прилагательное *горячий*; ср. в Лаврентьевском списке Повести временных лет под 992 г. «И налѣзоша быкъ великъ и силенъ и повелѣъ раздражити быка; возложиша на нь желѣза *горяча*, и быка пустиша...». Здесь была бы невозможна форма *горяща* (с *щ*). Форма *стояще* (вместо *стояче*), возможно, навеяна всем предшествующим риторическим оборотом, подсказавшим церковнославянский, стилистически «высокий» вариант причастия: *облизахутся акы волци (стояще)*.

прочитаючи сю грамотицю *прочитаючи*
славяще славяще бога с святыми его
боячи смерти бо ся дѣти не *боячи*

Мы видим, таким образом, что и в этом случае древнерусские формы с *ч* подавляющим образом преобладают над формами с *щ* (при этом употребление форм с *щ* находит себе объяснение в контексте); и здесь перед автором была возможность, если бы в его литературном языке была бы установка на церковнославянщину, написать *помощь*, *тысящъ*, *дщерь*, *нощъ* и др.

5. В соответствии с церковнославянским $\text{—}\epsilon$ в начале слова имеем в «летописи» только *о*, равно как в соответствии с церковнославянским *ю—у*:

одиного толко Семцю яша *одиного*
одиного и мировъ есмъ створилъ... безъ *одиного* 20

олень *олень* мя *одинъ* боля
одинъ см. предыдущий пример
осень и на ту *осень* идохомъ к Мѣньску
уности в *уности* своей вередихъ

Отметим типичные (по сравнению с церковнославянскими я, а) древнерусские флексии на ѣ (-е) в род. ед. ж. р.:

тое же зимы тое же зимы той посласта брата
тое ночи и бѣжаша на Сулу *тое* ночи
с Вороницѣ идохом другое с *Вороницѣ*

Но имеем и единичное:

головы своя не щадя *головы своя*

Винит. мн.

Вятичѣ идохъ сквозѣ *Вятичѣ*
на головнѣ посласта Берестию брата на *головнѣ*
вежѣ с Ростиславомъ у Варина *вежѣ* взяхомъ
половѣчскѣ ѣяхомъ сквозѣ полки *половѣчскѣ*
своѣ а-дая скота много и многы порты *своѣ*
дикиѣ ималъ есмъ сноима рукама тѣ же кони *дикиѣ*
убогѣѣ вдовицѣ и худаго смерда и *убогѣѣ* вдовицѣ не далъ есмъ
 сильнымъ обидѣти.

Ср. также в именит. пад. множ. числа прилагательных:

половечѣскѣѣ и срѣтоша ны внезапно *половечѣскѣѣ* князи

Но имеем и

другия идохомъ на вои ихъ за Римовъ, и богъ ны поможе, избиша
 и, а *другия* поимаша.

В окончании родит. пад. ед. ч. прилагательных мужского рода как будто преобладает флексия -аго, господствовавшая, впрочем, на письме и в старой нашей орфографии (до 1917 г.).

Чешьскаго ходивъ... до *Чешьскаго* лѣса
святаго на *святаго* Бориса (под титулом, вероятно, *святаго*)
худаго *худаго* смерда и *убогѣѣ* вдовицѣ
худаго } иже мя *грѣшнаго* и *худаго* селико лѣтъ сблюдъ
грѣшнаго }
худаго и не лѣннѣва мя былъ створилъ *худаго*
церковнаго и *церковнаго* наряда и службы самъ есмъ призиралъ

6. Флексия *аго* в *худаго* и *грѣшнаго* объясняется тем, что это словосочленение (худой и грешный) и каждое из них в отдельности является обычнейшим в церковно-религиозной фразеологии выражением самоуничижения, христианского смирения; ср. в самом начале Поучения Мономаха: «азъ худый, лѣдомъ своимъ Ярославомъ благословленнымъ славнымъ нареченѣмъ въ крещении Василий, русьскимъ именемъ Володимиръ» и несколько дальше: «и похвалихъ бога, иже мя сихъ днѣвъ грѣшнаго донроводи». Церковно-религиозные ассоциа-

ции, связанные с этими словами, способствовали употреблению церковнославянской флексии. Флексия *аго* в *церковнаго* — понятна без комментариев.

Наряду с *-аго* встречаем в «летописи» в не церковнорелигиозном контексте и флексию *-ого*:

живого только Семцю яша одного *живого*

Количество примеров на флексию род. ед. прилагательных муж. р. настолько незначительно и они так однообразны лексически, что делать какие-нибудь выводы на основании их не приходится.

7. В «летописи» употребляется древнерусская форма личного местоимения первого лица:

я а я с Половци на Одрьскъ воюя
язъ и язъ пакы Смолньску
язъ оже бо язъ отъ рати и отъ звѣри, и отъ воды, отъ коня спадаяся

Но встречается и церковнославянское *азъ*:

азъ и *азъ* всѣдъ с Черниговци
азъ и *азъ* шедъ с Черниговци

Дательный падеж местоимения возвратного только с *о* по древнерусской норме:

к *собѣ* и возвахъ и къ *собѣ*
собѣ не дая *собѣ* упокоя

Особо отметим такую характернейшую живую древнерусскую форму (с суффиксом *-ива-*) — как

уганивалъ а изъ Чернигова вышелъ... лѣта по сту *уганивалъ*

8. Очень любопытно употребление в «летописи» Мономаха форм аориста, с одной стороны, и перфекта — с другой. В живом разговорном древнерусском языке в XI в. аорист выходил и вышел из употребления. Но в древнерусском литературном языке формы аориста (и имперфекта) продолжали употребляться. Они стали как бы грамматическими признаками литературного языка, языка книжности (в отличие от разговорного языка), с одной стороны, и от языка не литературной письменности (напр. языка юридических документов, грамот) — с другой. Возможно, что церковнославянский язык способствовал в той или иной мере сохранению употребления аориста и имперфекта в древнерусском литературном языке, но считать употребление аориста и имперфекта церковнославянизмами в древнерусском литературном языке было бы неосмотрительно, так как аорист и имперфект употребляются и в таких памятниках древнерусского литературного

языка, в которых церковнославянское влияние ничтожно (как, напр., и в «летописи» Мономаха). С другой стороны, формы аориста и имперфекта сохранялись, повидимому, и в древнерусском устном литературном языке; на это указывает систематическое употребление форм аориста и имперфекта в «Слове о полку Игореве», которое по языку стоит в теснейшей связи с устным народным эпосом. Аорист и имперфект являются, таким образом, не церковнославянизмами, а архаизмами в древнерусском литературном языке XII и последующих веков, архаизмами по отношению к живому разговорному языку этого времени.

Сохранение аориста и имперфекта происходило в повествовательных жанрах литературного языка, где общеславянская сложная система прошедших времен являлась особенно уместной.

9. В своей «летописи», за исключением описания охотничьих подвигов, Мономах систематически употребляет аорист; примеров нет смысла приводить, их очень много. Случаев употребления перфекта (со связкой) ничтожно мало: всего три, причем все они сгущены на протяжении нескольких строк: «днемъ есмь *перѣзди*лъ до вечерни, а всѣхъ путей 80 и 3 великихъ, а прока не испомню менших. И миров *есмь створи*лъ с Половечьскими князи безъ одного 20, и при отци и кромѣ отца, а дая скота много и многы порты своѣ; и *пусти*лъ *есмь* Половечьскихъ князь лѣпшихъ изъ оковъ...».

Больше примеров перфекта в этой части «летописи» нет.

Другое дело в описании охотничьих подвигов. В этой части, занимающей 18 строк печатного издания, на 8 случаев аориста имеем 11 случаев перфекта:

*лови*лъ *есмь* всякъ звѣрь
а се в Черниговѣ *дѣя*лъ *есмь*
конь дикихъ своимъ рукама *связа*лъ *есмь*
по Роси *ѣзда* *ималъ* *есмь*
тура мя 2 *метала*
олень мя одинъ *болъ*
одинъ ногами *топталъ*
а другой рогома *болъ*
вепрь ми на бедръ мечъ *топталъ*
медвѣдь ми у колѣна подъякла *укуси*лъ
лютый звѣрь *скач*илъ ко мнѣ на бедра

Накопление перфекта в описании охотничьих подвигов имеет, по-моему, стилистическое значение. Воспоминания об охотничьих подвигах были, повидимому, особенно живыми и дорогими воспоминаниями старика Мономаха, писавшего «поучение дѣтямъ», и в описании этих живых и дорогих для него охотничьих развлечений, удач и невзгод он отходит от книжного стиля, максимально сближая свое изложение

с живым разговорным языком, как бы забывая о необходимости выдерживать, согласно сложившейся традиции, аористные формы; любопытно, что и самое повествование его в описании охотничьих подвигов становится более порывистым, более энергичным, чем в предшествующем изложении.

10. Сначала в повествовании идут аористические формы: *тружахъ ся, съдохъ*, а затем автор переходит к перфекту: *ловилъ есмь* и др., и, далее, в описании столкновений с различными опасными животными — тураи, оленем, лосями, медведем и лютым зверем, там, где повествование становится напряженным и взволнованным: *метала, болъ, топталъ, отгялъ, укусилъ, скочилъ*. В конце отрывка автор возвращается к формам аориста, характерным для его начала: *поверже, съблюде*, т. е. традиционно книжный характер изложения восстанавливается. Это наблюдение над языком описания охотничьих подвигов интересно не только для характеристики стилистических особенностей «летописи» Мономаха и, следовательно, его Поучения в целом, но еще и потому, что оно совершенно неопровержимо доказывает тождество грамматических значений аориста и перфекта в древнерусском литературном языке в конце XI — начале XII в. В самом деле в предложении, например, «лютый звѣрь *скочилъ* ко мнѣ на бедра и конь со мною *поверже*», значение перфекта *скочилъ* и аориста *поверже*, как форм прошедшего времени — тождественно. Тождественны по своему значению формы аориста и перфекта и во всем отрывке. Ясно, что лишь одна из этих тождественных, дублетных грамматических форм могла быть живой активной формой разговорной речи; это, как показывает дальнейшая ее судьба, была форма перфекта, форма же аориста была уже мертвой в разговорной речи и существовала лишь как грамматико-стилистическая особенность литературно-книжного языка.

11. Приведенный выше материал с полной определенностью доказывает, что «летопись» Мономаха действительно написана на древнерусском литературном языке, а не на церковнославянском, и что количество церковнославянизмов в ней совершенно ничтожно. Но значение «летописи» заключается не только в том, что она является одним из ярких памятников древнерусского литературного языка и одним из доказательств (поскольку это приходится доказывать) его отдельного, особого от церковнославянского литературного языка, существования. Значение «летописи» Мономаха заключается еще в том, что ее писал образованный человек, хорошо знакомый с книжной церковнославянской литературой, хорошо знающий церковнославянский язык. Следовательно, автор писал по-древнерусски не потому, что он не умел писать по-церковнославянски, а потому, что он хотел писать именно по-

древнерусски и избегал даже механически вводить в свой текст отдельные церковнославянские слова, как это мы находим в некоторых других памятниках древнерусской литературы. Значение «летописи» Мономаха возрастает при сопоставлении ее языка с другими составными частями его «Поучения». К этим другим составным частям «Поучения» мы сейчас и обратимся, оставив пока в стороне цитаты из псалтыри и др., что сам Мономах называл «словца божественная». Дальнейший анализ начнем со слов «си словца прочитаюче, дѣти моя, божественная...», т. е. с начала собственно «поучения».

12. Та часть Поучения Владимира Мономаха, которая является собственно поучением, обращенным к детям, начинается со слов «си словца прочитаюче» и тянется вплоть до начала «летописи», она предварена религиозными размышлениями с обильными цитатами из библии. Обратимся к языку собственно поучения.

Полногласные и неполногласные формы

42448
бес престани „Господи помилуй“ збѣге *бес престани*
благословенне взимайте отъ нихъ *благословенне*
хороните и в земли не *хороните*, то ны есть великъ грѣхъ
молодыя старыя чти яко отца, а *молодыя* яко братью
сторожѣ и *сторожѣ* сами наряживайте
брашномъ чтите гостѣ. аще не можете даромъ (-подаркомъ)—
власти *брашномъ* и питьемъ
сорома жену свою любите, но не лайте имъ надъ собою *власти*
устраняйтеся и мнѣ будетъ бе- (без) *сорома* и вамъ будетъ добро
устраняйтеся и не *устраняйтеся* отъ нихъ

Форма с ч и щ

ночь не грѣшите ни одну же *ночь*
мочи а ли вы ся начнете не *мочи*
ночь и *ночь*, отвсюду нарядивше, около вои тоже ляжите
привѣчавше челоуѣка не мнѣге, не *привѣчавше*, добро слово ему
лечи дадите
лечи или *лечи* спати: спанье есть отъ бога присужено полудне

Союз *аще* употребляется только в церковнославянской форме с *щ* (встречается 8 раз). Союз *аще* и является единственным примером формы с *щ* в этой части «Поучения». Больше таких примеров имеем в причастных формах.

Причастные формы

прочитаюче си словца *прочитаюче*, дѣти моя
рекуще аще вы богъ умякчить сердце, и слезы своя испустите о грѣшнѣхъ своихъ *рекуще*: „яко же блудницу и разбойника помиловалъ еси, тако и насъ грѣшныхъ помилуй“
ѣдяче аще и на кони *ѣдяче* не будетъ ни с кымъ орудья
могуще всего жапаще убогихъ не забывайте, но елико *могуще* по силѣ кормите
молвяче речъ *молвяче* и лихо и добро не кленитеся богомъ, ни хреститеся

приходящи да не посмѣются *приходящи* к вамъ и дому вашему
 ни обѣду виному
ходяще куда же *ходяще* путемъ по своимъ землямъ
мимоходячи ти бо *мимоходячи* прославятъ чловѣка но всѣмъ
 землямъ
умѣючи его же *умѣючи*, того не забывайте доброго
въсходящю и потому солнцю *въсходящю* и узрѣвши солнце
творяще добръ же *творяще*, не мозите ся лѣнити

Причастия на *-щий* (прилагательные) можно не принимать во внимание; они не являются церковнославянскими в собственном смысле этого слова; привнесенными в свое сочинение самим Мономахом; они были заимствованы, как категория, в древнерусском литературном языке, и, несомненно, бытовали и в разговорном языке образованных людей; параллельные древнерусские формы на *-чий*, если и существовали, то имели значение прилагательных; сравните то, что сказано выше о слове *горящий*. Из восьми примеров остальных причастных форм, употребляющихся уже в «наречном» (деепричастном) значении, мы имеем четыре церковнославянских (с *щ*) и четыре русских (с *ч*).

13. Церковнославянских форм с начальным *гъ, ла, ѣ, с* в этой части «Поучения» вовсе нет, но встречаются древнерусские:

розглядавши а оружья не снимйте с себе вбръзѣ, не *розглядавши*
 лѣнощами внезапно бо чловѣкъ погыбаетъ
одину не грѣшите ни *одину* же ночь

Что касается соотношения флексий на *-ѣ* (древнерусское) и на *-я* (церковнославянское), то в род. ед. имен существительных женск. рода имеем:

душѣ своеѣ да не погубите *душѣ своеѣ*
лжѣ *лжѣ* блюдиша и нѣняства

Но имеем также и:

нужа никоея же— нѣту бо ти *нужа никоея же*
душа никакая же—а *душа* не погубляйте *никакая же*.

В винит. мн. числа находим всего лишь один пример (и притом с *ѣ*):

сторожѣ и *сторожѣ* сами наряживайте

В род. ед. прилагательных и причастий мужского рода:

даваго похвалите бога, *даваго* намъ милость свою
худаго и се огъ *худаго* моего безумья наказанье
добраго его же *умѣючи*, того не забывайте *добраго*

14. Мы видим, таким образом, что и собственно поучение, обращенное к детям, написано по-древнерусски. Правда, количество церковнославянских элементов в нем больше, чем

в «летописи», но это объясняется тематикой «поучения», где, особенно в первой части, Мономах дает множество религиозно-нравственных советов. Это особое, по сравнению с «летописью», содержание «поучения» несомненно активизировало тот запас церковнославянских слов и оборотов, который был известен Мономаху, как человеку начитанному в церковных книгах. Таким образом, некоторое увеличение церковнославянизмов в «поучении» имеет стилистическое значение. В иных случаях церковнославянское оформление слова непосредственно подсказывается контекстом, ср., напр.: *бес престани, рекуще, давшего* и др. Впрочем, контекст не обязательно вызывает появление церковнославянского оформления слова, потому что Мономах пишет по-древнерусски, контекст только создает предпосылку для этого.

С другой стороны, церковнославянизмы появляются и там, где непосредственного религиозного контекста нет; поэтому увеличение церковнославянских элементов в «поучении» по сравнению с «летописью» нужно относить скорее за счет характера содержания «Поучения» в целом.

15. В иных случаях Мономах не мог употребить в «Поучении» древнерусский вариант данного слова за его отсутствием; так, рядом с ц.-сл. *благословение* формы *бологословения* не было. В иных случаях употребление церковнославянского слова определяется семантической дифференциацией: русский и церковнославянский варианты имеют или закрепляются за разными значениями; в этих случаях церковнославянский вариант заимствуется в древнерусский язык, обогащая его лексику. Так, напр., уже в древнерусском языке заимствуется церковнославянское *власть* в значении «власти», а древнерусское *волость* закрепляется для обозначения территориальной единицы. В этом смысле нужно понимать употребление Мономахом слова *власть*. Аналогично обстоит дело со словом *брашно* 'еда вообще, пища'; древнерусское *борошно* имело значение 'мука, ржаная мука'.

16. Древнерусский, а не церковнославянский, характер языка собственно «поучения» и «летописи» очень ярко подчеркивается теми местами «Поучения», где наличествует непосредственно религиозная тематика, где мы имеем чисто религиозные размышления или молитвенные обращения. Не только многочисленные цитаты из церковнорелигиозных книг переданы по-церковнославянски, но и самостоятельные размышления Мономах на религиозные темы. В написанном в целом по-древнерусски произведении Мономах церковнославянский язык занимает таким образом специальное место, выполняет специальную функцию, уже выступая как некая стилистическая разновидность древнерусского языка и

теряя значение самостоятельного литературного языка. Приведу в качестве примера один отрывок из вводной части «Поучения», где как раз Мономах предается религиозным размышлениям. По своему характеру язык этого отрывка резко отличен от разобранных нами выше частей «Поучения». Этот отрывок начинается со слов: «Поистинѣ дѣти моя» и непосредственно примыкает к собственно «поучению».

<i>премилостивъ</i>	какъ ти есть человекѣколюбець богъ милостивъ и <i>премилостиѣ</i>
<i>владѣя</i> (а не володѣя)	а господь нашъ, <i>владѣя</i> и животомъ и смертию
<i>врагы</i> (а не ворогы)	господь нашъ показаль ны есть на <i>врагы</i> побѣду
<i>главы</i>	господь согрѣшенья наша выше <i>главы</i> нашея терпнть
<i>привлачить</i>	господь... яко отецъ, чадо свое любя, бѣя и на ны <i>привлачить</i> е...

Имеем во всем отрывке (около 40 строк) всего лишь одну полногласную форму *голодѣ*.

хощемъ *хощемъ* и пожрети и кровь его прольяти вскорѣ
суще мы человекѣци, грѣшнии *суще* и смертнии...
имѣюще егда же не повелиши (т. е. бог) имъ, языкъ *имѣюще*, онѣмѣють.

Форм с *ч*, по древнерусской норме — вовсе нет.

разумѣйте разумѣйте, какъ ти есть человекѣколюбець богъ...
разумъ никакъ же *разумъ* человекѣскъ не можетъ исповѣдати чюдесъ твоихъ
велии (др.-русс. яеликъ) *велии* еси господи, и чюдна дѣла твоя

Церковнославянская лексика и фразеология переполняет этот отрывок. Однако кое-где встречаются и специфические древнерусские образования: *одинъ*, *одиной*, *рознолични*, *собѣ* и др. Этот отрывок примыкает по языку к выпискам из церковных книг, имеющимся в вводной части «Поучения». Такой же характер языка имеют и 7 строк «Поучения», начинающиеся воззванием Мономаха к самому себе. «О многострастный и печалны азъ»; это воззвание резко противостоит по интонации предшествующим строчкам, написанным в тоне непринужденной беседы с обращением к детям: «Смерти бо ся, дѣти, не боячи...» и т. д., в этих предшествующих строчках находим такие древнерусские формы, как *боячи* (а не *боящи*), *язъ* (а не *азъ*), союзы *оже* и *оче*; в тексте заключительных строк уже в первой фразе находим церковнославянское *азъ* и несомненно позаимствованное из церковнославянской фразеологии слово *многострастный*; в дальнейшем тексте заклю-

дения (имеющего всего 6 с небольшим строк) встречаются 4 цитаты из библии и различные церковнославянские образования: *предъ* и др.

17. Вслед за «Поучением» Владимира Мономаха в Лаврентьевском списке летописи под тем же 1096 годом помещено его же письмо к князю Олегу Святославовичу; оно было писано в 1098 г. после Муромского сражения, в котором был убит сын Владимира Изяслав; в письме Владимир предлагает Олегу, виновному в смерти его сына, помириться. Язык письма Мономаха по своему характеру тот же, что и в «Поучении». В первой части письма, изобилующей благочестивыми увещаниями и написанной высоким торжественным тоном, встречаются церковнославянские слова; заметно влияние церковной фразеологии.

Два раза встречается церковнославянская форма местоимения 1-го лица—*азъ*: *азъ видахъ смѣренье сына своего, сжалихси и бога устрашихся; азъ человекъ грѣшенъ есмь, паче вѣхъ человекъ*. Два раза встречаем *хочеть*, оба раза по отношению к богу; два раза употреблен инфинитив *реши*, оба раза в сугубо церковнославянском контексте; в этом же контексте—причастные формы *стояще* и *вникнущи*. Формы с *ч* представлены лишь одним случаем: дьявол бо не *хоче* (без оформления *тъ*) добра роду человекскому. Из церковнославянской лексики отмечу еще: *претерпѣ*, *владѣя* и др.

Во второй части письма, в которой Мономах переходит от общих увещаний к конкретным предложениям, стиль его письма несколько снижается и церковнославянских элементов становится гораздо меньше. Причастий на *щ* вовсе нет, но читаем: *хлѣбъ ѣдучи дѣдень; акы горлица на сусѣ древѣ желѣючи*; глагол *хочю* трижды употреблен с *ч* (*хочю, хочю, хочещи*), но один раз *хощещи*. Употребляется только древнерусская форма местоимения: *язъ*. Трижды употреблены неполногласные формы: *преже*, *обратиши* и *древо*. Но слово *преже* издавна вошло в русский язык и получило широкое распространение в народных диалектах; распространена в диалектах и неполногласная основа *древ-*.

18. Вслед за письмом Мономаха в летописи под тем же годом помещен довольно обширный текст с чисто религиозным содержанием, который, по мнению акад. Истрина и других, переписан писцом «Лаврентьевского списка» из той же рукописной тетради, в которой он нашел «Поучение» и письмо Мономаха; весьма вероятно, что этот текст был записан Мономахом. Как бы то ни было, нельзя было бы найти лучшего образца литературного изложения, совершенно отличного от того, который мы имеем в летописи и в собственном «Поучении» Мономаха. Проанализируем этот текст.

Неполногласные формы: възбрани, благая, презри, препѣтая, не престаи, градъ, схрани, брани, препѣгая, пресвятаго, плѣненья, вражъя, гра тѣ, презрѣшенья, презри и пр. Случаев полногласия нет ни одного. Нет вовсе форм с *ч*, но многочисленны формы с *щ*, в том числе причастные. Местоимение первого лица *азъ*. Вся фразеология отрывка ориентирована на церковнослужебные тексты.

О ПРИНЦИПАХ СОСТАВЛЕНИЯ АТЛАСА СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Проф. Б. А. Ларин

I

Сотрудничество ученых разных славянских стран никогда не осуществлялось в столь благоприятных условиях, оно никогда еще не имело таких организационных форм — широкого охвата и дружеского объединения. Поэтому только теперь можно ставить перед громадным коллективом славистов задачи, требующие одновременного, согласованного и длительного научного труда.

Можно признать значительной разработку исторической грамматики отдельных славянских языков и сравнительной грамматики всех славянских языков, хотя становится все более ясным и признанным, что назрел новый этап разработки этих дисциплин — новыми методами, на основе новых — гораздо более разнородных материалов. Но диалектология славянских языков мало разработана, в этой области предстоит сделать гораздо больше капитальных научных исследований.

Изучение народной речи методами лингвистической географии начато и успешно проводится в ряде славянских стран. Подготовка большого атласа русского языка, которая началась еще в 1935 г., возобновление сбора материалов для атласа украинского языка, начало работ по атласу белорусского языка, издание пробного польского атласа, широкое изучение чешских, словацких, сербских говоров, успешная работа над атласом словинского языка — все это свидетельствует о большом размахе, напряженности и актуальности славянской лингвистической географии. Мысль о создании общего славянского атласа возникла лет 20 назад, но долго не находила широкой поддержки, так как была далекой от реальных возможностей. Теперь мы приблизились к осуществлению этой

важной научной задачи. Созданы необходимые предпосылки: более ясной представляется цель, подготовлены кадры, накоплен некоторый практический опыт. Мы могли бы приступить к составлению общего славянского атласа в недалеком будущем, если бы руководители диалектических работ по различным славянским языкам пришли к согласию в принципах, программе и основных положениях технической инструкции.

Атлас славянских языков не может быть составлен в какой-нибудь одной славянской стране, силами ученых одного славянского народа. Только при дружном участии диалектологов всех славянских народов можно решить эту задачу. Сейчас такое сплочение славистов-диалектологов стало вполне возможным, ориентировочные данные имеются, следовательно, пора приниматься за эту работу.

2

Зачем же нужен атлас славянских языков?

Нельзя предусмотреть всех возможных применений, всех видов использования этого атласа в дальнейшем развитии славянской филологии, всех последствий его публикации, но можно наметить основные и очевидные цели его составления.

Общий атлас славянских языков должен будет объединить важнейшие показания серии атласов отдельных славянских языков, должен увенчать их частные результаты своими итоговыми картами грандиозного горизонта. Они покажут современные отношения славянских языков, а вместе с тем позволят углубить их общую историю и прольют новый свет на их происхождение.

Территория славянского мира предстанет на картах этого атласа не в известном нам размежевании этнических и политических областей, а в новых — калейдоскопически разнообразных и неожиданных конфигурациях размещения изоглосс (изофон, изоморфем, изосинтагм, изолексем). Эти карты покажут с неизвестной раньше широтой, точностью, наглядностью различие многообразных категорий схождения и расхождения славянских языков. Географическая проекция позволит нам увереннее различать:

а) общие и тождественные по происхождению элементы славянских языков, с одной стороны, и сходные, параллельные, но независимо протекавшие новообразования — с другой;

б) относительно новые вариации в отражении общей традиции и древнейшие, глубокие различия субстратов;

в) вторичное разнообразие форм при типологическом единстве, которое проявляется в функциональном и семантическом плане, или мнимое единство форм, за которым стоит различие стадияльное или типологическое.

То и другое может быть вскрыто соответственным образом построенными картами или их сопоставлениями и комбинациями.

Из показаний атласа почерпнет богатые данные новое сравнительное славянское языкознание, не формально-механистическое (как было раньше), а подлинно историческое, ставящее своей целью раскрыть конкретную историю тесного и длительного взаимодействия славянских народов в языковом преломлении и отражении, объяснить поражающую их общность при всех различиях развития каждого из них.

Однако необходимой предпосылкой общего атласа славянских языков должно быть широкое обследование диалектов отдельных славянских языков. Оно принесет нам множество новых данных и послужит не только к уточнению наших сведений о распространении известных уже языковых явлений, об их вариации и функциях, но также и к открытию неизвестных, непредвиденных, не укладывающихся в привычные схемы и рубрики фактов, которые заставят пересмотреть многие традиционные положения славянского языкознания.

Таким образом, самое начало работы над общим атласом славянских языков будет стимулировать быстрее завершение частных атласов отдельных языков, так как даст авторам их новую перспективу, заставит выдвинуть даже малые атласы в разряд первоочередных работ, может оказать им прямое содействие через свои руководящие органы. Раньше завершения работ над отдельными атласами славянских языков наш общий атлас не будет иметь надежного базиса, так как ценность его научных результатов обусловлена широтой, равномерностью и однотипностью разработки диалектологии всех славянских языков.

3

Нет больших несоответствий в разработке диалектологии славянских языков методами монографического описания говоров. В этом плане разработка их находится почти на одном уровне. Выборочная диалектография (т. е. обследование говоров, отдаленных друг от друга, в изоляции от их окружения) проведена во всех славянских языках и завершена классификационными схемами разной степени доброкачественности, но одинаково претендующими на незыблемость. Пришла пора коренным образом пересмотреть эти диалектографические традиции и создать новую диалектологию.

Методы лингвистической географии далеко не во всех славянских странах были признаны, применены и усовершенствованы на практике. Полного атласа до сих пор не имеет ни один

из славянских языков. Опубликованные за последние десятилетия работы этого направления посвящены были либо отдельным проблемам, либо отдельным частям территории того или иного славянского языка (как „Atlas językowy Polskiego Podkarpacka“, Kraków, 1934 или «Атлас пензенских говоров» А. Гвоздева).

Значительных успехов достигли за последнее десятилетие русские диалектологи. В 1935 г. в Ленинграде организована была в составе Института языка и мышления им. академика Н. Я. Марра группа диалектологов с Л. В. Щербой во главе для подготовки пробного лингвистического атласа говоров района оз. Селигер.¹ К 1937 г. предварительная и подготовительная работа для Атласа русского языка была закончена: составлен был «Вопросник» и первые инструкции, начата работа по собиранию материалов. После двух всесоюзных диалектологических конференций (в Ростове на Дону в 1938 г. и в Ленинграде в 1939 г.), посвященных организационным и методологическим вопросам, к участию в подготовительных работах по русскому атласу были привлечены десятки научных работников и сотни студентов во многих педагогических институтах и университетах нашей страны. В разгар Великой Отечественной войны, в июне 1944 г., в Вологде была созвана третья диалектологическая конференция (под руководством акад. Л. В. Щербы), которая вызвала большое оживление в остановившейся из-за войны работе по усовершенствованию наших методов, по собиранию сил, подготовке кадров и обновлению основных орудий работы: на Вологодской конференции был обсужден и принят новый, значительно расширенный вариант анкеты русского атласа, была обсуждена переработанная инструкция, составлена наметка разделения территории на 11 квадратов (соответственно томам атласа) и установлен новый план последовательности работ. В Вологде впервые и напечатана была новая редакция «Вопросника» в 1945 г. На московской конференции 1945 г., когда к работе по подготовке атласа примкнули и московские диалектологи, эти новые принципы русского атласа были еще раз пересмотрены и окончательно утверждены. За последние годы почти закончено собирание материалов по первому (Ленинградскому) и второму (Вологодскому) квадратам, т. е. для I и II томов «Диалектологического атласа русского языка»; далее, по шестому (московскому), по десятому (куйбышевскому), седьмому (казанскому и четвертому (ярославскому) квадратам обследовано более половины территории, возобновлена и успешно разви-

¹ Печатание этого пробного атласа затянулось из-за войны и теперь заканчивается.

пается работа по одиннадцатому (Ростов-на-Дону) квадрату, энергично ведется работа по девятому (Саратов) и третьему (Молотов) квадратам, а также в Западной Сибири (Томск) и Приуралье (Свердловск). Меньше всего сделано пока по пятому (Смоленск) и восьмому (Курск) квадратам. Часть собранных материалов (по Донской, Смоленской и Астраханской областям) погибла во время войны 1941—1945 гг. Можно надеяться, что на протяжении ближайшего пятилетия обследование всей европейской части территории русского языка будет закончено, а ленинградская и московская диалектологические группы, работая параллельно, подготовят весь атлас.

Подготовка украинского атласа началась в 1940 г., когда составлена была первая анкета для атласа, организованы первые экспедиции и проведена первая украинская конференция диалектологов в Киеве. В феврале 1948 г. созвана была вторая диалектологическая конференция, на которой обсуждены и утверждены были — новая редакция анкеты, новая инструкция, пятилетний план и порядок работ, разбивка территории на шесть квадратов. Живой интерес широкого круга украинских лингвистов к делу создания атласа проявился в ряде областных конференций (во Львове, Одессе, Черновицах), и это служит залогом своевременного выполнения принятого плана.

В марте 1948 г. в Минске состоялась первая белорусская конференция по подготовке диалектического атласа. При поддержке ленинградских и московских диалектологов территория БССР будет обследована, надо надеяться, к тому же сроку, когда закончится собирание материалов для русского и украинского атласов (около 1953 г.).

В недалеком будущем можно ожидать появления словенского атласа проф. Рамовша и словацкого атласа проф. Важного.

Созданы все предпосылки для составления польского, чешского, сербо-хорватского и болгарского атласов, и надо приложить все усилия, чтобы работы по лингвистической географии этих славянских стран были осуществлены в те же самые годы, что и другие, уже раньше начатые, т. е. на протяжении ближайших пяти лет.¹

4

Организационную работу по подготовке общего атласа славянских языков необходимо и возможно начать теперь же,

¹ Необходимо продолжать и работу над лужицким словарем, начатую П. Виртом (Paul Wirth. Beiträge zur Sorbischen (Wendischen) Atlas. Kartenband I, Leipzig, 1933).

хотя с осуществлением этого замысла, как уже сказано, придется подождать, пока не будут подготовлены атласы отдельных и притом, по возможности, всех славянских языков.

Особенно важно добиться сближения, а по возможности, и единства методологии и методики работы лингвистов-географов во всех славянских странах.

В лингвистической географии, как известно, полнота охвата и выдержанное единообразие обследования предопределяют успех и научную ценность результатов работы. Если выпадет хотя бы одно звено из цепи славянских атласов, если не будут избегнуты противоречия в принципах, не будет устранен разноречивый в технике, — наш общий славянский атлас потеряет опору и будет лишен своего значения — действенного орудия исследовательской мысли.

Достижения лингвистической географии, оказавшиеся значительными там, где ее методы давно широко и настойчиво применяются, хотя и были ограничены догматами идеалистического языкознания, уже начали расшатывать традиции и взрывать некоторые теоретические предрассудки старого сравнительного языкознания.

В советской лингвистике работа над атласом русского языка началась и ведется в постоянной связи и взаимодействии с подобными работами по иносистемным языкам Союза (например тюркским и угрофинским). Идеи нового учения о языке осветили темную и недоступную раньше область протоистории, этногенеза. Блестящие работы советских археологов и историков совершенно обновили всю концепцию истории русского и других народов Восточной Европы, Кавказа, Средней Азии. Поэтому советская лингвистическая география принципиально отличается и в своих теоретических основах, и в своих перспективах, и по своим задачам от лингвистической географии, стоящей на службе узко-националистических и абстрактно идеалистических теорий.

Исторические интересы и устремления большинства советских диалектологов известны и вполне законны. Но в отличие от современных зарубежных и некоторых наших историков языка дореволюционной школы мы полагаем, что исследования по диалектологии, осуществляемые методами советской лингвистической географии, являются ведущими, а не вспомогательными при построении истории языка, понимаемой как история народного языка в его многообразии, а не история орфографии или грамматических норм языка феодальной письменности.

В памятниках древнерусской письменности до XVII в. мы находим лишь скудные отрывочные данные о разговор-

ной речи, о языке народных масс. Они попадали туда в переломлении, переработке, приспособлении к нормам книжного языка. Эти слабые и не вполне достоверные отражения народной речи старшей поры могут быть использованы историками языка только на основе глубокого изучения современных диалектов. Ценность этих данных, извлеченных из древней письменности в том, что они позволяют иногда более уверенно датировать (а в редких случаях и локализовать) отдельные факты и явления языка средних веков.

Таково же значение памятников старшей поры и в истории других славянских языков. Пока историческая диалектология отдельных славянских языков довольствовалась лишь показаниями средневековой письменности, она не могла в своих построениях углубиться в прошлое за рубеж феодальной эпохи. Именно методы лингвистической географии в сочетании со сравнительно-типологическим изучением диалектов и с привлечением исторической традиции, извлекаемой из памятников письменности, открывают путь к более глубокой реконструкции языковых формаций, к выяснению диалектных объединений и группировок начала феодальной поры и предшествующего периода.

Чем более совершенствуются методы интерпретации лингвистических карт, тем более глубокие исторические перспективы раскрываются на основе диалектологических атласов. Чем шире охват территории (но это зависит теперь уже от непрерывности цепи атласов), тем более полную историческую картину движения и распространения отдельных явлений и целых языковых систем можно будет построить. Славянский мир занимает огромные пространства. Как бы поднимаясь на большую высоту, мы охватываем одним взглядом весь этот мир с его сложными языковыми взаимоотношениями. Но вместе с тем и каждая часть этой большой территории будет изучена для малых атласов с небывалой полнотой, — местами произведено будет сплошное обследование.

Такое одновременное исследование множества славянских диалектов как единого целого — при изобилии новых материалов, несоизмеримом с прежними ресурсами славянского языкознания, — вне всякого сомнения обогатит нас целым рядом научных открытий, объяснит многие явления, казавшиеся загадочными при изолированном их рассмотрении, позволит во всей полноте представить основные и наиболее характерные особенности истории славянских языков, даст нам возможность начинать эту историю не с момента появления первых памятников письменности, а с образования этнических групп дофеодального периода.

5

Советская лингвистическая география все более заметно обособляется от зарубежной и в организации «полевой работы», обследования, и в приемах дальнейшего изучения, систематизации и применения собранных материалов. В ходе работы над диалектологическим атласом русского языка и диалектологическим атласом украинского языка определился ряд важных отличий советской лингвистической географии, коренящихся в новой теории языковедения и новых условиях развития науки в социалистическом обществе.

Методика и методология советской лингвистической географии отражены в инструкциях, опубликованных в последнем издании двух наших анкет:

1. Программа собирания сведений для составления диалектологического атласа русского языка. Изд. АН СССР, М.—Л. 1947, стр. 145—184.

2. Програма для збирання матеріалів до діалектологічного атласа української мови. Вид. АН УРСР, Київ. 1948, ст. 113—165.

Но нет еще систематического очерка теории советской лингвистической географии. Поэтому я могу наметить черты различия советской и зарубежной науки в этой области только предварительно и очень кратко.

1. Мы осуществляем на практике единство организации работы на громадных просторах ареала восточнославянских языков и было бы желательно достигнуть такого же единства организации в пределах всех славянских стран. Этому противостоит разрозненность, пестрота и несогласуемость частных начинаний, изолированных атласов по некоторым романским или германским языкам, хотя мысль о координации лингво-географических работ занимает многих ученых, например романистов. Незначительность территорий, фрагментарность наблюдений, представленных в некоторых зарубежных атласах, обуславливает относительную бесплодность этих работ. Они могли бы быть использованы со всем своим потенциальным эффектом только при условии включения в непрерывную цепь атласов, охватывающих территорию распространения «языковых союзов», больших культурно-языковых единств.

2. Советская лингвистическая география стала настолько популярной, привлекла к себе такой громадный коллектив сотрудников, вызвала такой общественный интерес и поддержку, что без преувеличения можно назвать народным делом создание русского или украинского атласа, уподобляя их большим народным стройкам.

Массовое участие научных работников, студентов, сельской интеллигенции, колхозного актива в сборе материалов для диалектологического атласа своего языка — при начале нашей работы — внушало старым диалектологам опасение в неоднородности и недостаточно высоком качестве, неполной достоверности собираемых материалов. Но все эти спасения оказались напрасными. Острая наблюдательность студенческой молодежи, не слишком отягощенной предвзятыми теориями, не ослабленная апперцепциями искомых или воображаемых признаков и свойств народной речи, делает студентов достойными доверия собирателями языковых данных, а подчас и более непогрешимыми свидетелями тех процессов, какие происходят теперь в народных говорах, чем диалектологи-профессионалы. Мелкие промахи записи, ослышки и недосмотры, изредка встречающиеся и неизбежные во всякой массовой работе (как впрочем и в лучших работах индивидуального порядка), не могут опорочить добытых материалов тем более, что взаимный контроль показаний, а также повторные обследования позволяют обнаружить и устранить все случайные ошибки записи. Поэтому можно утверждать, что материалы советской лингвистической географии доброкачественней, достоверней тех, какие получены в экскурсиях специалистов-одиночек, никем не контролируемых и, как правило, не возвращающихся к раз пройденному населенному пункту для повторного обследования.

3. Мы никогда не ограничивались наблюдениями и записями речи одного представителя населения по какому-нибудь пункту, как это принято было в зарубежной лингвистической географии. Не только для того, чтобы избежать ложного «представительства», для уверенности в типичности языка того лица, чью речь мы записывали, но и по другим, принципиально важным причинам, мы всегда записывали свои диалектологические материалы от нескольких лиц в каждом населенном пункте. При этих записях, при наших опросах и беседах с крестьянами обычно присутствовали многие соседи, родные и друзья нашего собеседника. Они контролировали и постоянно поправляли основного осведомителя, если он допускал малейшее отклонение от языковой нормы данного диалекта.

Нашим правилом с первых лет работы над русским диалектологическим атласом было: вести параллельные наблюдения над речью трех поколений в каждом населенном пункте. Не только старики, носители наиболее архаической разновидности говора, но и среднее поколение (колхозные активисты) и молодежь села, были постоянными объектами нашего пристального наблюдения. И в этом именно основа и з а ч е н и я д и а л е к -

тов в их динамике, только это дает возможность изучать не только отложения и реликты прошлого в народных говорах, но и их настоящую жизнь, современные процессы их обогащения и переформирования, слияния в подлинно единый общенародный язык. Вот этим путем мы преодолеваем глубокую методологическую порочность узко и ложно понимаемого историзма зарубежной лингвистической географии. Подлинная история не отгораживается глухой стеной от современности и не останавливается на полпути в своих реконструкциях прошлого. Наша организация сбора материалов позволяет отбросить предвзятую схему «цельных» или «чистых» диалектов какой-то вымышленной «маниловской» деревни вчерашнего дня и заложить основы подлинной истории народных говоров.

4. Мы записываем не слова, не обрывки речи, а целые фразы, реплики диалога. Каждое слово, таким образом, записано нами в своем полном контексте, что имеет большое значение не только для изучения лексики, семантики и синтаксиса, но и для морфологии, и в известной мере и для фонетики (в связи с разными стилями произношения). Это делает наши записи, наши диалектологические материалы более достоверными, добротными и обогащенными для различных и многообразных исследовательских применений.

5. Мы записываем не только хозяйственную терминологию и бытовую разговорную речь крестьян, но и повествовательную речь и фольклор, создавая базу для несравненно более широкого охвата научным исследованием всех функциональных типов народной речи, чем это возможно было при той жанровой ограниченности записей и своего рода фольклорофобии, какая характерна и для старой диалектографии и для современной зарубежной лингвистической географии.

6. Мы не элиминируем, а пристально изучаем взаимодействие народных говоров с социальными диалектами, с языком города, с литературным языком. Мы считаем своей важной и ответственной задачей — дать точное описание и дальнейший анализ той амальгамы местных наречий с общенациональным и литературным языком, которая выплавилась в огне Великой Октябрьской социалистической революции. Это наш долг перед потомками, перед будущими историками и теоретиками языка, перед исследователями языка советской эпохи.

7. Занимаясь изучением языка фабрично-заводских поселков, языка мелких городов, районных центров, мы перекидываем мост от диалектологии «деревенской» к диалектологии городской, разработка которой будет иметь первостепенное значение для истории образования литературных и общенациональных языков.

Если указанные принципы положены будут в основу составления атласов западнославянских и южнославянских языков, то в ближайшем будущем можно будет обновить и значительно обогатить проблематику сравнительного и общего славянского языкознания.

Если бы мы ограничились в координации работ славистов по лингвистической географии только согласованием принципов и методов, то могли бы создать серию однотипных атласов, не совпадающих по материалу, не содержащих таких карт, показания которых можно было бы объединить. Но нашей целью должно быть именно создание ряда общеславянских карт, без этого мы не получим опоры для разработки больших проблем общего и сравнительного славянского языкознания.

Поэтому необходимо теперь не только разработать общую методологию, но и наметить уже сейчас то ядро общих вопросов, какое должно быть повторено во всех анкетах создаваемых теперь атласов отдельных славянских языков, ибо только этот материал позволит в будущем составить карты общеславянского масштаба.

6

Поэтому насущнейшей задачей нынешнего дня является отбор и формулировка того неизменного круга вопросов, какие должны войти во все анкеты отдельных славянских атласов для того, чтобы обеспечить в будущем хотя бы самый малый общеславянский атлас.

В атлас славянских языков войдут четыре категории карт:

а) Карты разнообразного отражения тождественных по происхождению элементов в составе словаря, грамматики, фонетики всех славянских языков, например, карты по рефлексам глухих или носовых, по рефлексам *ъ* или сочетаний гласных с плавными; далее, карты форм именительного падежа множественного числа существительных по различным основам, форм повелительного наклонения, форм настоящего времени атематических глаголов; карты древнего общего лексического фонда, например карты слов: *свекровь, мать, дева, колыбель, говор, ведро, лава, пшено (пшеница), орех, дуб (дубрава), мысль, уста, лебедь, рух (рушить, рыхлый)* и под.

б) Карты частных групповых совпадений в нескольких, но не во всех славянских языках (и других соседних языках), например, в языке «балканского союза» или «северного» объединения (польский, литовский, белорусский, русский). В этом разделе найдет себе место и ряд семантических карт: как называется в различных славянских языках, например, *жилой дом* (крестьянский),

город, стена, гвоздь, дверь, сундук, филин, грач, гречиха, полба, лодка, куча, крюк, сковорода, пуговица, горе, грусть, жир, лес, красивый, большой и т. д.; морфологические карты: совпадающих форм склонения существительных мужского и женского рода во множественном числе; карты образований будущего времени составного с глаголами и м у, х о ч у; карты фонологической корреляции согласных по тембру («мягких» и «твердых»); карты дифтонгизации гласных в определенных фонетических условиях; карты корреляции долгих и кратких гласных и т. д.

в) Карты спорадических явлений, расположенных островками. Эти явления часто рассматривались как отличительные для того или другого диалекта или языка, но, когда они встречаются не один раз, не в одном месте, а на разных концах славянского мира, то в какой-то части они окажутся обломками, реликтами древнейшего широкого слоя, а в другой — показателями рубежей, стыков нескольких языковых пейзажей. Сюда войдут карты распространения троякой интонации гласных, карты корреляции экспираторного удара с трехступенной редукцией безударных гласных по разным ритмическим типам, или образования трех рядов свистящих (твердого, палатализованного и палатального: с, з|| с', з'|| с'', з''); карта деепричастий, их образования и употребления; карта постпозитивного члена; карта аналитического склонения существительных; карты слов, например таких, как: *овраг, очень, юноша, крыса, коромысло, присный, балакать, бачить, гуня (гунька)* и под.

г) Карты изолированных образований в отдельных славянских языках, имеющих соответствия в соседних неславянских языках, например, карта оглушения начальных звонких согласных; карта конструкции именительного падежа прямого дополнения при инфинитиве, деепричастиях и личных формах глагола; карты таких слов, как *кулик, овин, пакля, яндова, клуня, ягель, кумир* и под.

Все приведенные здесь предложения по содержанию атласа славянских языков имеют лишь иллюстративный характер для пояснения моей концепции, притом они отобраны под углом зрения руссизма, а потому отнюдь не определяют того вопросника (анкеты) славянского атласа, какой будет составлен в свое время авторитетной коллегией славистов.

Необходимо в самое ближайшее время составить такой список общих вопросов, сообразуясь с существующими программами и вопросниками, как основу для общей анкеты славянского атласа и для всех дальнейших частных анкет. Руководители работ по составлению каждого нового атласа какого-

нибудь славянского языка должны ориентироваться во вновь составляемых вопросниках на эту общую анкету.

Так как было бы нецелесообразно да и невозможно приводить все частные атласы к полному единообразию, то круг всюду неизменно повторяющихся вопросов не может быть велик. Мы не можем рассчитывать и на специальные сборы материала по полной сетке каждого из славянских атласов (т. е. в десятке тысяч населенных пунктов) только и специально для общего славянского атласа. Поэтому анкета славянского атласа должна быть крайне ограниченной, содержа в себе никак не более ста вопросов.

Это налагает большую ответственность на составителей. Каждый раздел, каждый вопрос общей анкеты должен быть тщательно взвешен, обсужден, проверен.

Карты широкой общности славянских языков, как это и понятно, должны преобладать над картами расхождений. Минимальное место должно быть уделено картам изолированных образований (раздел «г» в предыдущем обзоре). Но все же они должны иметь место, чтобы наметить хотя бы символически связи и соотношения с соседними неславянскими языками (балтийскими, угрофинскими, тюркскими, романскими, германскими). Если половину атласа займут карты первого раздела, то на долю всех трех остальных категорий останется вторая половина карт.

Очень важным является в принципиальном отношении отражение в атласе не только древних общих традиций, но и униформирующих тенденций нового времени. Атлас может быть опорой не только для исторических и палеонтологических разысканий, но и для некоторых научных прогнозов. Надо сделать его так, чтобы в него заглядывал и с пользой изучал его не только тот, кто как Пимен,

«...душой в минувшем погруженный»,

ищет разгадки прошлого, но и те, кого волнуют проблемы нынешних живых языков и назревающие перемены в них. Ряд вопросов о новейших грамматических и лексических изменениях во всех славянских языках, однотипных и закономерно общих, тоже должен быть сформулирован в нашей программе.

7

В заключение остановлюсь на нескольких мелких технических вопросах.

1. Сетка карт славянского атласа могла бы быть ограничена тысячею пунктов. Примерное распределение их по территориям славянских языков я намечаю в таком виде:

Территория	К-во пунктов
русского языка	300
украинского	150
белорусского	70
польского	110
чешского и словацкого	110
словинского	20
хорватского и сербского	110
болгарского и македонского	110
лужицкого	20

2. Записи для славянского атласа должны быть произведены по единой системе фонетической транскрипции в двух алфавитных вариантах: на основе русской азбуки, как это сделано в русском, украинском и белорусском атласах, и на основе латиницы (польский, чешский, лужицкий). Большая часть югославских, македонских и болгарских диалектологов, вероятно, также будет пользоваться транскрипцией на русской основе. Можно было бы осуществить издание славянского атласа в двух вариантах — с первой и второй транскрипцией, но необходимо, чтобы все карты каждого из этих двух изданий во всех своих частях имели одну только транскрипцию, а не обе одновременно и вперемешку.

3. Сроком составления славянского атласа можно было бы наметить 1953—1955 гг., если бы организационные мероприятия проведены были не далее 1949 г.

4. Следует координировать, хотя бы в небольшой части, программу славянского атласа с литовской, латышской, румынской программами, а в дальнейшем и с молдавской и албанской, если такие будут составлены.

5. Параллельно с подготовкой общего и частных атласов славянских языков следовало бы осуществить сплошное обследование небольших районов, где имели место особенно сложные узловые скрещения языков, как, например, некоторые районы Македонии, Баната, Виленщины, Гомельщины, Закарпатья или Псковской области.

6. Организовать в Москве, Праге, Кракове, Софии, Белграде хранение пяти рукописных экземпляров всех карт славянского атласа и опубликовать лишь отобранные, наиболее важные из них в виде небольшого атласа малого формата, что позволило бы сделать это издание недорогим, широко доступным.

7. Создать руководящий комитет по подготовке славянского атласа из представителей славянских стран — диалектологов, работающих в области лингвистической географии.

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ БЕССОЮЗНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Доц. Э. И. Каратаева

В научной грамматике существует общепринятое положение, что простое предложение возникает в речи ранее сложного, что сложносочиненное предложение складывается в языке раньше сложноподчиненного и служит основанием для его развития, что бессоюзные соединения предложений находят свое развитие ранее союзных.¹

В общем все эти положения верны и подтверждаются данными не одного только русского языка. Необходимо лишь отметить, что процесс развития простого и сложного предложения, сочиненного и подчиненного, бессоюзного и союзного — процесс длительный и противоречивый. Дело отнюдь не обстояло таким образом, что сперва создались решительно все типы простого предложения, а после уже сложного: простое предложение, возникнув раньше, развивается параллельно со сложным и создает свои новые формы и в современном языке. Точно так же сложносочиненное предложение, дав грамматическое основание для развития подчинительных конструкций, могло найти свои особые, специфические формы только с полным развитием сложноподчиненного предложения. Не все формы сочинения, точно также как и подчинения, возникают одновременно. Необходимо также, прослеживая развитие сложного предложения, различать устную и письменную речь, поскольку каждая из них имеет свои особенности.

Обращаясь к важнейшему памятнику деловой литературы — «Русской правде», мы видим, что само сложное предложение нашло в нем достаточно широкое распространение; осо-

¹ Ср., напр., высказывание Пешковского: «Как все простое древнее сложного, так и сочинение древнее подчинения... Бессоюзие в свою очередь, по всей вероятности, древнее и сочинения и подчинения» (Русский синтаксис в научном освещении, 1938, стр. 461).

бенно много условных конструкций, обусловленных общим содержанием текста. Правда, «в памятнике очень ограниченное количество союзных слов для выражения связи предложений, отдельные союзные слова поэтому выдаются особой своей многозначностью, таковы, напр., союзы, особенно частые в памятнике, а, и, оже, ли (или, либо)... Своеобразная же, носящая признаки большой древности, система передачи в памятнике конструкций относительной связи. Ее нормальное выражение помощью местоимений кто, что».¹ Таким образом, союзные конструкции достаточно разнообразны, здесь есть и сложносочиненное и сложноподчиненное предложение, но бессоюзные предложения чрезвычайно редки. А вместе с тем детальный разбор всех языковых факторов данного памятника, его фонетического, морфологического, синтаксического и лексического состава, дал возможность исследователю сделать следующее заключение: «Анализ языка „Русской правды“ позволил облечь в плоть и кровь понятие литературного языка старшего периода. Его существенные черты — известная безискусственность структуры, т. е. близость к разговорной стихии речи, понятная для языка, начинающего свое собственное литературное развитие и полное отсутствие следов взаимодействия с болгарской, общеполгарско-византийской культурой».² Слабое распространение бессоюзных предложений в этом памятнике можно объяснить определенной, ранней, стадией письменной речи, отраженной в нем, и тем, что «Русская правда», хотя и была близка к стихии народного языка, но была создана на использовании не столько живого разговорного языка, сколько на применении традиционных формул обычного права.

Совершенно иное по синтаксическому строю величайшее художественное произведение древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Созданное вдохновением народного эпоса «Слово» отличается разнообразной и высокой синтаксической конструкцией как союзных, так и бессоюзных предложений. Среди последних особенно примечательно большое число описательных предложений. Напр.:

Тогда вѣступи Игорьъ князь въ златъ стремянь, и ноѣха по чистому полю. Солнце ему тьмою путь заступаше; ношь стонуши ему грозою птичь убуди; свистъ звѣрия въ стази; дивъ кличетъ врѣху древа, велитъ послушати земли незнаемѣ. Влѣзѣ и Поморію и Посулю, и Сурожу, и Корсуню, и тебѣ Тьмутараканскыи блѣвані! (Слово о полку Иг., 3.).

¹ С. П. Обнорский. Русская правда, как памятник русского литературного языка. Изв. АН СССР, ОН 1934, № 10, стр. 766.

² Там же.

На рѣцѣна Каялѣ гѣма свѣтъ покрыла; по Русской земли построшася Половци, яки пардуже гнѣздо. (Там же, 1.)
Уже снесся хула на хвалу; уже тресну нужда на волю; уже врѣжеся дивѣ на землю. (Там же.)

Интересны также художественные сопоставления в форме отрицательного противительного бессоюзного предложения.

И тот и другой тип предложений встречаются в народной словесности, но общая структура предложений «Слова» свидетельствует о высокой книжной культуре его составителя.

Акад. А. С. Орлов в своем исследовании «Слова о полку Игореве»¹ указывает, что его стилистический строй состоит в слиянии приемов книжности и фольклора. Он пишет: «Сходство с фольклором сказывается в самом строении метафор „Слова“, в отрицательном их выражении, например, „не десять соколов пускал Боян на стадо лебедей, но возлагал свои вещие персты на живые струны“, или... „а не сороки востроско-таша, на слѣду Игоревѣ ѣздитъ Гзакъ съ Кончакомъ“».

«Но художественная форма „Слова“ не лишена и книжной стихии, книжной литературности. Изысканная конструктивность как всего произведения, так и отдельных его частей, затем риторизм — не свидетельствуют об исключительной фольклорной непосредственности».²

Значительное употребление в «Слове» не только союзных, но и бессоюзных сложных предложений объясняется, очевидно, тем, что синтаксический строй этого древнего памятника хотя и сложился под влиянием устного народного творчества, однако свои совершенные формы мог обрести лишь в результате высокой книжной культуры автора. И нужно сказать, что синтаксический строй «Слова» в известной мере долгое время остается одиноким.

Обращаясь к древнейшим памятникам русской письменности, имеющимся у нас в виде произведений паломнической литературы и в виде различного рода юридических актов (грамоты, челобитные, купчие, духовные завещания, дарственные и пр.), мы находим, что все они сохранили такой строй письменной речи, в котором о широком употреблении бессоюзных конструкций говорить не приходится. Наоборот, древнеписьменный язык, особенно язык деловых документов, представляет собой союзные нанизывания одной конструкции на другую. И нанизываются не только предложения, но и отдельные его части, однородные и неоднородные. Все эти части, крупные и мелкие, отдельные предложения и словосочетания, соединяются, цементируются с помощью сочинительных сою-

¹ А. С. Орлов «Слово о полку Игореве». Изд. Акад. Наук, Л., 1938.

² Там же, стр. 40.

зов, и, а, да, же. Однако здесь нельзя говорить и о сочинении предложений; во всяком случае это не сочинение в нашем понимании, если мы будем иметь в виду не пару предложений, а более или менее большой отрывок текста.

По сравнению с союзными конструкциями бессоюзное сложное предложение в древних письменных памятниках распространено очень слабо, особенно в языке деловых документов.

Будучи для устной речи безусловно более ранним синтаксическим явлением, бессоюзное сложное предложение находит свое распространение в письменном языке лишь на известной стадии его культурного развития. В живой народной речи бессоюзные конструкции могли широко употребляться потому, что они выражают краткое изложение, небольшое высказывание. Они, как правило, выступают в диалоге. В письменном же тексте речь идет о более или менее сложном изложении, о более длительном повествовании; письменная речь, как правило, состоит из ряда предложений, монолога, который необходимо связать в единое целое хотя бы внешним образом. Поэтому нет ничего удивительного, что на начальных, ранних стадиях своего развития письменный язык изобилует различного рода синтаксическими скрепами. Все эти средства внешней связи отдельных предложений в единое целое мы найдем не только в древних и старых письменных текстах, но и в произведениях устного народного творчества распространенных размеров — в былинах, песнях.

Нужна большая культура, большое мастерство в построении сложных конструкций в письменной и устной речи, чтобы при длительном изложении избежать различного рода соединяющих и ссылочных средств.

Кроме того, бессоюзные предложения по сравнению с союзными менее ясно и отчетливо выражают соотношение понятий, с меньшей определенностью передают различные оттенки мысли. Правда, и союзное древнее предложение далеко не совершенно в этом отношении, но все же сравнительно отчетливее, определеннее передает соотношение высказываемых мыслей. Немаловажным является также и то, что бессоюзное предложение, как факт письменной речи, нуждается в большей структурной цельности, стройности, нежели союзное. Для того чтобы два самостоятельных предложения создали бессоюзное сложное целое, они должны быть тесно объединены и по содержанию и по форме. Ср. высказывание Ф. Корша: «Так как в истории развития речи сочинение предшествует подчинению, древнейшими способами следует признать присоединение к логически-главному предложению другого, логически подчиненного, но грамматически вполне

самостоятельного с соединительным союзом или без всякой внешней связи. Первый из этих двух способов чуть ли не еще древнее, чем второй, так как бессоюзие предполагает уже такое сильное развитие логического подчинения, которое неизбежно должно вырабатывать для себя особенную внешнюю форму».¹

Если союзное предложение может создать свое формальное единство и целостность посредством особых дополнительных слов — союзов, относительных местоимений и наречий, коррелятивных частиц и пр., то бессоюзное предложение, лишенное всех этих формальных показателей связи, должно создать внутреннее единство путем мобилизации других внутренних структурных средств. В живом произношении созданию единого целого при бессоюзии помогает прежде всего интонация. Она не только придает различные значения и их оттенки предложению, но и помогает создать самую форму сложного предложения: два разобщенные предложения интонационно объединяются в единое целое. В письменном языке интонация, поскольку она отображена в пунктуации, может служить лишь вспомогательным средством, но и этого были лишены авторы древних и старых произведений, так что вся сила тяжести при оформлении бессоюзного предложения падает на его структуру.

В противовес внутренней цельности современного предложения, сложное предложение древнего и старорусского языка, особенно в деловых документах, отличается большой расчлененностью. Отдельные предложения, входящие в состав сложного, — краткие, они лишены качественных слов; отдельные члены предложения часто повторяются, напр., существительное с указательным местоимением при нем; при личных и притяжательных местоимениях ставится существительное для пояснения; не устойчив порядок слов и пр. Слабая внутренняя связь не только между предложениями, но и между его отдельными частями и заставляла прибегать к широкому употреблению различного рода внешних скрепляющих средств. Даже отдельное предложение начинается соединительным союзом; особенно характерным в этом отношении является начало предложения с союзом *а*, ни к чему предыдущему не относящимся. Соединительные и сопоставительные союзы, усилительные и уточняющие частицы выступают всюду на месте швов внутри предложения не только сложного, но и простого. Это своего рода синтаксические скрепы, соединяющие части и члены предложения в единое целое.

¹ Ф. Е. Корш, Способы относительного подчинения. М., 1877, стр. 16.

В совокупности все эти обстоятельства, очевидно, и являются причиной слабого распространения бессоюзного сложного предложения в древнерусском языке.

В позднейших литературных памятниках, напр., «Домострос», в сочинении Гр. Котошихина «О России в царствование Алексея Михайловича», употребление бессоюзных предложений значительно возрастает. Что касается переводных и подражательных светских повестей XVII в., как «Повесть о российском дворянине Фроле Скобелеве», «Повесть о Савве Грудцыне», «История о российском матросе Василии» и др., — то здесь бессоюзные конструкции встречаются преимущественно в прямой речи. Возможно, это уже стилистическое использование бессоюзных предложений как факта разговорной речи.

Но знаменательным и лингвистически ценным в развитии бессоюзного сложного предложения является не только тот факт, что в прошлом письменном языке по сравнению с современным литературным они мало употреблялись, а то, что они качественно отличаются от бессоюзных конструкций нашего времени.

Судьба различных типов бессоюзных сложных предложений древнего и старого письменного языка неодинакова. Одни из них совсем вышли из употребления в современном литературном языке, другие в массе своей дали основание для развития союзных предложений, и, наконец, третьи дошли до нашего времени и имеют достаточно широкое распространение, особенно в языке художественных произведений, сохраняя, однако, в себе стилистическую окраску некоторого просторечья.

К первому типу относятся прежде всего бессоюзные сложные конструкции такого рода, в которых дополнение первого предложения без его повторения является подлежащим или дополнением второго предложения. Например:

Да к тем есмь пустошем прикупил пустоши у архимарита Афонася: пустош Бутурлинскую, куплю Максимовскую, что купил игумен Иев старого монастыря..., да пустош Мамаева, да *починок Мамаев*, дал князь великий Василий Дмитриевич (Грамота правая 1462, А. Ю. Б. I, 167).

И повели... из врага на две ели..., а от ели... на *четыре березы да на елку на малую*, стоят на лядине из одного корени, а от берез да от елки лесом пахотным... *к березе да к осине* из одного корени *стоят* свилися вместо (Судный список 1498, А. Ю., 16).

Се яз князь велики Василей Василевич пожаловал есмь своего старца Аврамя Чюдовского: бил мн челом, а сказывал ми, что деи их земля монастырская Иткорино... (Грамота жалованная 1462, А. Ю. Б. I, 127).

Так рек Андреико и все крестьяне: жалоба нам, гне, на того старца Касьяна, отнял у нас, гне, ту пустош Тевликовскую; а та,

гне, *пустош* наша тяглая черная волостная (Грамота правая 1490, А. Ю. Б. I, 171).

Ему дано по государеве грамоте... в усадище село Михайлово, а в нем *церковь* во имя архистратига Михаила да *церковь* во имя великого чудотворца Николы, *стоят* на поместной земле, да *двор помещиков*, *живет* сам князь Алексей, да два двора людских, а в них живут старинные его люди... (Дела о беглых крестьянах 1697 г. А. Ю. Б. I, 575).

А рухледь, что в коробех, давали ему на Дону казаки как пел молебны, а иную де покупал, а что де Стрелцы сказали, что узнали у него голову *подушку*, *дал* ему попу на Дону в казачьем городку в верхнем Чирю казак на Николин день... (Материалы возмущения Степана Разина, 17).

Еще у молодца был мил надежен *друг*,
Назвался молодцу названой брат.
(Пов. о Горе-злочаст., 54.)

И узре на яблони *траву*, *обвилась* около дерева.
(Пов. о Хмеле. Пам. Ст. Р., л. I, 447).

И увидел Бова *старца* на улице, *щепы гребет*.
(Ск. про Бову. П. Древн. письм. 1879, I, 65).

На второй недели вторник великого поста Никита епископ *жену* простил счною болезнию, от Троицы с Кланья, из Деревяницы селца, *зовут* Евдокеею... (1553, Новг. лет.).¹

Во всех этих сложных предложениях имеется общее слово, которое выступая дополнением I предложения, является дополнением или подлежащим II предложения.

Подобное предложение, не связанное союзным словом, но относящееся к имени существительному, является как бы его своеобразным определением, существующим в древних текстах параллельно с относительным определительным предложением.² Например:

Прикупил... *куплю Максимовскую*, что кунил игумен Иев да *починок Мамаев*, дал князь...

Однако такая соотносительность с союзным предложением ни в коем случае не дает права считать, что здесь пропущено относительное местоимение и пр. Нет, это особая структура предложения, встречающаяся довольно часто в древних текстах и в народной речи. По поводу распространения этих предложений Потебня писал: «В нижних слоях было и есть исконное течение, в течение веков невыступавшее наружу в церковно-славянском и русских переводных и подражатель-

¹ Последние три примера взяты у Потебни «Из записок по русской грамматике», т. III, 1899, стр. 323.

² Этот тип предложения встречается также в староанглийском и в старонемецком языке. Он рассмотрен в работе В. И. Ярцевой: «Развитие сложноподчиненного предложения в английском языке» (Л., 1940) и в работе Т. В. Сокольской «Развитие сложноподчиненного предложения (Л. 1940) в немецком языке».

ных памятниках, опять скрывающееся в новом книжном русском языке. При благоприятных условиях из этого течения мог бы быть внесен в литературный язык и закреплён в нём относительный оборот без относительного местоимения и союза».¹ Таким образом Потебня считает, что подобная структура предложения — это не испорченный тип современного относительного сложноподчинённого предложения, которое, впрочем, имелось наряду с рассматриваемой структурой, что это отнюдь не описка, как предполагал Корш, говоря в своей книге «Способы относительного подчинения», что славянским языкам подобная структура вовсе не свойственна, и, кроме того, Потебня указывает, что подобные конструкции являются достоянием просторечья, никогда не ставшим фактом книжного языка. И, действительно, подобные предложения встретились лишь в памятниках делового языка или же в тех литературных произведениях, которые имеют на себе отпечаток разговорной речи.² Почти всегда в бессоюзном предложении этого типа определяющая часть непосредственно следует за тем существительным, к которому относится, а общее слово стоит на грани предложений. Но возможен и другой порядок слов, например:

На второй недели вторник великого поста Никита епископ *жену* простил очною болезнью, от Троицы с Кланья, из Деревяницы, селца. *зовут Евдокею*... (Новг. летопись).

Здесь определяющая часть отделена от определяемого существительного рядом других членов предложения.

Иным типом сложного предложения, близким нашему современному относительному подчинению, является такая бессоюзная конструкция, в которой существительное — дополнение или подлежащее первого предложения повторяется вместе с указательным местоимением во втором предложении, но уже в своей особой синтаксической функции. (Этот тип предложения, точно так же, как и следующий, значительно чаще соединяется союзом *и*).

И ту есть близь под градом тем к востоку лиць, *пещера* живна, крестным образом уродилася; *из тоя пещеры* исходит источник (Хожд. Даниила, 98).

Ту есть место в той же пещере у дверей западных близь, *на том месте* сядяше святая Богородица при дверех тех близь и ткаше кокнит, еже есть червленица. (Там же, 119).

¹ Потебня. Из записок по русской грамматике, т. III, 1899, стр. 327.

² Ср. подобные предложения в современном языке: «Хозяйка выглянула из двери с предложением посмотреть полотно: принесли продавать». (Гончаров, «Обломов»). После *барыню* увидели — *голова с разными грёбенками* (Неверов, «Ташкент — город хлебный»). Под вагонами увидел Ваньку с кривыми ногами, у которого корочки отнимал, и другого *мальчишку* — *Петькой* звать. (там же).

И потом того господина жена учнет подносить гостем *по чарке вина* двойного или тройного, з зельи; величиною *та чарка* бывает в четвертую долю квартаря, или малым болши... (Котошихин, Россия царств. Алекс. Мих., гл. 13).

Ср. аналогичное предложение в фольклоре:

Как за риечкой за быстрой слабуотка стоить,
Ва этай ва слабуотки удуовушка живеть,
У этай у удовушки ды дочка хараша;
За эту за дочку сватался купец.

(Диал. материал, собр. Тростянским, Гришкиным, 58)

По формальному составу это предложение представляет собой сочетание как бы более независимых, самостоятельных предложений, потому что каждое предложение в отдельности полное, все его члены налицо. Но наличие указательного местоимения и повторяющееся существительное не только содержанием, но и формой связывают эти предложения в единое целое. Очевидно именно из этих конструкций впоследствии развился тип относительного подчиненного предложения. Но произошло это не непосредственно, а еще через один этап: вместо повторяющегося существительного с указательным местоимением при нем во втором предложении появляется местоимение, личное (3-го лица) или тоже указательное, которое подчиняет по смыслу второе предложение первому и создает, таким образом, синтаксически единое целое. Например:

Ту прибыхом 3 дни в граде том Кесарийстем; и ту есть был *Корнелие*, его же Петр апостол крестил. (Хожд. Даниила, 122).

На Федорове жеребьи *двор* вотчинников, живут в нем люди его Ивашко да Ондрюшко Кириловы дети... (Выпись из книг писцовых 1641 г. А. Ю. Б. I, 47).

Первая признака у усадьбы Алексея Страхова поставлен *столб*, на нем грань, подле его яма... (Выпись 1678 г., А. Ю. Б. I, 48).

Собрав же множество подобных себе воров и изменников, прииде во *град* нарицаемый *Царицын*, его же лестию и коварством взят. (Материалы возмущения Степана Разина, 264).

Есть ли у вас стариков кто, кому то ведомо, что вам в Перерве реке шестая часть, проезда деля? И игумен Тарасей и старцы Снеготорские воиеновали *старика Терентия Кудатова*: *тому* ведомо, что нам шестая часть есть, проезду деля, в Перерве реки. (Правая грамота 1483 г., А. Ю., 3).

Есть, господине, у нас на ту землю старожилцы, люди добрые, *христиане В. К.* Овдоким Дорофеев сын да Тонкой Гридин сын, те, господине, межи знают В. К. земле Есюинской с монастырскими землями *Ферепонтова монастыря*... (Правая грамота 1534 г., А. Ю., 43).

Об этом типе предложения Потебня писал: «Хотя такие обороты в славянских и других языках восходят в глубокую древность, но так как в них местоимение вполне заменяет

существительное предыдущего предложения (что предполагает память о предшествующем акте мысли при совершении акта последующего, причем оба акта относительно тесно связаны), то эти обороты по характеру новее предыдущих, в коих, в силу повторения существительного при местоимении связь последующего с предыдущим слабее, иначе — последующее более самостоятельно».¹ Будучи сравнительно поздним синтаксическим явлением, этот тип предложения нашел широкое распространение не только в старом, но и в современном языке.

Следующий тип предложения характеризуется тем, что в одной из его частей, в первом предложении, имеется указательное местоимение, конкретное значение которого раскрывается содержанием второго предложения. Нельзя рассматривать эти предложения как два самостоятельные, равноправные отрезка речи. Характерной чертой подчинения является не только наличие подчинительных союзов, но и присутствие в подчиняющем предложении различных коррелятивных частиц. Внутренняя связь в этом типе предложения основана на том, что наличие второго предложения структурно подготовлено указательными местоимениями *тот, такой* (во всех родах, числах и падежах, с предлогами и без предлогов) и местоименными наречиями *так, потому*, стоящими в первом предложении:

Спросили Матфея: есть ли у тебя на ту полдеревни иной довод, опрочь матери твоей даной? И Матфей тако рек: *то*, господине, у меня и довод, *матери моей* даная на ту полдеревни; а сверх того, господине, есть у меня отпись брата моего... (Правая грамота 1552, А. Ю. 40).

А мужи... Кошеи да Орефа, *того дела* к докладу перед господина перед митрополита не приехали: *не пустил* их из осады с Плеса княз Семен Василевич Несвитский... (Духовная 1459, А. Ю. Б. I, 549).

И будет та, и по тому так и быти против записей и что скажут люди, а тому не верить, которую смотрил, *для того: не проведая* подлинно, не женися, (Котошихин, Россия царств. Алек. Мих., гл. 13).

И Матфей тако рек: убыток, господине, мне от Григорья *тот, другой* год, господине, пашни отстал, хлеба не сеял и сена не косил, да в *том, господине*, у меня и живот измерлы лошадь и скотина да и промыслу есми, господине, всякого отстал... (Правая грамота 1532, А. Ю., 39).

Да нам надобе помнить *сие*: не нас ради, ни нам, но имени своему славу господь дает. (Житие Аввакума, 155).

[О горе Фаворе]. Есть же места *такая* [:] по камению лезти на ню, руками держася. (Хожд. Даниила).

И другому суду не быти, а быти по тому первому суду, *потому: ведая* себе судью недруга, а преж суда не бил челом, и тот

¹ Из записок по русской грамматике, т. III, стр. 381.

ему суд учинится по ево доброй воле. (Котошихин, Россия царств. Алек. Мих., гл. 7).

А доходов с тое Малые Росии не бызает ничего, *потому*: как царь принимал их под свое владенье в подданство, и он обещался им и чинил веру на том, что им быти под его владеньем в вечном подданстве по своим волностям и привилеям, как были они в подданстве у Польского короля, ни в чем не переменяя и волностей их не отнимая. (Котошихин, Россия царств. Алек. Мих., гл. 7).

В последних предложениях функция наречия *потому* не достаточно отчетлива: его можно воспринимать и как коррелятивную частицу и как союз. Это свидетельствует о еще недостаточной разработанности системы подчинительных связей того времени.

По своему строю эти предложения в целом не сочиненные: внутренне здесь все подготовлено к переходу в подчинение, но нехватает только, с точки зрения современного литературного языка, подчинительного союза. Это отсутствие союза возмещается соотносительной частицей, стоящей почти всегда на грани предложений. В письменных памятниках древней и старой поры, союзное подчинение достаточно широко развито, правда, оно зачастую в своем строе сохраняет следы переходности от сочинения к подчинению, но наряду с ним встречаются различного рода архаичные конструкции сложного предложения, современному языку совершенно чуждые. Современному литературному языку присуща большая компактность, сжатость в изложении мыслей и ему чужды эти обороты, допустимые с точки зрения старого письменного языка с его общим сочиненным строем. Поэтому все эти конструкции мы осознаем, как сложноподчиненное предложение с недостающим союзом *что*. Но даже в памятниках государственного делопроизводства XIII — XVI вв. с наиболее архаичным строем языка эти предложения не занимают ведущего положения, на их месте значительно чаще выступают союзные сложноподчиненные предложения.

Сравнивая этот тип предложения (...того выблядка, бивнутом, сошлют в ссылку в Сибирь для того: не вылыгай и не стався честным человеком) со структурами предложений, приводимыми выше (и ту есть пещера дивна, из тоя пещеры исходит источник; вижу пещеру, из нее источник исходит) мы видим, что в тех предложениях признак зависимости в виде указательного местоимения при повторенном существительном или просто в виде местоимения, заменяющего это существительное, находился во втором предложении, т. е. в том, которое логически является подчиненным, здесь же — в первом, которое при союзном соединении предложений формально считается главным. Благодаря этому при наличии союза со-

дается структура сложноподчиненного предложения с двухсторонней зависимостью, с взаимной обусловленностью предложений. Эти соотносительные частицы, будут ли они выступать в первой или во второй части сложного предложения, являются следом пережиточно сохраняющегося сочиненного строя предложений. Окончательное подчинение одного предложения другому наступает тогда, когда имеется только один подчинительный союз без коррелятивных частиц.

Среди старых бессоюзных предложений, вошедших в национальный литературный язык, следует отметить условные конструкции. Сказуемое условного предложения выражено бывает преимущественно положительной и отрицательной формой глагола будущего времени. Обуславливающее предложение обычно стоит на первом месте и начинается часто союзом *а, и*. Характерно также при бессоюзии наличие коррелятивных частиц *иногда, то*.

Занял есми полтину и белки до Юрьева дни; а не уплачу на срок кун, *иногда* моя пожня в том. (Заемная и закладная 1428 г., А. Ю., 260).

И мне Ивану до братьей своих вотчины дела нет и до людей и до животов; а стану яз Иван вступатца к ним во что нибуди, *иногда* на мне на Иване по сей записи семдесят рублей денег. (А. Ю. Б. I, 670).

А у кого дочь родится [,] *иногда* рассудны люди от всякого приплода на дочь откладывают на ее имя или животинку растут с приплодом... (Домостр., 14).

И увидит муж, что не порядливо у жены и у слуг или не по тому о всем что в сеи памяти писано [—] *иногда* бы умел свою жену наказывать всяким рассуждением и учить. (Там же, 37).

Сдайте нам сих людей, а не отдадите, *то* мы вас живых не пустим. (Ист. о росс. матр. Василии, 118).

Наличие в главном предложении соотносительной частицы свидетельствует о недостаточно развитой форме бессоюзия. В современном языке такие предложения употребляются лишь в просторечи.

Структура другого типа предложения основана на том, что сказуемое первого предложения выражено переходным глаголом, который нуждается в дополнении. Таким своеобразным дополнением и является второе предложение. Чаще всего подобная конструкция бывает при глаголах восприятия и глаголах речи и мысли. Обычно такое предложение-дополнение стоит вслед за тем глаголом, к которому относится. Предложение этого типа в древних и старых письменных памятниках сравнительно широко распространено: встречается оно достаточно часто и в языке государственного делопроизводства и в различных собственно литературных произведениях:

Тогда Игорьъ възре на светлое солнце и виде [:] отъ него тьмою вся своя воя прикрыты. (Слово о полку Иг., 2).

И падох на землю...; не вем, как плачю; а очи сердечнии при реке Волге. *Вижу: плывут* стройно два корабля златы... (Житие Аввакума, 73).

И я чаю, *меня* обманывают. (Там же, 76).

А Митюк Костин тако рек: яз, господине, *слыхал* у отца своего, то было селиши Попково, а жил ту то Попко... (Судное дело 1481 г., А. Ю. Б. I, 640).

И *увидел* царь из церкви, *идут* к нему в село и на двор многие люди, без ружья, с криком и с шумом. (Котошихин, Россия царств. Алек. Мих., гл. 7).

Писано бо есть [:] отца клятва иссушит [,] а матерья искоренит... (Домостр., 16).

Тогда по русской земли ретко ратаеве кикахуть, но часто врани граяхуть, трупие себе деляче, а галици свою речь *говорахуть*, *хотять* полетети на уедие. (Слово о полку Иг., 5).

Истец Иван Сурвоцкой *сказал*: в первом де оп суде тое rozdелные не клал, для того что он ее к суду не сыскал, а сыскал де он тое rozdелную у себя после суда. (Правая грамота 1637, А. Ю., 75).

При глаголах речи возможно это переходный тип предложения от прямой речи к косвенной. Косвенная речь — книжное явление, чуждое живому разговорному языку. В последнем из приведенных предложений имеется как бы скрещение элементов косвенной и прямой речи: от первой — подлежащее, выраженное местоимением 3-го лица и частица *-де*, от второй — отсутствие подчинительного союза *что*, собственно оформляющего косвенную речь. Но уже в древних памятниках наряду с подобными бессоюзными предложениями выступают и союзные:

Мнози бо странници неправо глаголють о схожепии света святого; ин бо глаголетъ, яко святыи дух голубем сходит к гробу Господню; а другие глаголють: молнии сходить с небесе и тако вжигаются кандила над гробом Господним. И то есть лжа... (Хожд. Даниила, 126).

Таким образом, судьба бессоюзных сложных предложений древнего и старого письменного языка неодинакова: одни из них исчезли из употребления в литературном языке, другие дали основу для образования союзных предложений, третьи, почти не изменившись, вошли в состав современного литературного языка.

Новые типы простого и сложного предложений возникают на всем протяжении создания национального литературного языка. И не только союзные предложения приходят на смену старого бессоюзия, но и обратно — различные виды бессоюзных предложений, как более тонкие и сложные синтаксические конструкции, вытесняют устаревшие формы союзных предложений. Уже Ломоносов отмечал преимущества бессоюзных предложений по сравнению с чрезмерным употреблением сою-

зов в старом языке: «Союзы ничто иное суть, как средства которыми идеи соединяются, и так подобны они гвоздям или клею, которыми части какой махины сплочены, или склеены бывают. И как те махины, в которых меньше клею и гвоздей видно, весьма лутчей вид имеют, нежели те, в которых спаев и склеек много, так и слово важнее и великолепнее бывает, чем в нем союзов меньше».¹

¹ Ломоносов. Риторика, ч. III, гл. 6, § 325.

СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ МУЖЕСКО-ЛИЧНЫХ И „ПРЕДМЕТНЫХ“ ОКОНЧАНИЙ В ПОЭТИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ „ГРАЖИНЫ“ МИЦКЕВИЧА

Доц. С. С. Советов

I

Одним из значительных и существенных морфологических изменений в польском литературном языке конца XVII в. и в течение первой половины XVIII в. является изменение, связанное с именительным падежом множественного числа мужского рода от слов первого склонения. В конце XVI в. происходит процесс разграничения существ. неодушевленных с формами старого винит. на *у* от существ. одушевленных с собственными именами на *i* или *owie*; этот процесс, пройдя весь XVII век, в конце концов в XVIII в. находит свое окончательное оформление, а именно: старые окончания *i* и *owie* становятся исключительно прерогативой существительных только мужского рода личных. Таким образом, только в XVIII в. происходит выделение особой мужеско-личной формы в имен. мн., которой свойственны определенные окончания. Если в склонении существ. одушевленных в имен. мн. муж. р. еще в XVII в. преобладают формы на *у* (т. е. старые формы вин.), то в XVIII в. окончания *у* и после *k*, *g* — *i* свойственны уже существительным неодушевленным и одушевленным, но только неличным, а окончания на *owie* и старое на *i* (как, напр.: *chłopi*, *śasiadzi*, *kaci* (от *kat*), а после отвердевших *s*, *dz*, *rz* — *у* (напр.: *urzędnicy* (от *urzędnik*); *Polacy* а не *Polaci* (от *Polak*); *kurсы* а не *kurci* (от *kupiec*); *wrodzy* (от *wróg*); *doktorzy* (от *doktor*) свойственны исключительно существительным личным мужским. Далее в склонении местоимений имен. и винит. мн. всех трех родов в XVII в. стало господствовать новое окончание *e*, и опять-

таки только формы муж.-личные имеют в именительном окончание *i*. То же самое касается и прилагательных, которые имеют также в имен. мн. формы муж.-личные на *i* и *у* (после отвердевших), а все остальные прилаг. муж. р. (неличные), женск. р. и ср. р. в винит. и именит. мн. ч. окончание—*e*. Аналогичное явление мы наблюдаем и в причастии прош. действит. на *t*, которое создает сложные глагольные формы, где в данном случае мы имеем особые формы муж.-личные на *i*, а все же остальные на *у*, как, напр. *moi powi znajomi* (имеются в виду люди) *przyszli*, но: *moje dobre konie biegaly, moje powi domu beda tam staly*. В связи с этим явлением следует отметить, что по всей вероятности по аналогии с формами *sasiedzi, murzyni* и им под. формы им. мн. на *szy* также изменились на *si*. В конце XVI и XVII вв. писали: *Laszy* (от *Lach*); *Wloszy* (от *Wloch*); *mniszy* (от *mnich*); прил. *ciszy* (от *cichy*); *gluszy* (от *gluchy*), и местоим. *naszy* (от *nasz*) *waszy* (*wasz*); так, напр.: у Самуэля Твардовского (XVII в. в произведении „*Nadobna Paskwalina*“ читаем в 1-м изд. 1655 г. „*abo ci sie z nimi Psi naszy nie wodzili . . .*“ (Однако уже во 2-м изд. 1701 г. мы находим *nasi*).¹ И только в „Новых Афинах“ Бенедикта Хмелевского с 1743 г. — на что указал проф. Ян Лось, — мы впервые встречаем новые формы *mnisi, Wlosi, pastusi* и т. д. (местоимение *nasi*, однако встречается и в конце XVII века, как это мы видели из только что приведенного факта).

Далее, в связи с этим стоял и другой вопрос, а именно социальное и стилистическое осмысление этих окончаний. Так, напр., форма на *у* в имен. мн. муж. р. после давнего твердого согласного для имен личных — как отмечает проф. А. М. Селищев, — имеет оскорбительное, презрительное значение. Слово *chlory* (вместо *chlopi*) может звучать в речи какого-нибудь пана, относящегося свысока к мужику. Или в речи какого-нибудь шовиниста такой оттенок пренебрежения отражается в формах *persy* (вм. *persowie*), *tatary* (вм. *tatarzy*), *turki* (вм. *turcy*). Кроме пренебрежительного, неблагосклонного отношения эти формы могут также характеризовать, наоборот, — по выражению Яна Лося, и благосклонное отношение, но обязательно с оттенком добродушия или снисходительности; наконец, они могут быть употреблены в зависимости от значения слова и при известной торжественности настроения. Окон-

¹ Samuel T w a r d o w s k i. *Nadobna Paskwalina. Wstepem i objaśnieniami* zaopatrzył Roman Pollak. Biblioteka Narodowa. Serja I.—№ 87, Kraków, 1926, стр. 80. Punkt II; строка 407—408.

чания же *i* и *owie*, наоборот, бывают связаны всегда с чувством уважения к личной особе. Что же касается названия зверей, то дольше всего в историческом разрезе удержалось окончание *i*, чем *owie*, и мы нередко встречаем это окончание в XVIII в.; очевидно, — по мнению Яна Лося, — с этим окончанием не так было сильно связано чувство известного уважения, какое вкладывается в окончание *owie* в настоящее время. Такие формы, как *ptacy*, *wilcy*, *psi* (вм. *ptaki*, *wilki*, *psy*) очень часто попадают в текстах XVIII в., напр., в „Новых Афинах“ Бенедикта Хмелевского. Такова в кратких чертах история разбираемого мною падежа.¹

II

Поскольку XVIII век являлся периодом становления исследуемой нами формы им. мн., постольку сперва небезынтересно будет посмотреть, как этот процесс отразился на языке отдельных писателей XVIII в. и как эта форма была использована ими в целях стилистических даже и на данном этапе. В связи с этим остановлюсь на сделанных мною наблюдениях в языке героико-комических поэм „Война монахов“ и „Антимонахомахия“ Игнатия Красицкого и „Органы“ Каэтана Венгерского, во-первых, потому, что язык данного сатирического жанра очень мало изучен, и во-вторых, потому, что язык этих поэм представляет образец подлинного поэтического мастерства, главным образом, у Красицкого — лучшего стилиста своего века.

а) Форма *mnichy* господствует на протяжении всей поэмы „Война монахов“ и „Органы“

Przecież ja powiem, co robili *mnichy* . . .
(Monach. I, 2).

Budzą się *mnichy* letargiem uśpione . . .
(Monach. I, 9),

Wtenczas, gdy złością uwiedzione *mnichy* . . .
(Monach. IV, 74).

Już się sproszne z inąd *mnichy* i kanony,
Jedni na mszę gotują, drudzy na ambony.
(Organy, V).

У Венгерского мы имеем *mnichy* и *kanony* (т. е. каноники), чевыделенные муж.-личным окончанием. Однако-

¹ T. Benni, J. Łoś, K. Nitsch, J. Rozwadowski, H. Ułaszyn. Gram. języka polskiego. Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności. W Krakowie, 1923. Стр. 257—258.—Jan Łoś. Krótka gramatyka języka polskiego. Lwowska Biblioteka Sławistyczna, —t. V. Lwów, 1927, стр. 97—99; 136.—Stanisław Słoiński. Historia języka polskiego. Lwów—Warszawa, 1934, стр. 100; 142—143; 156—157. А. М. Селищев. Славянское языкознание, т. I. Западно-славянские языки. М., 1941, стр. 292, 348 и др.

слова *jedni* и *drudzy* как их заместители выступают уже с муж.-личным окончанием. Здесь можно было бы ожидать древнейшую старопольскую форму *mniszu* или новую *mnisi*, которая в течение XVII—XVIII вв. уже вытеснил старую форму *mniszu*. Форма *mnichu* является старою формою вин. пад. Интересно отметить, что в речах самих героев монахов мы не находим ни разу употребления слов *mnichu*; оно обычно, как и следовало бы ожидать, заменяется почтительными словами *ojcowie nasi* (в большинстве случаев при обращении). В „Антимонахах“ вместо слова *mnichu* употребляется слово *zakonnik* в речи героя и у самого автора, или заменяется также словом *ojcowie*. Ту же картину мы наблюдаем и в романе Красицкого „Pan Podstoli“, где идет речь о защите монастырей, как, напр., „Najpierwszy zarzut, iż nas *zakonników* nadto.¹ Trzeba, by też zarzut stosować w szczególności do krajów, gdzie są *zakonnicy*“.

б) Форма *ojcy* и *ojcowie*:

Dały to poznać *ojcy przewielebne*
Skoro, jak *mogli*, *wyszli* z refektarza;

(Monach. III, 45).

Biegli ojcowie za mistrzem w zawody ...

(Monach. I, 11).

Takimi [*dzbanami*] *nasi ojcowie* *pijali*, ...

(Antimonach. VI, 95).

Dobrze to *znali wielebni ojcowie*;

(Antimonach. VI, 99).

В речах героев монахов:

Ojcy lektory niech myślą o szkole ...

(Antimonach. V, 76).

Wiém ja, *ojcowie*, na co się *zanosi* ...

(Monach. I, 19).

Raczie, rzekł, *śłuchać*, bez żadnej urazy,

Ojcowie mili poselstwa *osnowę*.

(Monach. II, 37).

Nie tak to *nasi ojcowie* *działali* ...

(Antimonach. II, 28).

В самом первом примере мы имеем смешение старого окончания и нового муж.-личного; следовало бы ожидать правильное согласование:

¹ *Zakonnik* по-русски означает: монах, инок, служитель монашеского ордена („Закона“).

² Jgnacy Krasicki. „Pan Podstoli“: Część druga, księga II, rozdział XI. „Biblioteka Narodowa“—Serja I—№ 101. Opracował Julian Krzyżanowski. Kraków. 1927, стр. 194.—Цитирую „Войну монахов“ и „Антимонахию“ по изданию: Dzieła Jgnacego Krasickiego. Edycja nowa i uzupełniona Franciszka Dmochowskiego. Tom I. W Warszawie, 1803, стр. 75—158. „Органы“ по изданию: Pisma wierszem i prozą Tom. Kajetana Węgieńskiego. „Biblioteka klasyków polskich.“—VI. (przez Estreichera). We Lwowie 1882, стр. 139—174.

*Dały to poznać ojcy przewielebne,
Skoro, jak mogli, wyszły z refektarza.*

Во всех остальных случаях мы имеем правильное согласование с выделением муж.-личного окончания. В речах героев автор всюду дает почтительную форму *ojcowie* и выделяет муж.-личное окончание в согласуемых словах, как *mili, nasi* и т. п. Только в одном месте, в речи Вицесгерента, главного судьи диспута, мы находим *ojcy lektory*, вместо ожидаемого *ojcowie lektorowie*. Однако здесь мы имеем некоторый оттенок торжественного приказа, обращения к младшим по должности со стороны старшего, каковой оттенок и выражает данная форма.

в) Формы *posły* и *posłowie*, *mędracy* и *mędracowie* и т. п.

Po zgniłych krokwiach dostały się posły . . . (Monach. III, 52).

(Речь идет о *послушниках*, посланных на поиски библиотеки, *портном* и *аптекаре*).

Но

Białokapturni gdy posłowie weszli (Monach. II, 33).

(о монахах — послых)

Bajali niegdyś mędracy zapalczywi . . . (Monach. III, 44).

И рядом:

Piją, jak drudzy, mędracowie prawdziwi . . . (Monach. III, 44).

В речи монаха:

Niech mi mędrkowie dzisiejsi wybaczą (Antimonach. II, 33).

Niech się mędrkowie nad księgami posą (Antimonach. III, 48).

Форма *posły* в первом примере выражает некоторое пренебрежительное отношение к младшим подчиненным. Недаром Красицкий иронически называет их ослами.

*Wolna starszyzna od przykręj mitręgi,
Wkłada ten ciężar na domowe osły . . .* (Monach. III, 52)

Наоборот, форма *posłowie* выражает уже некоторый оттенок почтительности по отношению к монахам послам, т. е. стоящим выше в духовной иерархии, в противоположность первым. Форма *mędracy* (от *mędrzec*) *zapalczywi* выражает некоторое пренебрежительное отношение, употребленное, конечно, в ироническом смысле, к лицам, т. е.

псевдомудрецам, советующим пить воду вместо вина. Наоборот, форма *mędrowie prawdziwi* выражает почтительное отношение к тем истинным мудрецам, которые умеют сами хорошо пить вино, мёд (опять-таки в ироническом смысле), что, конечно, импонирует больше монахам. Наконец, форма *mędrkowie*, дважды употребленная в речах оскорбленных монахов, уже звучит по своему значению явно презрительно по отношению к лицам, занимающимся критикой монахов.¹

Далее, мы имеем форму *filozofy*, произнесенную с сожалением, со снисходительностью:

Znać filozofy wina nie pijali

(Antimonach VI, 102).

и *filozofowie*:

*Bo też to nadto ci filozofowie
Rozprawowali o wstrzemięźliwości...*

(Antimonach VI, 99).

Наконец, в таких словах, как *król, bohater, pan, astronom* мы находим у Красицкого и у Венгерского полностью выдержанную муж.-личную форму:

Nie śpią królowie, spał ojciec Gaudenty

(Antimonach. III, 36).

Boją się jé) królowie, kobiety i gachy...

(Organy, II).

Любопытен пример из Венгерского в том отношении, что противопоставлены две формы друг другу: *królowie* и *gachy*; здесь можно было бы ожидать муж.-личную форму: *gast*, однако мы имеем в данном случае форму, явно выра-

¹ Ср. у Мицкевича в „Книгах польского пилигримства“, то же слово приблизительно с тем же пренебрежительным значением, но выступающее не в комической оправе, как у Красицкого, а на фоне строгого. библейского стиля: „Rządcy francuscy i *mędrkowie* francuscy, którzy gadacie o wolności a służycie despotyzmowi...“ (Ad. Mick. „Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego“ Opracował St. Pigoń. — „Bibl. Narod“. Serja I, № 17, Kraków, 1924, стр. 132 абзац XXIII). Очень жаль, что такой знающий и чуткий переводчик с польского, как Анатолий Виноградов, однако не уловил в данном случае пренебрежительного резонанса в этом слове, и благодаря этому искажил основной смысл всего предложения. В своем переводе: „Книги польского пилигримства“, вышедшем в 1917 г., мы читаем это место: „Правители Франции и ученые Франции, говорящие о свободе и служащие деспотизму... вы падете“... и т. д. Между тем правильно, по-моему, следовало бы перевести: „Правители Франции и лже мудрецы (или лукавые мудрствователи), говорящие о свободе и служащие деспотизму... вы падете“ и т. д. Благодаря именно такой интерпретации и получается острый полемический тон речи, отвечающий полностью оригиналу; приглашенный и причесанный язык Анатолия Виноградова чужд в данном случае Мицкевичу.

жающую пренебрежительное отношение к определенным лицам: *gach* означает молокосос, дамский угодник, франт, подлипала.

Jak więc *bohaterowie*, co po runo złote . . .

(Organy, II)

Wszak *astronomowie*

Znaleźli plamy nawet wpośród słońca

(Monach. VI, 94).

В вежливом обращении при торжественной речи:

A moje zdanie, rzekł, mości *panowie*,
Duchowni, świeccy, wielebni, wielmożni

(Antimonach, II, 86).

и т. д. и т. д.

г) Наконец, необходимо отметить выдержанное по всем правилам грамматики согласование муж.-личных окончаний от сущ. муж.-личных с прилагательными, глагольными и причастными формами в таких выражениях в „Войне монахов“ и „Антимонахомахии“, как, напр.:

Najprzystojszym *poruszeń* względem,
Wiwat chórowym tonem *zawołali* . . .

(Monach. I, 16).

Pełni radości, którą trunek zdarza,
Znowu na radę *poszli* . . .

(Monach. III, 45).

Tym, *klórzy* tylko *winni* błogosławić . . .

(Antimonach. I, 17).

Bogdaj to *dawni* w księgach nie *szperali*

(Antimonach. II, 28)

Starzy i młodzi, rumieni, wybledli,
Wszyscy swe miejsca porządnie zasiedli.

(Monach. II, 32).

Próżność nauka! *najszczęśliwsi głupi!* . . .

(Monach. VI, 104).

Здесь выражено иронически сочувственное отношение самого автора к мыслям и желаниям героев-монахов.

O! *mili bracia*, gdybyście *wiedzieli* . . .

(Monach. I, 23).

Bracia kochani! Wam to los nadarza, . . .

(Monach. III, 51).

В последнем примере слова обращены от имени самого автора к аптекарю и портному; в них звучит сочувствие и сожаление по поводу жалкой участи послушников; однако, в данном случае не требовалось уже показа должностного различия между простым послушником и важным монахом-послом, как это наблюдалось в первом примере.

Вместе с тем и по этой линии, мы имеем отклонения, т. е. нарушения обычного согласования форм, как напр.

Jak *wierne* [вм. *wierni*] swemu powołaniu *braty*,
Byli posłuszni na jego skinienia . . .

(Monach. III, 57).

где просторечная форма *braty* (стар. вин. пад.) взята вместо *bracia* (т. е. духовные братья—монахи). Со словом *braty* правильно согласуется слово *wierne*, но *byli posłuszni* с муж.-личным оформлением уже выпадает из нормы требуемого согласования. Ср. с этим другое оформление от слова *brat*—*bratowie*, которое мы встречаем, напр., у Мицкевича в народной балладе „*Lilje*“, где данное слово выступает в значении ближайшего по крови родственника:

Jadą, jadą panowie
 Nieboszczyka *bratowie!*¹

См., наоборот, из XII книги „Пана Тадеуша“ слова Войского, в своей речи как бы снисходительно похлопывающего по плечу братию-шляхту.

... patrz, jak *szlachta braty*
 Rzucając czapki, usta *otwarli*, — wiwaty!

Кто читал это место в „Пане Тадеуше“, тот поймет всю иронию и даже сарказм, выраженные данною формою, по отношению к мелкой шляхте, ведущей себя неподобающим образом на сеймиках. (Строка 128.)

Этот разноречивый в согласовании у Красицкого мы встречаем в целом ряде и других примеров, отчасти уже приведенных нами выше. Наконец, мы имеем и такое сочетание, которое оформляется целиком старым окончанием вин. мн., а не муж.-личным, как, напр.:

Bogdaj się *nasze świącili pradiady*
 (Antimonach. VI, 96).

или

Szczęśliwe nawet *były Bonifratry*
 (Monach. I, 7).

В связи со всем сказанным следует отметить употребление муж.-личного окончания в слове *chłop* у Франтишка Заблоцкого в комедии „*Sarmatyzm*“. В более ранней редакции (1785 г.) мы читаем:

[Agatka (служанка Анели)]: Jak to się *chłopy* zęcznie *zakradli* z parowów.²

Однако в окончательной редакции, исправленной самим ав

¹ Ad. Mickiewicz. Poezje, tom I. Opracował Józ. Kallenbach. Biblioteka Narodowa, Serja I, № 6, Kraków, 1926, стр. 101.

² Franc. Zabłocki. „Sarmatyzm“. Akt II, scena 2. Opracował Ludwik Bernacki. Bibl. Narod., Serja I, № 115. Kraków, 1928, стр. 38.

тором для печати (1820 г.), Заблоцкий изменил форму *chłoru* на *chłopi*.

Таким образом, из указанного материала вытекает следующее основное положение: язык героико-комических поэм чрезвычайно наглядно и убедительно отражает процесс выделения муж.-личной формы в имен. пад. мн. ч. 1-го скл., имевший место в польском литературном языке второй половины XVIII века. Колебания в формах согласования и смешение „старых“ и „новых“ форм показывает, однако, что этот языковой процесс далеко не являлся окончательно завершенным, стабилизированным. Происходит борьба, в которой безусловно побеждает эта новая муж.-личная форма, как более жизненная и имевшая широкое распространение и в разговорно-бытовой речи и в народных говорах, где обычно она выступает с нарушенным согласованием. Так, напр., даже в формах числительного происходит это разграничение, как это видим на примере из Венгерского:

Tyleż i trzej [вм. trzy] rycerze nasi uczynili.

(Org. II).

Во-вторых, этот язык показывает, как умело и тонко поэт использует в стилистическом плане эти „старые“ и „новые“ формы для выражения различных оттенков отношения к тому или иному лицу, что мы показали на целом ряде примеров. В этом отношении характерен пример из Заблоцкого, который, желая подчеркнуть в речи городской служанки презрительное отношение ее к хлопам-мужикам, впоследствии считает необходимым, однако, изменить эту форму на общелитературную, сохранив тем самым правильное согласование муж.-личных окончаний.

III

Переходя теперь к поэтическому языку „Гражины“ Мицкевича, мы должны отметить, что обычное для литературного языка XIX в. установившееся, правильное употребление муж.-личного окончания имен. мн. от имен существительных, причастий, местоимений и в сочетающихся с ними глаголах, является нормою и для языка „Гражины“, на что указывают нам следующие примеры:

Jeśli, jak słyszę, przybyli posłowie,

Znać, że na jego nie zwiedziony słowie.

(строки 252—253; слова Литавора).

Giermku — zawoła, kędyż są posłowie?

(строка 751; слова Гражины).

To powiedziawszy, usiadł i w dłoń klasnął,

Skoczyli słudzy, kazał zwlekać szaty...

(строки 474—475).

A chociaż *wszyscy* omyłkę *w'dzieli*,
Przestrzegać Pana nikt się nie ośmieli.

(строки 811—812).

Swoi i cudzy zmieszani w natłoku. . .

(строка 868).

Nawet *baczniejsi i bliżsi* jęj boku
Nie prędko mogli zbadać i nie snadnie.

(строки 532—533).

Wiész, jako dzielnie brzeszczotami sieką
I dzidą *srożsi* od naszych daleko.

(строки 262—263).

A jeszcze bardziej nad Litewskie męże,
I nad Polaki *zawziętsi* na siebie,
Od wieku wieków są *ludzie* i węże. . .

(строки 297—299).

Jego jakoby drugiego Mindowę,
Na ucztach wielbią *Wajdeloci nasi*.

(строки 426—427).

Ci jak *zawziętocy* czekają zdobyczy,
Tamci kajdanów jak lud niewolniczy

(строки 181—182).

В прозаическом тексте „Исторических примечаний“:

„За czasów pogańskich, a nawet po przyjęciu
chrześcijaństwa,

kiedy grzebano Litwina i Prusaka, *płaczkowo śpiewali nad*
nim...“

[„Przypisy historyczne“ к строке 43].

„W Litwie znowu, za wprowadzeniem wiary chrześcijańskiej i
języka polskiego, *dawni kapłani* i mowa ojczysta poszła w
pogardę i zapomnienie;“... „Przyp. histor.“ к строкам 426—427].

„U starożytnych Litwinów był rząd poczęści teokracki. *Kapłani*
wielki wpływ mieli; „Przyp. histor.“ к строке 441].

„Takimi *byli krzyżacy*, zakon z samych Niemców złożony,...“

[„Przyp. histor.“ к строке 40].

„*Płaczkowo śpiewali nad nim* [Litwinem albo Prusakiem]:

„Idź, nieboże z nędzy tego świata na lepszy, gdzie *drapieżni Niemcy* tobie panować nie będą, ale ty im;“ o czym
świadczą Bielski i Strykowski... „Przyp. histor.“ к строке 43].

„Hop, hop,... und poss!“ *wołali Niemcy* na nieprzyjaciół.

[„Przyp. histor.“ К строке 853].¹

Однако, параллельно этим общеупотребительным согласованным формам муж.-личных окончаний мы встречаем в поэтическом языке „Гражины“ довольно значительное количество форм с „предметным“ окончанием в тех словах и сочетаниях, где должна была бы стоять по правилам муж.-личная форма. Спрашивается, чем вызваны данные отклонения, хотя бы и характерные для поэтической речи, от этой обычной уже в начале XIX в. общепринятой нормы? Из собранных мною примеров можно составить себе картину, почему именно Мицкевич в том или другом случае употреб-

¹ Цитирую по изданию: Ad. Mickie w i c z. Grażyna. Powieść litewska. Z wstępem Józefa Tretiaka i objaśnieniami Henryka Życzyńskiego. Wydanie III, Bibl. Narod., Serja I, № 74, Kraków, 1928.

для замены муж.-личной формы „предметной“ формой старого вин. пад. мн. ч.; и в данном случае в первую очередь, конечно, он выполнял стилистическую функцию, выражая тем самым то или иное отношение к изображаемому моменту, подчеркивая и характеризуя словесными средствами различные оттенки взаимоотношений своих героев.

Исходя из этого положения, данные примеры можно распределить на следующие группы.

а) Выражение пренебрежения с оттенком некоторой резкости, суровости:

1. *Cho bardziej jeszcze, niżli złe sąsiady,*
Gniębne na siebie *Litwiny i Lachy*
Często u wspólnie pijają biesiady,
Snu używają pod jednemi dachy.

(строки 292—295),

где в возбужденной и гневной речи Рымвида, направленной против немецкого крестоносного ордена, перед враждою которого ничто не может сравниться, даже такие враждебные отношения, когда-то существовавшие между двумя племенными соседями, как литвины и ляхи, мы находим сознательно введенные архаизированные „исторические“ формы старого вин. пад. мн. ч., ставшие так наз. „предметными“ формами с функцией имен. мн., которые несомненно выражали в данных условиях оттенок суровости и первобытной простоты, поскольку воскрешались древние исторические моменты. И поэтому мы находим *złe sąsiady*, а не *zli sąsiedzi* и также *gniębne Litwiny i Lachy*, а не *gniębni Litwini i Laszy*, или даже в более позднейшей форме *Lasi*. (При этом надо учесть и то, что слово *Lachy* рифмуется со словом *dachy*, стоящим в форме старопольского твор. пад. мн. ч.). Однако сравни с этим в другом месте:

- Poznali męża Litwini z tych znaków...*

(строка 38),

где муж.-личное окончание является закономерным в устах поэта — эпического повествователя, как форма, свойственная общелитературному языку и не выражающая в данном случае никаких отношений со стороны героев. Та же самая форма: *Litwini* встречается и во всех случаях в „Исторических примечаниях“ к „Гражине“.

2. *Za cóż, na widok Kiejsztowej burki*
Drżą Niemce i biedną Turki?

(Из „Литовской песни“ в переводе Мицкевича,
приведенной в „Przypisach historycznych“
к строке 512).

где противопоставляются литовцам враги их: немцы и турки, которые должны содрогаться от силы литовского оружия. И здесь опять-таки слова *Niemce* и *Turki*, стоящие в имен. пад. мн. ч. принимают окончания старого вин. пад. мн. ч., в противоположность старой форме имен. пад. мн. ч. *Niemcy* и *Turcy*, каковую мы и находим в прозаических „Исторических примечаниях“ Мицкевича, а именно: *drapieżni Niemcy*, *wołali Niemcy*. Ср., однако, с этим одно место из „Добавлений“ к XII книге „Пана Тадеуша“, находящихся в автографе „*Uwagi Maczka Dobrzyńskiego*“, где выражено явное пренебрежение к туркам и татарам:

A muszą też być z niemcem *turki czy tatarzy*,
Czy syzmatyki, bo ni boga ani wiary!

3. ... I że przed świtem, jak czatownik tuszył.

I jak *nienieckie* wyznawali *brańce*,

Chce miasto ubiec i szturmować szanśce.

(строки 735—736).

где говорится, как бы устами литовского разведчика, о признании немецких пленников в том, что немцы собираются штурмовать литовские окопы. И здесь опять-таки старой формой вин. пад. мн. ч. выражен оттенок пренебрежения к этим пленным врагам. Иначе эта форма должна была бы звучать: „I jak *niemieccy* wyznawali *brańcy*“. Здесь также имеет свое оправдание и сознательная архаизация формы.

4. Drudzy dwaj chodzą, konie wodząc w rękę;

Posły Niemieckie — poznałem z odzieży...

(строки 218—219).

Интересно отметить, что в первоначальной рукописи это место из речи Рымвида — ненавистника немцев — звучало:

„Drudzy dwaj chodzą, konie wodząc w rękę;

„To są posłowie — poznaję z odzieży...”

Однако при первом издании „Гражины“ (1823 г.) Мицкевич изменил последнюю строку, желая подчеркнуть в устах Рымвида, что это не какое-то вообще дружеское посольство, а именно вражеские, немецкие послы. В первой фразе, где Рымвид говорит *вообще* о каких-то незнакомых рыцарях, оставлена муж.-личная форма в словах *drudzy* и *dwaj*, но когда во второй фразе (после некоторой паузы) Рымвид узнает, что это немецкие послы, а не кто-либо другой, поэт дает уже форму старого вин. пад. мн. ч. „предметного“ характера, т. е. *posły niemieckie*, а не *posłowie*. И в этом сочетании, конечно, всё предложение получает несколько иной оттенок, нежели в словах Литавора, дружески расположенного к немцам: „*Jeśli jak słyszę, przybyli posłowie*“

или в словах Гражины, сказанных в официально-вежливом тоне: „Giermku“, zawoła „kedyż są *posłowie*?“

б) Выражение известного высокомерия, надменности по отношению к более „низшим“ существам со стороны „высших“:

1. „Więc *krewnie pany*, a więc starsze urzędy,
„Ku bezpieczeństwu, a większej ozdobie
„Z sowitym pocztę niech staną przy tobie.

(строки 199—201).

где мы имеем старую форму вин. мн. *krewnie pany* в функции имен. мн., вместо старой формы имен. мн. *krewni panowie*. И в этой старинной форме в речи Рымвида прекрасно выражен момент феодальной зависимости, момент подчинения этих „кровных панов“ и далее сановников государства князю, как существу более сильному, обладающему высшей властью над этими панами, а отсюда вытекающий оттенок сословной и высокомерной презрительности, надменности, хотя в предыдущем предложении мы и встречаем в той же речи Рымвида, говорящего вообще *абстрактно* о широком круге придворных рыцарей, муж.-личное оформление, а именно:

- Naprzód rycerstwo obeślemy wszędy,
I tych, co w mieście *zostali się bliscy*,
I co na miejskie *powrócili grędy*,
Mają na zamek zgromadzić się *wszyscy*;...

(строки 195—198).

В дальнейшем, однако, при конкретизации лиц из круга этих рыцарей и при конкретном выражении их отношений к властительному князю выступает уже известная нам „предметная“ форма: *krewnie pany*.

2. Gdy się *zbliżały* rycerze i *pany*,
Uczcił łaskawem nie raczył ich okiem.

(строки 807—808).

где старая форма вин. пад. мн.ч. „*zbliżały rycerze i pany*“ заменяет „новый“ имен. пад. мн. ч., требовавший муж.-личного окончания; в этом случае мы должны были бы ожидать „*gdy się zbliżali rycerze i panowie*“. Однако, поскольку эта старая форма вин. мн. должна была ярче выразить оттенок высокомерия со стороны „мнимого князя Литавора“ в лице Гражины, переодетой в доспехи своего мужа, высокомерия по отношению к своим подчиненным рыцарям и панам, которых при приближении „князь“ не удостоивал даже милостивым взглядом, постольку поэт употребил эту форму именно в данном контексте и в данном „предметном“ сочетании, выраженном в глаголе *zbliżały* а не *zblizali*, ка-

ковое окончание могло быть нормальным, законным и для слова *rycerze*.

в) Выражение и подчеркивание некоторой „торжественности“ в обстановке, „высокого стиля“ в речи, „исторической колоритности“ в обрисовке картины:

1. *Biegą mieszezanie, rycerze, kapłany,*
Czekają końca, zgadywał nie śmieją; ...
(строки 1022—1023).

Из описания погребения погибшей княгини. Ср. эту форму старого вин. пад. мн. ч. *kapłanu* с другой формой в именительном же пад., но выступающей в прозаических „исторических примечаниях“ к „Гражине“ с муж.-личным окончанием, а именно: „*dawni kapłani*“ и „*kapłani wielki wpływ mieli*.“

2. *Gdzie obskoczyły książęcia dworzany,*
Przybiega, chwyla, rwie pancerza węzły ...
(строки 963—964).

Из описания спасения Литавором раненой Гражины, где мы находим историческую форму стар. вин. пад. мн. ч. *dworzany*, согласованную формально с глаголом, имеющим „предметное“ окончание на *ty*. Это же предложение с иным оформлением должно было бы звучать: „*Gdzie obskoczyli książęcia dworzanie*“, где окончание *e* (из древнейшего славянского *e*) свойственно было историческому имен. пад. от слов с суффиксом *-anin*, а также и современному общелитературному языку. Ср. в „Исторических примечаниях“ к „Гражине“.

„О tych krzyżakach twierdzą, ... iż wolą, aby *poganie* (or *poganin*) *podbici zostali* w bałwochwalstwie i haracz *płacili*, aniżeli *uwolnieni* od haraczu chrzest *przyjęli*, o co pobożnie *nalegali* i *nalegają*“. [„Przyp. histor.“ к строке 40].

Точно так же и со словом *mieszczanie*, употребленном в „Гражине“, однако не в форме *mieszczanu*, поскольку данное слово по своему стилю, характеру и значению в контексте несомненно отличалось исторически от слова *dworzanie* (придворные).

3. „Wy, *syny wasze*, wnuków waszych wnuki;
„Niechaj to w sercu zachowają na dnie:
(к строке 1081).

Из прощальной, предсмертной речи князя Литавора, пропущенной в первом издании, но находящейся в автографе. Эта форма старого вин. пад. мн. ч. *synu*, вместо старого имен. мн. *synowie* (как этого требовала историческая основа

на -и), форма, согласованная с местоимением, оканчивающимся на „предметное“ -e: *wasze* (вм. *waszy*, позднее *wasi*) являлась несомненно более характерной для патетически-торжественной речи Литавора, произнесенной им перед своей смертью.

Эта смысловая игра форм наглядно представлена в „Добавлениях“ к XII книге „Пана Тадеуша“, находящихся в автографе: „*Uwagi Maćka Dobrzyńskiego*; в высоко торжественном тоне с моментом абстрагирования звучит: *pawet wielkich Panów synu...* И другое дело в рядом стоящем предложении со сниженным разговорным стилем и с моментом конкретизации: *A to byli synowie Potockiego Jana* (строки 5 и 8).

Что именно поэт предпочитал в стилистических целях употребить старый вин. пад. мн. ч. вместо современного имен. мн. с муж.-личным окончанием показывает наглядно следующий любопытный факт:

„*Małcz Pruski i Mszczwsza cary*
Ziem, ludzi, złota *wepchnęli* mu w *paszczę*?“
(строки 310–311)

(Из речи Рымвида). Однако в автографе до напечатания еще данного текста мы читаем в том же предложении:

Małoz Prusacy, małoz nasze cary
Ziem, ludzi, złota *wepchnęli* mu w *paszczę*?

где слово *Prusacy* имеет муж.-личное оформление и правильно согласуется с глагольной формой *wepchnęli*, хотя из этой правильной системы согласования выпадает сочетание *nasze cary*, употребленное в форме старого вин. мн. с „предметными“ окончаниями *e* и *u*; (муж.-личная форма звучала бы: *nasz carowie*). Желая сохранить общий стиль, который долженствовал выразить известный оттенок резкости, суровости и в то же время „древней простоты речи“, поэт при первом же печатании текста „Гражины“ изменяет современную „вежливую“ форму *Prusacy* на более выразительную старую *Prusaki*, гармонирующую со словом *cary* (ср. в этой же речи слова с предметными формами: *Litwinyi Lachy*), но, однако, оставляет прежнее муж.-личное согласование в глаголе *wepchnęli* (вм. ожидавшейся формы *wepchnęły*). Таким образом, здесь уже выступает при согласовании новый момент, момент смешения этих двух форм. Этот же момент смешения нашел себе место и в таком сочетании:

Zeszli im drogę ciekawi mieszkańcy...

(строка 990)

где определение *ciekawu* оформлено с муж.-личным окончанием: *ciekawi*, а определяемое *mieszkanie* стоит в форме старого вин. пад. мн. ч. *mieszańce*, вместо имен. мн. с муж. личным окончанием *mieszkańcy*, что мы, напр., и находим в прозаических примечаниях самого автора к „Пану Тадеушу“: *Ulice były puste, mieszkańcy zamknęli się w domach* (кн. 9, строки 468—469). Ср. этот пример с приведенным мною выше примером, где имеется старое оформление: *niemieckie wuznawały brańce*.

В связи с общей тенденцией к архаизации некоторых языковых форм и стремлением поэта отразить „историческую колоритность“ эпического поэтического языка „Гражины“, мы находим в имен. мн. и такие устаревающие формы, как *wodze*, *męże*, т. е. по происхождению своему старые формы вин. мн. от основ на отвердевший согласный вместо форм *wodzowie*, *mężowie*, каковые мы находим, напр. в XII книге „Пана Тадеуша“.

Rzekł Dąbrowski; lud krzyknął: „Niech żyją Wodzowie!“
(строка 603)

Наоборот в „Гражине“ читаем:

1. Ale się *wodze* dziwią, że tym razem
Wojsko bez sprawy ładajako puszcza...
(строки 851—852).
2. Gdzie idę? po co? wszak wojska i *wodze*
Już zgromadzone, już wydane hasła.
(строки 785—786).
3. Sypią się *męże*, ściskają się rotы, ...
(строка 839).

Отражение древней старопольской формы мы находим и в следующем сочетании:

Inaczéj cale po dawnym zwyczaj
Litewskie niegdyś *stapały* *książęta*...
(строки 189—190).

(Из речи Рымвида). Сущ. *książę* (князь) в старопольском языке вплоть до XVIII в. являлось сущ. ср. р. и склонялось наподобие слова *zwierzę*; только позднее оно стало восприниматься как слово, имеющее значение муж.-личное. Именно эту древнюю старопольскую форму со значением ср. р. Мицкевич подчеркивает так наз. „предметными“ окончаниями в словах *litewskie* (а не *litewscy*) и *stapały* (а не *stapali*), как следовало бы ожидать в том и в другом случае. Кроме того, эту старинную форму от слова *książę* мы встречаем

в языке „Гражины“ и в других падежах, как, напр.:

Była naonczas *książęciu* zamężną ...

(строка 488),

где дана форма дат. пад. *książęciu* (вместо более новой народной *księciu* (князю), к тому же в рамке архаизированного синтаксиса. Или в форме род. пад. ед. ч., как напр.:

Przykazuję wam imieniem *książęcia* ...

(строка 778).

(вместо *księcia*) и т. д. во всех случаях. (Ср., однако, с этим *Zabójca księcia*, *Dyterich z Kniropydy*, строка 1021). И также из 8-й книги „Пана Тадеуша“ в повествовательной разговорно-быговой речи Войского:

W świecie *księcia* był książę niemiecki Denassów,

(строка 233).

В этом же рассказе та же форма и в другом падеже. Наконец даже в прозаическом языке своих „Исторических примечаний“ Мицкевич дает подлинно историческое, старинное племенное название „*Prusy*“ и в согласовании с другими словами оформляет его по-старому, т. е. с „предметными“ окончаниями, характерными для сочетания со старым вин. пад. мн. ч., а именно:

Na końcu jeszcze czternastego wieku, kiedy *Prusy* całkiem *podbite* i *uspokojone były*, mistrz krzyżacki Konrad von Wallenrod, zagmięwany na biskupa kumerlandzkiego, kazał wszystkim chłopom z jego dyceezji prawie ręce poucinać;

(„Przyp. histor.“ к строке 40),

где *Prusy* выступают вместо *Prusaki* или *Prusacy*. Употреблением слова *Prusy* в данном контексте Мицкевич подчеркивал как бы историческую древность описываемого события; этот пересказ носил характер своего рода цитации, как бы взятой у историков старого времени. Когда же поэт в последующих примечаниях говорил от своего имени, то он употреблял уже слово *Prusacy*, *Litwini* (с муж.-личным окончанием), как это мы видели, напр., в след. контексте:

„Nie dziw więc, że *Prusacy* i *pobratymcy* ich *Litwini* czuli wieczną ku Niemcom nienawiść, która stała się wrodzoną prawie ich charakterowi ...“

(„Przyp. histor.“ к строке 43)

Такова общая картина употребления в поэтическом языке „Гражины“ муж.-личных и так наз. „предметных“ окончаний в имен. мн. от слов 1-го склонения, принадлежащих к категории лиц мужского пола. Подводя итог сказанному,

можно было бы спросить самого себя: отклонением от общепринятой литературной формы и употреблением старого вин. пад. мн. ч. в функции имен. мн., и именно там, где следовало бы ожидать муж.-личную форму, не стремился ли поэт найти для себя облегчение в деле рифмования и ритмизации стиха? Однако такой вопрос снижал бы ценность поэтического творчества, обладателем которого являлся Мицкевич, и превращал бы в пустую, чисто-формальную игру ту основную задачу сознательного построения поэтического языка, какую ставил для себя поэт, создавая эпический стиль исторической национальной поэмы.

Мы видели из приведенных примеров, что кроме грамматических, морфологических и синтаксических функций в данном случае, т. е. при отклонении от общепринятой литературной нормы, поэт преследовал и смысловую сторону данного явления, т. е. стилистическую функцию языка. Что это именно так, а не иначе, можно подтвердить примерами и из другого, более позднего, произведения Мицкевича. Так в „Пане Тадеуше“ мы читаем:

Dalój, zaś, jak *Podwładni szlachetni wassale*
Mieszkają *Dziki, Wilki i Łosie rogale.*

Nad głowami *Sokoły i Orłowie dzicy.*
*Żyjący z pańskich stołów, dworscy zauszniczy . . .*¹

где звери — вассалы т. е. *podwładni szlachetni wassale* оформлены муж.-личным окончанием. Далее идет перечисление зверей, как то: *Dziki, Wilki, Łosie, Sokoły*, которые оформлены, как и полагается названиям зверей, „предметным“ окончанием. Только *Orłowie dzicy* получают снова муж.-личное окончание и, наконец, все эти названия животных обобщаются в словах: *dworscy zauszniczy* (льстивые царедворцы), где мы имеем оформление муж.-личное. Ясно, что Мицкевич, вставляя среди обычной нормы „предметных“ окончаний, название зверей с муж.-личным окончанием в придавая этим зверям человеческие черты, свойственные придворным, преследовал прежде всего цель стилистическую, т. е. путем введения муж.-личного окончания, хотя бы даже для одного представителя из числа животного царства, а именно: орла — птицы, в противоположность медному орлу на касках — очеловечить данных зверей, выходя из обычной нормы и вкладывая тем самым как бы новое содержание в старое понятие, понятие необходимое для придания величественности описательной картины дремучих, таинственных лесов Литовско-Белорусского края.

¹ A. d. Mickiewicz. Pan Tadeusz. Opracował Stan. Pigoń. „Bibl. Narod. Serja I. № 83. Kraków, 1929. стр. 200. Księga IV, строки 520—528.

В первой редакции-копии это место звучало:

„Blisko nich, lecz żyjący nie tak okazale
 „Wilcy, ich ministrowie, dziki, ich wasalle,
 „A nad nimi latają jakby *zausznicy*
 „Sępy i orły, gromów i burz posłanicy.

(строки 15—18).

Во второй редакции-копии тот же текст звучит несколько иначе, но уже ближе к законченному тексту:

„Okolo nich na drzewach gnić żdzi się ryś bysiry
 „Iżarłoczny rosomak jakby ich *czu, n. ministru,*
 „Dalej zaś jak *podwładne, potrzebne wasalle*
 „Mieszkają dziki, wilki i losie *rogale*
 „Nad głowami *sokoły i orłowie dzicy,*
 „Żyjący z łaski Państwa *dworscy zausznicy.*

(строки 45—50).¹

Однако во всех случаях муж.-личное оформление для названия животных вводится в строй предметных оформлений. И в данном случае *orłowie dzicy* у Мицкевича вовсе не идентичны по содержанию и по форме с уподоблением таких же слов из состава животных, с обычным для старого окончанием имен. мн., как *psi, koziełkowie, wołowie* и те же *orłowie*, у старых писателей, как, напр., у Самуэля Твардовского:

A *psi* żadni i *k-ucy*, tak sprosną się strawą
 Brzydcąc, dojąd nie *dotkli* ścierwu pamięci Jego,²

где дано правильное окончание, вместо более позднего „*psy żadne i kruki...dotkli*“.

Или у Симона Шимановича:

Tu lasy, tu po lesiech *ptaszkwie* śpiewają; ...³

вместо более позднего *ptaszki* [от *ptaszek*].

Другой случай со словом *chłor*. В том же „Пане Тадеуше“ мы читаем:

... Na stołkach dokoła
 Siedziały *chłopy, chłopki*, tudzież szlachta drobna,
 Wszyscy rzędem; ...⁴

¹ Ad. Mickiewicz. Там же, стр. 579, 580—581.

² Samuel Twardowski, Nadobna Paskwalina. Там же, стр. 90. Punkt II, строки 672—673.

³ Szymon Simonides. Sielanka pierwsza: Daphnis. Sielanka polska XVII wieku. Opracował Al. Brückner. „Bibl. Narod., Serja I, № 48, Kraków. 1922, стр. 24, строка 47.

⁴ Ad. Mickiewicz. „Pan Tadeusz“. Księga IV, Там же, стр. 181. строки 216—218.

Данным оформлением слов *chłoru*, *chłorka* поэт создает колорит простого деревенского стиля в описании картины пестрого населения сельской корчмы. В этом случае играет роль не факт какого-либо пренебрежительного отношения со стороны автора к „хлопам“, как это звучало в словах Агатки у Заблоцкого (XVIII век), а в желаний разговорно-просторечным языком нарисовать соответствующую картину. Здесь и мужики и деревенские бабы, здесь и мелкая уездная шляхта. И поэтому не случайно поэт в обобщающем слове *wszyscy* (т. е. все по порядку) дает именно муж.-личное окончание, показывая тем самым почтительное отношение к тем и другим. Другое дело, когда мы читаем произведение неизвестного поэта-шляхтича XV в., обращенное к крестьянам, как, напр.:

*Kłamacie chłopi, jako psi, byście tacy byli:
Nie stoicie wszyscy za jeden palec jego!
Mnimaliście, chłopi, by tego nie pomszczono?
Już-ci ich sześć sieczono; jeszcze na tem mało!*¹

Здесь явно выражено не только пренебрежительное, презрительное отношение к хлопам, но классово-враждебное чувство со стороны шляхты. И несмотря на это, мы имеем оформление повсюду *chłopi* как и *psi*, т. е., казалось бы современную, вежливую форму обращения. Но в этот период, нельзя было бы и ожидать другого оформления, т. е. муж.-личное окончание не могло тогда еще осознаваться, а поэтому эта форма и не могла быть использована в стилистическом плане. Это была обычная для того времени форма старого имен. пад. мн. ч. на *i* для названия людей и животных. Таким образом, в этот старо-польский период какое-либо социальное отношение одного субъекта к другому не могло быть выражено путем формально грамматическим. Но когда мы снова обращаемся к эпохе Мицкевича, то мы находим в этом отношении совершенно другую картину. Ведь совершенно иное смысловое звучание получает эта же форма в словах Тадеуша (из XII книги), обращенных к Зосе и проникнутых гуманным настроением, ибо дело идет об освобождении крестьян.

*„Ci chłopi są nie moi, lecz twoi poddani,
Nie śmiałbym ich urządzić bez woli ich pani.
(строки 491—492)*

Социальное разграничение слова, выраженное путем различных оформлений этого слова, красноречиво свидетель-

¹ *Pieśń o zamordowaniu Jędrzeja Tęczyńskiego. Średniowieczna poezja polska świecka. Opracował Stefan Vrtel-Wiecznyński. Bibl. Narod., Serja I, № 60, Kraków, 1923, стр. 110, строки 16—19.*

ствуем такой чисто официальный документ, как проект анкеты из „Географического описания местности“, составленной филематическим обществом от 17 июня 1821 г. В этой анкете даются указания на должностные занятия по социальным признакам. Так, в графе *шляхта* мы имеем среди других напр., такое название: *oficjalisci pici obojej* (с муж.-личным оформлением), в графе *мещане*—*sludzy pici obojej* (с муж.-личным окончанием) и наконец, в графе *крестьяне* *ogrodnicy* (с муж.-личным окончанием) и *slugi pici obojej* (с предметным окончанием).¹ Такое различие в грамматических оформлениях безусловно вносит различные оттенки в значение этого слова. Ясно, что между *sludzy* и *slugi* имеется такой оттенок различия. По тогдашнему мировоззрению одно дело — господские слуги из мещан, другое дело простые слуги из крестьян. Ср. обычную повествовательную речь автора в „Пане Тадеуше“ (о слугах при дворе пана Судьи — о лакеях):

Sludzy nie wyszli witać, ale nie myśl wcale,

Aby w domu Sędziego służono niedbale;

Sludzy czekają, nim się pan Wojski ublerze . . .

(Кн. I, строки 148—150).

Все эти собранные мною факты и наблюдения подтверждаются следующим высказыванием Яна Лоса: „Не только слова, но и грамматические формы мы подбираем соответственно чувству и настроению, вызванному в нас предметом, о котором мы говорим; мы сразу отгадываем, какими чувствами исполнен тот, кто вместо обычных форм имен. пад. мн. ч. *Prusacy, chłopię* употребляет формы менее привычные, с которыми связано чувство отвращения, нерасположения, презрения или пренебрежения: *Prusaki, chłopię*; бывает и так однако же, что известная форма, менее употребительная, приобретает характер значения отрицательного или положительного в отношении к косвенным объектам; иное настроение вызывает выражение: *przyszły tu jakiś chłopię* (т. е. „пришли здесь какие-то мужики“ — с оттенком презрения, т. е. отрицательным), и другое настроение в стих. М. Конопницкой: . . . *A najdzielniej biją króle, a najęśniej giną chłopię* (т. е. „А отважнее всего бьют короли, а чаще всего гибнут мужики“ с оттенком положительным).² В этом стихотворении, приведенном Яном Лосом, имеется с одной стороны оттенок иронии, с другой резкое противопоставление судьбы королей судьбе крестьян, т. е.

¹ „Towarzystwo Filomatów“. Wybór tekstów, wstęp i objaśnienia prof. Aleksandra Łuckiego. Bibl. Narod., Serja I, № 77. Kraków, 1924, стр. 295.

² Jan Łos, там же, стр. 273.

социальное разграничение здесь выражено формою презрения не самого автора к крестьянам, а наоборот, презрение выдвинутых автором королей к крестьянам. Это отрицательное со стороны королей и сочувственное со стороны автора отношение и подтверждено именно формой *chłopu* а не *chłopi*.¹

Данные примеры из поэтического языка „Гражины“ показали нам, что, отражая современное состояние развития польского литературного языка, Мицкевич всё же стремился в некоторых случаях к архаизированию языкового стиля в целях придания известной „исторической колоритности“ образу посредством словесного выражения: Ср., напр., у Мицкевича и в другом его произведении „*Księgi pielgrzymstwa polskiego*“ такое выражение:

*Ale wilcy wpaśli często na pole ich, i czynili szkodę*²

Здесь старо-польская форма *wilcy* (т. е. волки) олицетворяет как бы путем символизации государственный деспотизм в Англии и вправляется в рамку библейского стиля. Старо-польская форма помогает ярче оттенить именно это значение, вложить в него именно этот смысл.

Наконец, употребление той или другой формы для одних и тех же случаев в языке „Гражины“ показывало, что обе эти формы были закономерны и правомерны в тогдашнем литературном языке, в особенности для энической поэтической речи. Здесь имел место и такой распространенный факт, как нарушение согласования, смещение муж.-личных форм с „предметными“. Однако, если мы видели у Красицкого факт такого нарушения правильного согласования муж.-личных форм, то в языке Мицкевича это явление уже носило некоторый иной оттенок. Так, напр., в „Пане Тадеуше“ мы читаем:

*Słyszają. Jeden pies wrzasnął, potem dwa, dwadzieście,
Wszystkie razem ogary rozpierzchnioną zgrają,
Doławiają się, wrzeszczą, wpadli na trop, grają...*³

и в другом месте:

... а Wojski tymczasem ...
*Oderznął skórki i rzekł: „Dziś równą odprawę
Wzema pleski, bo równą pozyskali sławę...”*⁴

¹ Ср. стих. М. Конопницкой: „*A jak poszedł król na wojnę*“. Весьма ценные в этом отношении наблюдения сделаны П. Хмелевским в его книге: *Stylistyka polska wraz z nauką kompozycji pisarskiej*. Warszawa 1903.

² Ad. Mickiewicz. *Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego*. Там же, стр. 96.

³ Ad. Mickiewicz. *Pan Tadeusz*. Там же, стр. 203 *Księga IV*, строки 591—593.

⁴ Ad. Mickiewicz. *Pan Tadeusz*. Там же, стр. 464. *Księga XI*, строки 511—514.

В этих явлениях мы имеем уже факт диалектологического влияния на литературную речь. Так, в первом примере сказывается в речи самого автора значительный налет местного провинциализма, на что указал Стан. Пигонь в примечаниях к „Пану Тадеушу“.¹

Во втором примере, в речи Войского вводится автором сознательно стиль разговорно-бытовой народной речи. Ян Лось указывает, что когда уже форма вин. явилась нормою для функции имен неличных сущ. мы часто встречаем в форме муж.-личной согласованное слово с сущ., одинаково как и муж.-неличным, точно так же и женским или средним, напр.: „*dzieci zwykli koziełki przewracać*“ (Mączyński); „*tanecznice [ot tanecznic] roztargali Pontego*“ (Petrycy)... а в особенности в „Новых Афинах“ ксендза Хмелевского: „*psu szczekać nie umieli*“. Здесь, — добавляет Лось, — точно так же, как у Петрица и наверняка у Ожеховского, результат влияния украинского языка (ruskiego). (С другой стороны, бывает также форма муж.-личная в подлежащем и предметная в сказуемом, напр., в Новых Афинах „*psi nie tykały*“; „*są to noż ptacy*“; или в „Пане Тадеуше“: „*zeszły strzelcy rozstawione*“).²

Такое нарушенное согласование муж.-личной формы с предметной являлось для Мицкевича фактом отражения народной речи в его языке, что особенно ярко проявилось в „Пане Тадеуше“ и до некоторой степени и в „Гражине“. Однако ведущей линией в языке всё же оставалась выделявшаяся и победившая еще в XVIII в. форма с муж.-личными окончаниями, которую Мицкевич и употреблял как основную в большинстве случаев в языке „Гражины“. Вторая же „предметная“ форма служила для него, главным образом, моментом стилизации поэтического языка „Гражины“ и выражала собою различные отношения со стороны героев друг к другу или самого говорящего к кому-либо, как это нам удалось показать при распределении примеров на 3 группы отношений, связанных вообще с этой формой в понимании современного Мицкевичу языка. В этом отношении любопытно привести высказывания, с одной стороны, польского критика — современника Мицкевича — Ф. С. Дмоховского от 1825—1826 гг. и с другой — русского ученого, также современника Мицкевича — П. П. Дубровского, первого автора монографической работы о Мицкевиче, изданной в России в 1858—1859 гг., давшего очень меткую характеристику языку и стилю „Гражины“.

¹ Ad. Mickiewicz. Pan Tadeusz, Там же, прим., стр. 203.

- J. Łoś, Там же, стр. 329—330

„Литовская повесть Гражина, — пишет Дмоховский, — исполнена поэтических картин. Некоторые критики упрекали поэта, что Гражина написана суровым слогом; но в защиту автора надобно вспомнить, что он умеет сообразоваться в слог с предметом сочинения и начертывая происшествие, бывшее среди воинственного и дикого литовского народа, он не мог украшать его тою роскошью слога, которою отличаются его баллады и романсы“.¹ „Эта повесть, — говорит П. П. Дубровский, — совершенно переносит нас в тот век, в котором происходит ее действие. Мицкевич придал ей строгий и мрачный колорит; самый стих его отличается твердостью и резкостью; в нем даже часто восстанавливаются старинные обороты речи, придающие столько прелести его поэтическим формам“.²

Таким образом, на этом маленьком материале, только на одном эпизоде из языковой жизни Мицкевича и на одном его раннем эпическом произведении, я думаю, нам удалось обосновать, насколько молодой Мицкевич в этот период виленско-ковенского творчества уже являлся сознательным строителем нового поэтического языка. Храня лучшие традиции таких крупнейших стилистов XVIII в., как Игн. Красицкий и Стан. Трембецкий, он являлся не только их продолжателем, но и преобразователем языка, тонким стилистом, вносившим новые элементы языкового творчества в систему литературного языка, замечательным мастером художественного слова. И поэтому не случайно, именно, в этот период (1822 г.), когда создавалась и „Гражина“, он впервые так ярко изложил свое отношение к этому языковому творчеству в статье, посвященной разбору „Совьювки“ Трембецкого в следующих словах: „Талант и язык древних классиков, талант и родной язык Зигмунтовской эпохи (XVI-й в.), основательное познание истории, литературы и других наук, вот всё, чем умел так щедро, но разумно, управлять Трембецкий, находивший неисчерпаемые сокровища в польской речи. Воскрешение незаслуженно пренебрегаемых слов, включение [в свой язык] чужеземных слов из братского [украинского] языка создание новых, нарушение синтаксиса, употребление смелых выражений и оборотов, одним словом: ему самому была свойственна произвольная, но счастливая власть над языком, которую, если кто-либо и пожелал бы приобрести насильно, не говоря уже о таланте и знании,

¹ О состоянии, духе и стремлении новейшей польской поэзии. Московский телеграф, 1826, часть X, № 16, стр. 270 (В переводе Н. Полевого).

² „Адам Мицкевич“. СПб, 1858—1859, стр. 44.

а только посредством слепого подражания, то испортил бы язык и странно проявил бы себя в этом деле, на что мы имеем многочисленные примеры... [Поэтому] необходимо для того, чтобы почувствовать эти красоты [поэзии Стан. Трембецкого] во всей силе, кроме соответствующих способностей, также знать в совершенстве и старый польский язык и даже классические языки".¹

¹ Ad. Mickiewicz. O poemacie opisowym „Zofjówka”. Wstęp. „Pisma estetyczno — krytyczne”. Opracował Henryk Życzynski „Bibl. Narod”, Serja I, № 79, Kraków, 1924. стр 73—74.

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ПОССЕССИВНОГО
ПЕРФЕКТА

Доц. Ю. С. Маслов

Среди ряда грамматических особенностей, общих всем романским и германским языкам, одной из наиболее характерных является образование некоторых глагольных времен путем сочетания причастия (так наз. *participium perfecti*)¹ со вспомогательным глаголом „иметь“. При постановке вспомогательного глагола в прошедшем и будущем времени эти сочетания имеют, как известно, значение так наз. относительных времен предшества — преждепрошедшего (*plus-que-parfait* и *passé antérieur* французского, *Past Perfect* английского, *Plusquamperfekt* немецкого языка и т. д.) и предварительного будущего (соответственно *futur antérieur*, *Future Perfect*, *Futurum II* и т. д.). При постановке вспомогательного глагола в форме настоящего времени значение сочетания колеблется между двумя полюсами — значением перфекта, в котором прошлое действие рассматривается в его связях с настоящим моментом, и значением „чистого“ прошедшего времени, в котором идея прошедшего не осложнена никакими добавочными моментами. Первое значение, генетически более старое, яснее выступает, например, в английском *I have taken*², второе, исторически позднейшее, — во французском *j'ai pris*. Соответственно в грамматиках это время называется то „перфектом“ (в немецком,

¹ В шведском языке в этих временах вместо причастия используется так наз. „супин“, представлявший первоначально несклоняемую форму причастия, но в ходе развития обособившийся в отдельную морфологическую категорию. Подробности см. в монографии: R. Ljunggren. *Supinum och dubbel supinum*. Uppsala universitets årsskrift, 1934, bd. 2.

² Конкретные факты, упоминаемые в пяти вводных абзацах настоящей статьи, не подтверждаются здесь ссылками на литературу, так как являются общеизвестными в грамматиках соответствующих языков.

голландском, скандинавских и других языках) или даже „perfectum praesens“ (англ. Present Perfect), то — „сложным прошедшим“ (фр. *passé composé*).¹

В одних языках (английском, шведском, испанском, португальском, румынском, а также албанском) указанные сочетания причастия с глаголом „иметь“ представляют единый для всех глаголов способ образования перечисленных сейчас глагольных времен; в других (французском, итальянском, немецком, голландском, датском, норвежском, а также новогреческом) для определенных групп глаголов вместо него используется, как известно, другой способ образования — сочетание причастия со вспомогательным глаголом „быть“: фр. *il est venu*, нем. *er ist gekommen* и т. д. Этот второй способ образования представлен в более раннюю пору (а в виде остатков и сейчас) и в тех западноевропейских языках, в которых он теперь оказался оттесненным на задний план развитием форм с глаголом „иметь“. Он довольно прост и прозрачен по своей логической структуре („он есть пришедший“ = „он пришел“). Поэтому его широко и, конечно, совершенно независимо друг от друга используют многие языки мира. Образование же перечисленных выше форм с помощью глагола „иметь“ не есть нечто само собой разумеющееся; логическая структура этого способа образования не лежит „на поверхности“, а должна быть раскрыта и объяснена исследованием.

Рядом с глагольными временами, образованными сочетанием причастия со вспомогательным глаголом „иметь“, во всех перечисленных языках стоят более или менее употребительные синтаксические обороты типа англ. *I have it done* „я имею это сделанным — у меня это сделано“. В подобных оборотах глагол „иметь“, хотя и не является глаголом „полной предикации“, все же не может рассматриваться как чисто вспомогательный; он выражает обладание объектом; причастие, играя роль „обособленного члена“ — предикативного определения, — обозначает состояние, в котором находится этот объект в данный момент, т. е., при настоящем времени глагола „иметь“, — состояние в настоящем; это состояние представляет результат предшествующего действия, субъект которого может и не совпадать с подлежащим глагола „иметь“. Так, нем. *er hat die Nase immer gebügelt* не означает, что он сам гладит свои брюки, а в таких

¹ Недостаточная четкость существующего в языках разграничения между этим временем и простым прошедшим привела также к возникновению целого ряда других, более или менее произвольных терминов, разбор которых не входит в задачи настоящей работы.

примерах как нем. *das Kind will alles erklärt haben* (=erklärt bekommen) „ребенку нужно, чтобы ему все объяснили“ (другие), англ. *I will have it done* „я хочу, чтобы это было сделано“ (кем-то другим), фр. *il eut la tête tranchée* и т. д., несовпадение двух субъектов вытекает из самого смысла предложения.

От глагольных времен, включающих внешне те же компоненты, рассматриваемые поссессивные обороты с предикативным причастием отграничиваются в каждом языке не только по значению, но и определенными формальными признаками. Так, напр., в английском это формальное различие заключается в порядке слов: предикативное причастие стоит обособленно на конце предложения, а причастие в составе сложного глагольного времени, образуя единое целое со своим вспомогательным глаголом, следует непосредственно за ним, — ср. *I have it done* и *I have done it*. В испанском, где вспомогательный глагол *haber* полностью утратил свое первоначальное значение обладания, обороты типа „я имею это сделанным“ строятся с другим глаголом — *tener*; кроме того, причастие согласуется в этих оборотах с объектом, тогда как в сложных глагольных формах употребляется неизменяемая форма причастия, — ср. *tengo escrita la carta* „имею письмо написанным“ в противоположность *he escrito la carta* „написал письмо“. Различие согласуемой и несогласуемой формы причастия, наряду с различием в последовательности элементов, используется и в ряде других языков, — ср. датск. *han vil have dem straffede* „он хочет иметь их наказанными — знать, что они наказаны“, в противоположность *han har straffet dem* „он наказал их“, фр. *j'ai une lettre écrite* в противоположность *j'ai écrit une lettre*. В немецком формальная разница двух рассматриваемых типов состоит лишь в ударении: *ich habe den Brief geschrieben* с так наз. „главным ударением“ на причастии означает „у меня письмо написано“, тогда как в сложном глагольном времени, где причастие является несамостоятельной частью целого, оно несет лишь более слабое, так наз. „побочное ударение“.

Итак, при значительном разнообразии конкретных деталей, мы наблюдаем во всех перечисленных языках, в общем аналогичную картину: мы видим в них два параллельных, несомненно связанных генетически, хотя качественно и отличных образования, — с одной стороны поссессивную конструкцию с предикативным причастием, выражающую обладание объектом в его определенном состоянии, с другой — серию сложных глагольных времен, тоже „поссессивных“, но только не по содержанию, а лишь по внешней форме. Задача исследователя и заключается в том,

чтобы, выяснив конкретную историческую взаимосвязь этих двух образований, раскрыть поссесивную внешнюю форму перфекта и однотипных ему сложных времен как их „внутреннюю форму“, т. е. как закономерную, обусловленную определенной стадией развития, структуру языкового выражения данных грамматических понятий.

Как же подходила лингвистическая наука к разрешению этой задачи?

Надо сказать, что в выяснении генетического вопроса успехи западноевропейской буржуазной науки были крайне невелики. Правда, еще Потт обратил внимание на поссесивное представление, лежащее в основе интересующих нас образований, и отметил, что использование для обозначения перфекта разных оборотов, выражающих обладание, встречается и в некоторых неиндоевропейских языках. Он писал: „Действие, особенно, когда оно завершено, как это имеет место в перфекте, вполне хорошо может быть представлено в образе собственности, приобретенной действующим лицом и ему принадлежащей“. ¹ Эта трактовка внутренней формы перфекта не была, однако, развита Поттом в конкретно-исторической перспективе хотя бы одного из привлеченных им языков и осталась поэтому общим местом. Последующие буржуазные ученые, занимавшиеся западноевропейским перфектом, пошли назад даже по сравнению с очень скромными, как мы видим, достижениями Потта. Они не попытались на основании сходства внутренней формы продолжать типологические сопоставления между морфологически расходящимися образованиями генетически несвязанных языков. Исследование генезиса поссесивного перфекта замкнулось в рамки романо-германского материала, еще уже — оно основывалось на показаниях памятников латинской и древневерхненемецкой письменности. ² В соответствии с этими показаниями была выработана следующая схема развития:

Исходную точку эволюции составили обороты вроде лат. *pavem paratam habeo (teneo)* „имею корабль приготовленным, держу корабль наготове“, др.-в.-нем. *ih haben (wir eigum)*

¹ A. F. Pott. *Verschiedene Bezeichnung des Perfects in einigen Sprachen und Lautsymbolik*. Zeitschr. f. Völkerpsychologie u. Sprachwissenschaft, Bd. 15 (1884) стр. 231—242.

² Ср. следующие работы: Ph. Thielmann. *Habere mit dem Part. Perf. Passivi Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik*, II, Leipzig, 1885, стр. 372 сл. 5-9 сл. — O. Behaghel. *Ich habe geschlafen*. Zeitschr. für deutsche Philologie, 32 (1901), стр. 64 сл. — H. Paul. *Die Umschreibung des Perfekts im Deutschen mit haben und sein*. Abhandl. d. I. (philologisch-philologischen) Classe d. Bayer. Akademie der Wissenschaften, XXII. Bd., I. Abt., München, 1905, стр. 159 сл.

из *funtan* „я имею (мы имеем) это найденным“, — обороты семантически тождественные разобранным выше современным посессивным оборотам с предикативным причастием. Когда субъект действия, создавшего состояние, выраженное причастием, не совпадал с подлежащим предложения, никакого развития в сторону глагольного времени, естественно, быть не могло, — ср. однотипное современному фр. *il eut la tête tranchée* предложение Плавта *per iocum.. dictum habeto quae nos tibi respondimus* (Thielmann, стр. 511) „имей сказанным (=получай) в виде шутки, что мы тебе говорим в ответ“. Однако всюду, где подлежащее предложения оказывалось тождественным субъекту действия в прошлом, возможность переосмысления всего оборота была налицо: из выражения состояния объекта в момент обладания им наше сочетание легко могло превратиться — и действительно превращалось — в выражение действия субъекта в период, предшествующий обладанию; причастие из обособленного члена, предикатируемого объекту, превращалось в носителя глагольного предиката, выразителя действия подлежащего; значение обладания, держания бледнело и утрачивалось, и глагол „иметь“ превращался во вспомогательный; объект превращался из объекта обладания в объект действия. Так, вместо „имею корабль приготовленным“, „имею это найденным“, получилось „я приготовил корабль“, „я нашел это“, где „приготовил“, „нашел“ выражается сложной глагольной формой — формой „описательного перфекта“, начавшего конкурировать со старым простым перфектом в латыни и со старым простым претеритом в германских языках. Затем вновь возникшая форма распространилась „по аналогии“ за пределы своей первоначальной области, охватывая все новые и новые глаголы; объект перестал быть необходимым элементом сочетания; наконец совершился последний шаг — перенесение нашего способа образования и в область непереходных глаголов: возник тип **habeo venutum*, **habeo dormitum* (уже не засвидетельствованный в латыни), *ich habe geschlafen* и т. д. В составе этого сложного грамматического целого — посессивного непереходного перфекта — впервые оформились пассивные по форме причастия от непереходных глаголов (**dormitum*, *geschlafen* и т. д.), — причастия, созданные *ad hoc*, нигде за пределами сложных глагольных времен не используемые и тем резко отличающиеся от всех остальных причастий каждого данного языка.¹

¹ Кстати, в научной литературе, разбирающей вопросы происхождения посессивного перфекта, не было обращено внимание на то, что в ш е д-

Такова в общих чертах концепция происхождения поссесивного перфекта, ставшая традиционной в буржуазной романо-германистике. Существо ее сводится, как видим, к тому, что из двух типов, бытующих в современном языке (условно I have it done и I have done it), один рассматривается как дериват другого: I have it done > I have done it. Ее объективную базу составляют, как отмечено, данные латинской и древневерхненемецкой письменности, которые для наглядности можно представить в следующей таблице:

Ступени развития поссесивных образований	Время появления в письменности	
	в латыни	в древневерхненемецком
1. Поссесивные сочетания с предикативным причастием (значение состояния в настоящем)	С начала письменности.	С начала письменности.
2. Поссесивный „описательный перфект“ от переходных глаголов.	В широких масштабах — в галльской латыни VI в.	У Отфрида (сер. IX в.).
3. То же с пропуском объекта.	В памятниках Каролингской эпохи.	
4. Поссесивный „описательный перфект“ от непереходных глаголов.	Не засвидетельствован (но в романских языках наличествует с начала письменности).	
		Впервые у Ноткера (X в.). Затем опять отсутствует (и вновь появляется в средневерхненемецком).

Что касается всех остальных германских и всех романских языков, то их факты либо не могут подтвердить изложенную концепцию, либо даже, как сейчас увидим, находятся с нею в противоречии.

Так, все романские языки по существу заранее исключаются при рассмотрении генетического вопроса, так как, обнаруживая уже в первых своих памятниках формы поссес-

ском языке, как в языке, в котором причастие в составе сложного глагольного времени обособилось морфологически от причастия в атрибутивной и предикативной функции (см. примеч. 1 на стр. 76), своеобразное положение „псевдопричастий“ типа *dormitum выступает совершенно отчетливо: глаголы leva „жить“, ligga „лежать“, rasta „отдыхать“, sitta „сидеть“, sova „спать“ и подобные им образуют здесь только так наз. „супин“, т. е. причастие в составе сложного глагольного времени (ср. jag har levat, legat, rastat, suttit, sovit), а формы собственно-причастия *levad, *legad, *rastad, *sutten, *soven и т. д. вообще не существуют в языке.

сивного перфекта и плюсквамперфекта от непереходных глаголов, не дают возможности проверить, каков был предшествующий ход развития. Из германских языков один готский IV в., показывая отсутствие второй, третьей и четвертой ступени, косвенно как будто подтверждает правильность схемы; зато ближайшие соседи и современники древневерхненемецкого — древнесаксонский и древнеанглийский, так же как и наиболее архаичный в синтаксическом отношении древнеисландский язык, — обнаруживают, как сейчас увидим, совершенно иную картину, чем памятники древневерхненемецкой письменности. Сочетания причастия с глаголом „иметь“ представлены во всех этих языках чрезвычайно широко уже в самых ранних памятниках, причем, как правило, эти сочетания уже не выражают обладания объектом. Это неопровержимо доказывается как всем контекстом в каждом данном случае, так и определенными внешними критериями, например, появлением неличного подлежащего конструкции, исключающего поссесивное осмысление оборота. Ср. в древнесаксонском „Гелианде“:¹ *habad unk eldî binoman ellean-dâdi*, (151) „старость отняла у нас силу“, но, конечно, не „старость имеет силу в состоянии отнятости у нас“; *sagda ... that sie habda giðkana thes alo-waldon kraft* (294) „сказала, что ее увеличила (= сделала беременной) сила всемогущего“, но не „сила всемогущего имела ее в состоянии увеличенности“; в древнеисландской „Эдде“:² *Hofomk miklo gloepir meirre sóttan* (*Helgakvitha Hjórvarthssonar*, 32) „много больший порок меня посетил“. Для древнеанглийского установлено³, что там уже с самого начала письменности глагол „иметь“ широко сочетается в интересующей нас конструкции как с объектами, допускающими мысль об обладании ими со стороны подлежащего, так и с объектами, не допускающими подобной мысли. Однако, более того: поссесивный перфект и плюсквамперфект от непереходных глаголов тоже наличествует во всех германских языках, кроме готского и древневерхненемецкого, уже с самого начала письменной традиции — т. е. так же, как и во всех романских языках. Так „Гелианд“ уже знает перфекты и плюсквамперфекты от непереходных глаголов *gigangan* „пойти“, *gifâhan* „взять чью-либо

¹ Цитирую по изданию: М. Нейне. *Heliand nebst den Bruchstücken der altsächsischen Genesis*, 4. Aufl., Paderborn, 1905.

² Цитирую по изданию: *Die Lieder der Edda*, herausgegeben von B. Sijmons und H. Gering. Halle a. S., 1883.

³ G. Hoffmann. *Die Entwicklung des umschriebenen Perfekts im Altenglischen und Frühmittelenglischen*. Diss. Breslau, Ohlau i. Schl., 1934.

сторону, стать приверженцем“, *farwerkðn* „согрешить“ и от некоторых других, а еще более ранние древнеанглийские памятники „Старший Генезис“ и „Беовульф“ образуют формы с *habban* от глаголов *tosomne faran* „съехаться“, *to gaedre gaþ* „сойтись“, *to symble sitten* „сесть за стол“, *forsidian* „умереть“ и т. д.¹ В „Эдде“ тоже встречается непереходный перфект с *hafa*, напр.: *Hofomk hjorr komet hjarta et naesta* (Helgakvitha Hjorvarthssonar, 40) „меч мне пришел(ся) под самое сердце“.

Таково первое несоответствие между традиционной схемой и языковым материалом. Но наличием этого несоответствия далеко не исчерпываются недостатки и слабости общепринятой в буржуазной науке концепции.

Вторым важным ее недостатком является то, что в ней по существу не схвачено качественное развитие перфекта и однотипных форм от вида — к времени. Только в советской романо-германистике было сформулировано такое понимание эволюции перфекта, — применительно к немецкому перфекту проф. В. М. Жирмунским и доц. Л. Р. Зиндером, применительно к французскому — доц. Е. А. Реферовской.² Что же касается буржуазных ученых запада, то они ограничивались описанием отдельных „синтаксических сдвигов“, образующих звенья процесса, не давая принципиальной формулировки существа описываемого ими хода развития, как развития определенной видовой категории в категорию временную. Отсутствие подобной формулировки говорит о том, что отсутствовало ясное сознание общего направления процесса; а это не могло не сказаться и на конкретных выводах исследования: многие моменты получили совершенно неверное толкование, а другие, весьма важные, остались попросту незамеченными.

Незамеченной осталась такая черта, как невозможность в древнем языке possessивного перфекта от курсивных³ глаголов. Дело в том, что не только такие непереходные глаголы как „спать“, „плакать“ и т. п.

¹ Там же, стр. 35.

² См. В. М. Жирмунский. Развитие строя немецкого языка. М.—Л., 1936, стр. 41—42; История немецкого языка, изд. 3-е, М. 1948, стр. 254—256; Л. Зиндер. Образование прошедшего времени. Вопросы немецкой грамматики в историческом освещении (Сборник статей под ред. проф. В. М. Жирмунского). М.—Л., 1935, стр. 77—95.

³ В отношении своей видовой семантики глаголы германских языков могут быть разделены на две больших группы, — курсивные или глаголы „беспредельного протекания“ и трансгрессивные или глаголы „перехода к чему-то новому“. Курсивные глаголы, как правило, соответствуют при переводе на русский язык непарным глаголам несоверш.

не образуют первоначально перфекта, но и переходные курсивные глаголы „иметь“, „любить“, „ненавидеть“, несмотря на свою переходность, ни разу не засвидетельствованы в перфекте ни в готском, ни в древнесаксонском, а глагол „держать“ (др.-сакс. *haldan*, др.-в.-нем. *haltan*), если и встречается в конструкции *ich habe gehalten*, внешне совпадающей с поссессивным перфектом, то лишь в значении настоящего времени „*ich halte*“. Ср. еще у Ноткера:¹ *Jâ uuaz ist daz mir in himele ist gehalten uuer mag daz kesagen? Inmortales diuitias habest du mir dar gehalten.* (II, 292, 5) „что же есть (букв. держится) для меня на небе, кто может это сказать? Бессмертные богатства ты для меня там держишь“ (в латинском тексте настоящее: *Quid enim mihi est in celo*); ср. также в „Гелианде“: *Than faran wi thâr alla tuo, /...endi that hrên kurni lesan/ sûbro tesamne endi It an mînan seli duoian/ hebbean it thâr gihaldan, that It hwergin ni mugi/ wiht awerdian* (2571) „тогда мы отправимся все туда, соберем пшеницу аккуратно вместе и поместим ее в мой амбар, будем держать (хранить, иметь сохраняемую) ее там, чтобы ее нигде не могло ничто попортить“. Сходную картину находим и в английском, где, например, глагол „иметь“ не встречается в форме перфекта на протяжении всего древнеанглийского периода и *ic habbe îhaued* „I have had“ засвидетельствовано впервые лишь у Лайамона, в раннем среднеанглийском, в начале XIII в.² Как показывает Е. А. Реферовская для старофранцузского, поссессивный перфект от курсивных глаголов в первое время был невозможен и в романских языках.³

вида или производным от них глаголам соверш. вида со значением „окончательности“ (ср. Ю. С. Маслов. Вид и лексическое значение глагола в современном русском литературном языке. Известия Академии Наук СССР, Отделение литературы и языка, 1948 г., № 4), трансперсисивные могут, в зависимости от контекста, передаваться при переводе на русский язык и соверш. и несоверш. видом. Немецкие ученые в своей большей части придерживаются другого, неправильного взгляда на видовые категории германского глагола: они говорят и для германских языков о совершенном (*perfectivum*) и несовершенном (*imperfectivum*) виде, смазывая тем самым глубокие качественные различия, существующие в этой области между славянскими и германскими языками.

¹ Цитирую по изданию: *Die Schriften Notkers und seiner Schule*, herausg. v. P. Piper, Bd. I—III, 1882—83.

² Hoffmann, стр. 41. Характерно, что, подметив этот факт, Гофман однако оказался неспособным притти к общему тезису о невозможности курсивного перфекта в древнем языке независимо от переходности или непереходности глагола и не попытался проследить, как обстоит дело в английском с другими переходными глаголами, аналогичными *habban* по своей видовой семантике.

³ В старофранцузском наличие конструкции с причастием „имперфективного“, т. е. курсивного глагола „возможно лишь либо

Если будем рассматривать перфект древнего языка как определенный вид глагольного действия, все эти факты станут совершенно понятными и естественными: вид, в отличие от времени, представляет собой грамматическую категорию, тесно связанную с лексическим значением глагола; отсюда принципиальная дефективность видовых категорий, принципиальная неспособность каждой данной видовой категории охватить всю глагольную лексику, принципиальная неизбежность наличия таких групп глаголов, от которых формы данного вида не могут быть образованы в силу самой семантики этих глаголов. Ясно, что перфект древнего языка, как видовая форма, объединявшая идею состояния в настоящем и идею действия в прошлом, произведшего это состояние, — не мог быть образован от глаголов, которые обозначают действия, не оставляющие по себе никаких состояний. Ясно, что только в меру превращения перфекта в глагольное время, в меру ослабления или утраты его видового оттенка, могла быть преодолена первоначальная видовая дефективность перфекта.

Все эти процессы остались, как сказано, незамеченными в западноевропейской буржуазной науке. Поэтому и отсутствие в древнем языке перфектов типа *ich habe geschlafen* истолковывалось как следствие непереходности соответствующего глагола, хотя перфект *ich habe geschlafen* действительно был невозможен и в древнесаксонском и в древнеанглийском лишь в силу курсивного характера глагола *schlafen*, а столь же непереходный перфект с *haben* от ряда транзитивных глаголов, перечисленных выше на стр. 82—83, был здесь, как мы видели, вполне употребителен.

В этой связи нельзя не подчеркнуть еще одно несоответствие между языковым материалом и традиционными взглядами на развитие перфекта. В науке было уделено очень много сил проблеме „разграничения двух описаний перфекта“ т. е. разграничения поссесивного типа и типа „*il est venu*“, причем считалось, что, проникая в сферу непереходных глаголов, поссесивный перфект охватывает здесь прежде всего *imperfectiva*, т. е. глаголы несовершенного вида¹, а также „немутативные“ *perfectiva*, т. е. глаголы совершенного вида, обозначающие такие действия субъекта, которые не связаны с изменением его общего состояния или его

как явление более позднее и аналогическое, либо оправданное присутствием в предложении обстоятельств цели или места, ограничивающих действие и перфективирующих причастие в данном контексте“. Е. А. Реровская я. цит. тезисы, стр. 1.

¹ См. примеч. 3 на стр. 83.

местоположения в пространстве (напр. „засмеяться“, „зевнуть“, и т. д.). Между тем факты говорят иное.

Для древнеанглийского непереходного перфекта Гофман устанавливает, что „до эпохи Эльфрика (около 1000 года) в сочетании с *habban* употребляются только *perfectiva*“; однако даже те случаи из Эльфрика, которые Гофман зачисляет в рубрику „имперфективного перфекта“, в действительности относятся к трансгрессивным глаголам. Таковы перфекты от *ofer tha geodan sae faran* „переезжать (или переехать) через Красное Море“ и *syndian* „грешить“ (или „согрешить“). Лишь у Вульфстана (1023 г.) и затем в хронике 1121—1154 гг. находим первые несомненные случаи непереходного перфекта от курсивных глаголов — у Вульфстана от *wunian* „жить“, в хронике от *beon* „быть“, *standan* „стоять“ и нек. др.¹ То, что непереходные „*perfectiva*“ Гофмана, употреблявшиеся в древнеанглийском в перфекте с *habban*, вовсе не были обязательно „мутативными“, ясно видно хотя бы из того, что среди этих глаголов встречаем такие вполне „мутативные“, обозначающие перемену состояния подлежащего или его места в пространстве глаголы, как перечисленные выше *forsidian*, *to gaedre gan*, *to symble sitten*, *tosomne faran* и др. Столь же „мутативны“ и перечисленные там древнесаксонские *gigangan* „пойти“, *gifahan* „взять чью-либо сторону, стать приверженцем“, трансгрессивно, хоть может быть и „мутативно“ понимается *farwerkôn* „согрешить“. В то же время от курсивных *libbian* „жить“ и *thionon* „служить“ в „Гелианде“ встречаем по одному разу только плюсквамперфект, а в этом времени чисто темпоральное значение предшества развивается, как показывает материал Гелианда, повидимому, несколько раньше, чем в перфекте, упорнее сохраняющем свой видовой характер. Да и в верхненемецком, на материалах которого, собственно, и были выработаны вышеизложенные правила первоначальной „имперфективности“ непереходного *haben*-перфекта, Ноткер, кроме двух случаев *ih habo geweinôt* „я плакал“, еще не знает курсивных примеров, хотя несколько раз употребляет трансгрессивное *ih habo gesundôt* „я согрешил“ и „мутативно“-трансгрессивное *ih habo gefaren* с указанием начала и конца пути, например: *danne sî gefaren habeti fone erdo ze demo mînen* (I, 827, 24—26) „когда она отъехала от земли к месяцу“, или — пройденного расстояния: *Sô sie dô gefaren habetôn fone erdo ûf cenzeg unde zueinezeg unde sehs tûsent louftmalo* (I, 826, 1) „когда они отъехали от земли на 126 000 стадий“.

¹ Hoffmann, цит. соч., стр. 36.

Таким образом мы видим, что древнейшим непереходным перфектом possessivного типа был именно трансгрессивный, в том числе и „мутативный“ перфект, да в свете отмеченной выше общей невозможности курсивного перфекта в древнем языке, дело, собственно, и не могло обстоять иначе.

Далее. К числу явных недостатков теории происхождения possessivного перфекта, принятой в буржуазной науке, относится и то, что фактически эта теория сужает первоначальную possessivную семантику интересующих нас образований и безоговорочно отождествляет ее с семантикой современных possessivных оборотов типа *I have it done*. Получается, будто possessivный перфект прямо возникает из possessivного оборота, семантически точно такого же, каким он является и в современных языках. Между тем, у Плавта, т. е. в начале латинской письменности, встречаем примеры, не укладывающиеся в рамки обладания предметом, напр.: *illa omnia missa habeo, quae ante agere occepi* (Pseud. 2, 2, 8) букв. „все то имею оставленным, что прежде начал делать“, где само лексическое значение глагола („оставлять, бросать“) не вяжется с идеей обладания.¹

В результате суженного толкования possessivной идеи, лежащей в основе типа, идея эта вместо того чтобы быть закономерной внутренней формой перфекта, превращалась в довольно случайный, внешний, несущественный для его семантики момент. Possessivное значение и значение перфекта как глагольного времени оказывались в целом несовместимы друг другу, хотя некоторые ученые и пытались найти между ними связующее звено, говоря о „метафорическом“, „идеальном“, „внутреннем“ обладании применительно к перфектам от глаголов, обозначающих ту или иную „идеальную деятельность“, напр. „понять“ и т. п.² В целом получалось, что большинство перфектов современного языка, в частности все, в которых по тем или иным причинам исключается реальное possessivное отношение между субъектом и объектом (*J'ai perdu le livre, j'ai vendu le vin, mon chien a mordu mon voisin* и пр.), а также перфекты безобъектные (*J'ai lu*) и непереходные (*J'ai vecu, j'ai dormi*) не имели в себе самого момента своего возникновения ничего possessivного, кроме своей внешней формы и предста-

¹ Thielmann, цит. соч., стр. 535.

² Thielmann, цит. соч., стр. 509; ср. также: V. Henry. Précis de grammaire comparée de l'anglais et de l'allemand, 2^e ed, Paris, 1906, стр. 392; или: Wunderlich-Reis, Der deutsche Satzbau. 3 Aufl., I. Band, Stuttgart u. Berlin, 1924, стр. 263.

вляли чистый продукт механической „аналогии“, автоматического „обобщения“ поссесивной формы после утраты этой формой ее первоначального поссесивного значения.

Была выдвинута, правда, и противоположная точка зрения: О. Эрдманн пытался найти живую внутреннюю форму даже в непереходном поссесивном перфекте, толкуя *ich habe geschlafen, geweint* как „*ich habe etwas Geschlafenes, Geweintes an mir*“ и, ссылаясь в подтверждение своего взгляда, во-первых, на возможность пассива *es ist geschlafen, geweint worden*, — безличного пассива от непереходных глаголов, и, во-вторых, на то, что в скандинавских языках причастие имеет флексию среднего рода, которая „совершенно ясно указывает на такое происхождение“. ¹ Однако толкование Эрдманна не привилось и было даже прямо отвергнуто Бехагелем на том основании, что, мол, „ясно представить себе *etwas Geschlafenes, Geweintes* невозможно“;² современная логика, одинаково обязательная с точки зрения младограмматика Бехагеля для всех эпох в истории языка, не позволяет ему думать иначе, не позволяет усматривать какой-либо намек на поссесивное значение там, где нет и не может быть отношения обладания в смысле буржуазных представлений о собственности. В результате весь процесс развития поссесивного перфекта превращается в автоматическое следствие случайного синтаксического сдвига; он не рассматривается как закономерный, как в известном смысле необходимый.

С указанным сейчас недостатком тесно связан еще один: как уже было упомянуто выше, буржуазные ученые, разрабатывавшие традиционную схему развития западноевропейского поссесивного перфекта, совершенно игнорировали сходные явления в других, незападноевропейских языках. Правда, в последнее время, когда эта традиционная схема уже давно получила всеобщее признание в буржуазной науке, ряд ссылок на иноязычные параллели к западноевропейскому типу, напр. на перфект с глаголом обладания в иранских диалектах³ и даже в хеттском,⁴ — начинает появляться в научной литературе. Привлечение нового материала подсказывает выход за узко-морфологические рамки западноевропейского поссесивного типа

¹ O. Erdmann. *Gundzüge der deutschen Syntax*. I. Abteilung. Stuttgart, 1886, § 151.

² Behagel, цит. соч., стр. 64.

³ A. Meillet. *Sur les caractères du verbe*. Linguistique historique et linguistique générale, Paris, 1921. стр. 189.

⁴ J. Vendryes. *Sur l'emploi de l'auxiliaire „avoir“ pour marquer le passé*, Mélanges de linguistique offerts à J. van Ginneken, Paris, 1937, стр. 88.

„имею“ + причастие. Обращают внимание на то, что и в латини типу *habeo factum* исторически предшествует другой тип — *mihi factum est* „у меня сделано“ — без глагола „иметь“ и с дательным падежом действующего лица. Аналогичную последней конструкции находят в древнеперсидском и в ряде других языков (в частности армянском, некоторых кельтских), где сочетания причастия (или отглагольного прилагательного) с оборотом типа „у меня есть“ используются в качестве описательного перфекта, активного по своей залоговой характеристике.¹ Конструкцию „у меня есть“ („*es-mihi*“ или „*est apud me*“) в составе этих сочетаний Вандриес рассматривает как своеобразную разновидность вспомогательного глагола „иметь“. Несколько дальше идет Ломан,² который прямо указывает на „посессивное восприятие“, как на причину, определившую структуру армянского перфекта с его подлежащим в родительном падеже = тип „*mei est*“, и — на фоне уже совершенно другого, неиндоевропейского языкового строя — обусловившую характерную особенность оформления предложения в перфектной группе времен грузинского глагола (подлежащее в дат. на -*sa*, объект в „именительном“ на -*i*).

Надо отметить, однако, что все перечисленные сейчас сопоставления носили у буржуазных ученых очень поверхностный, по сути дела формальный характер. Никаких новых выводов для истории западноевропейского посессивного типа ни Вандриес, ни Ломан из этих сопоставлений сделать не попытались: ни одно из положений традиционной концепции не было подвергнуто пересмотру в их работах.

В тот период, когда все эти иноязычные параллели еще не привлекались к рассмотрению, ученые, писавшие о посессивном перфекте в западноевропейских языках, обычно расценивали устанавливаемую ими в ряде языков общность формы посессивного перфекта, как результат моногенезиса этой формы, как результат распространения ее из одного источника, а именно — из латыни. Для всех романских языков речь шла, таким образом, о закономерном развитии единого праязыкового материала, для германских, новогреческого и албанского — о заимствовании („калькировании“) латино-романского образца. Так, уже Гримм считал латинское влияние на германский посессивный перфект „невероятным“,³ причем основанием для такого допущения

¹ Там же, стр. 87—92.

² J. Lohmann. Ist das indogermanische Perfektum? nominalen Ursprungs? Zeitschr. f. vergl. Sprachforschung, 64 (1937), стр. 42 сл.

³ J. Grimm. Deutsche Grammatik, IV, Göttingen, 1837, стр. 155.

послужил момент отсутствия описательного перфекта в готском. Позже, и более определенно высказывался в пользу латинского влияния, напр. О. Эрдман.¹

В последние годы привлечение ряда ярких параллелей из тех языков, на которые воздействие латыни совершенно исключено, наглядно доказало факт полигенезиса possessивного перфекта. Это должно было бы, кажется, подсказать ученым мысль о возможности независимого, самостоятельного возникновения possessивного перфекта и в различных языках Западной Европы. Однако пересмотра укоренившихся взглядов не происходит. Признавая для ряда языков самостоятельное возникновение форм possessивного перфекта, буржуазные ученые продолжают трактовать западноевропейский и, в частности, германский possessивный перфект по-старому. Факт отсутствия перфекта с *haben* в Библии Вульфила попрежнему используется ими как главный и по сути единственный аргумент. Зато никого из исследователей не смущают другие факты, — ни то, что наиболее полное развитие possessивного перфекта находим именно в таких древних германских языках, которые (как древнесаксонский, древнеанглийский, древнеисландский) отстоят значительно дальше, чем древневерхненемецкий, от любых письменных или устных латино-романских влияний, ни то, что формы перфекта наиболее широко используются именно в таких памятниках народной эпической поэзии, которые во всех отношениях, в том числе и в языковом, отличаются наибольшей самостоятельностью. Вступая в противоречие с совершенно явным народным характером интересующей нас грамматической формы, Мейе утверждает, будто латинская модель *habeo id factum* была „скалькирована“ отдельными германцами, знавшими латынь,² и даже Вандриес (в той самой статье, в которой он дает свой широкий обзор иноязычных параллелей!) объясняет форму перфекта в немецком, в английском и в скандинавских языках „влиянием клириков“.³ Можно сказать, что в наше время теория латинского происхождения германского possessивного перфекта стала общим местом в зарубежной науке. Завуалированный вариант ее представляет точка зрения Бринкмана, который, в соответствии с реакционными идеями филологической школы Наумана, прямо заявил, что все аналитические времена германского глагола суть первоначально-

¹ Erdmann, цит. соч., § 150.

² A. Meillet. *Caractères généraux des langues Germaniques*, 4^{me} éd., Paris, 1930, стр. 129—130.

³ Vendryes, цит. соч., стр. 87.

достояние „образованного верхнего слоя“, что они возникли в речи этого слоя под воздействием латинской книжной культуры, и что затем они — как своего рода „gesunkenes Kulturgut“ — спустились в народные „низы“, не сумевшие даже как следует воспринять это идущее „сверху“ новшество.¹

Влияние латино-романского типа *habeo id factum* буржуазные ученые усматривают также, как сказано, в поссесивном перфекте албанского и новогреческого, хотя в греческом сочетании глагола „иметь“ с причастием засвидетельствованы уже в классический период, в частности, напр., у Софокла и даже ранее — у Гесиода.² Как видим, ни привлечение новых иноязычных параллелей, ни противоречия внутри самого западноевропейского материала не заставили зарубежную науку пересмотреть установившиеся взгляды на происхождение поссесивного перфекта.

Советские языковеды, стоящие на позициях единства глоттогонического процесса, принципиально стремятся, не ограничиваясь регистрацией изолированного языкового факта, в подлинном смысле понять его, т. е. вскрыть как общие закономерности, лежащие в основе его развития, и повторяющиеся, при всем конкретном многообразии своего проявления, из языка в язык, так и его, данного языкового факта, специфические и неповторимые, конкретно-национальные черты, связанные с особенностями строя соответствующего языка. Поэтому для советского языковеда несомненным является положение, что и для выяснения генезиса интересующей нас категории, нужно было выйти за рамки рассматриваемого типа в его западноевропейском оформлении нужно было пойти по пути привлечения таких материалов других языков, которые, обнаруживая резкое внешне-морфологическое расхождение, именно с точки зрения внутренней формы представляли бы типологическую параллель рассматриваемому обороту.

Остановимся в этом плане на разборе одного явления, наличного в русских говорах, — на конструкции типа *у меня, молодой, в доме убрано*. Сходство внутренней формы этого оборота с внутренней формой западноевропейского поссесивного перфекта было впервые отмечено еще

¹ H. Brinkmann. Sprachwandel und Sprachbewegungen in alt-hochdeutscher Zeit. Jena, 1931, стр. 22 и в других местах.

² Chantraine. Histoire du parfait grec. Paris, 1927, стр. 250—251. Вандриес, правда, допускает в связи с этим, что латынь и греческий могли здесь „взаимно влиять друг на друга“ (цит. соч., 87).

в 1852 г. Шафрановым,¹ позже на него указывал Потебня. Однако западноевропейским ученым, писавшим о перфекте, эта русская параллель осталась неизвестной; она не приводится ни у Ломана, ни в обзоре Вандриеса, хотя исследование ее несомненно могло бы пролить свет на некоторые неясные моменты в истории западноевропейского поссесивного типа.

Глубокое различие в морфологическом оформлении одной и другой конструкции резко бросается в глаза и заранее исключает возможность какого бы то ни было „влияния“ западноевропейского типа на русский или обратно. Впрочем, возможность подобного „влияния“ исключается здесь и культурно-исторически. Сходство же поссесивной внутренней формы одного и другого типа тем яснее свидетельствует о наличии известной общей семантической закономерности, проявившейся в обоих случаях особо, сообразно конкретной специфике соответствующего языка. Сходство внутренней структуры обоих типов не ограничивается серией:

У меня (есть) книга = Ich habe das Buch.

У меня книга прочитана = Ich habe das Buch gelesen, но идет дальше: „опущению объекта“ в западноевропейском (ich habe gelesen, geschrieben) соответствует в русском типе „опущение субъекта“ (*У меня убрано* в примере Шафранова). И здесь и там получаем вариант, который можно назвать „беспредметным“: отсутствует предмет обладания и действия. Однако и этого мало, — как в западноевропейском типе, так и в русском оказываются возможными поссесивные сочетания с причастиями непереходных глаголов, примеры чему видим в следующем, приводимом Шафрановым отрывке из народной песни:

У дородного добра молодца/ много было на службе послужено:/ на печи было вволю полежано/ с кнутом за свиньями похожено;/ много цветного платья поношено;/ по подоконью онучей попрошено/ и сахарного куса поедено:/ у ребят корок поотыmano;/ на добрых конях поезжено,/ на чужие дровни приседаючи./ У дородного добра молодца/ много было на службе послужено: на поварнях было посижено,/ кусков и оглодков попрошено,/ потихоньку, без спросу потаскано;/ голиками глаза повыбиты;/ ожогом плеча поранены.

¹ С. Шафранов. О видах русских глаголов в синтаксическом отношении. М. 1852, стр. 10—11.

² А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике. 2-е изд., тт. 1—II, Харьков. 1888, стр. 143.

Вполне аналогичные примеры можно найти и в диалектологических записях, произведенных уже в наши дни на территории северозападных говоров, — напр.: *Зоесь у волкоф хожано, Ф письме кланенось у них* — в записях проф. В. И. Борковского,¹ или *У них в город уехано, У них не при-выкнуто, У Катьки замуж выйдено, У йово было не выпанось, У него уж три года как женёньось, У меня ни службе побывано* и т. д. — в материалах „Диалектологического Атласа русского языка“, с которыми я имел возможность ознакомиться благодаря любезному разрешению и содействию проф. Ф. П. Филина и М. Д. Мальцева.

Во всех этих примерах мы видим причастия страд. зал. от непереходных (*послужено, полёжано, посижено, побывано* и др.) и возвратных (*кланенось, выпанось, женёньось*) глаголов, — причастия, очевидно неспособные к самостоятельному употреблению. В этом смысле приведенные примеры совершенно аналогичны таким немецким, как *ich habe gedient, gelegen, gesessen, geschlafen, geweint*, устар. *ich habe gefahren* и т. д. И в тех и в других причастие является лишь „причастием в кавычках“, „псевдопричастием“, — составной частью сложного целого, неспособной к самостоятельной жизни вне рамок данного сочетания, формой, функционально тождественной упоминавшемуся выше² так наз. „супину“ шведского языка.

Что касается семантики рассматриваемого русского типа, то в нем выражение поссесивного отношения оказалось тоже переосмысленным как выражение действия в прошедшем (соответственно преждепрошедшем) времени. Об этом убедительно говорят как уже цитированные сейчас примеры, так и следующие, которые мне удалось собрать, наблюдая речь колхозницы дер. Городцы Волотовского района Новгородской области Ф. А. Волковой (1919 г. рожд.).

1) *У меня сын еще ни разу не сфотографирован.* 2) *У вас этот шкаф недавно куплен?* 3) *Примус не у меня потушен, еще у бабушки.* 4) [*Как попал сюда этот мешок?*] — *Забыл, может быть, повешен у са́мóво* (т. е. „ты забыл, может быть ты сам повесил его сюда“). 5) *Вчера́сь у меня наволочка сложена и туда положена.* 6) *На кухне нельзя ни на минутку оставить ничего: у кошки уже стащени рыбина* (т. е. „кошка стащи́ла рыбу“). 7) *Где бобочка зеленая с вырезом* (= игрушка), *что у мамы для него купле-*

¹ Проф. В. И. Борковский. Из наблюдений над языком деревень Вольная Березна и Кирилловщина (Лычковский район) и деревни Рыкалово (Полавский район) Ленинградской области. Ученые записки Ярославского Госуд. педагогич. инст. вып. IV, Ярославль, 1944, стр. 120.

² См. примеч. на стр. 76 и 80—81.

на? 8) *Что у него тут наделано! И полотенце сбросил и книги!* 9) *Сколько у вас дано за нее?* (т. е. „сколько вы заплатили“). 10) *Я вообще красное люблю: у меня уже два платья сношено.* 11) [*Где ж стекло?*] — *А у Вовочки взято, еще вчера или позавчера* (т. е. „Вовочка взял“). 12) „Беспредметный тип“ — *У кого это на скатерти налито?* (т. е. „кто налил на скатерти?“ — обращение к ребенку).

Рассмотрим внимательнее приведенные случаи. Среди них, — даже не говоря о „беспредметном типе“, — мало таких, в которых имело бы место действительное поссесивное отношение, нахождение предмета, т. е. грамматического подлежащего предложения, во владении лица, обозначенного родительным с предлогом *у*; сочетание *у* + родительный обозначает не „обладателя“, а реального субъекта, т. е. лицо, совершившее соответствующее действие. Особенно отчетливо это видно напр. в № 3 (*не у меня, еще у бабушки*), в № 4 (*у самого*), в № 12 (*у кого?*). Ясно, что во всех этих примерах в центре стоит не столько состояние в настоящем, вытекающее из прошедшего действия, сколько само это действие и его исполнитель. Ср. также наречия *вчера* и *позавчера* в № 5 и 11. Интересны, в частности, и примеры с причастиями от глаголов, обозначающих взятие (№ 6 и 11), где значение конструкции с предлогом *у* прямо противоположно обычному значению этой конструкции при таких глаголах (*взял у меня книгу* и т. п.).

Материалы Дialeктологического Атласа подтверждают такую оценку семантики рассматриваемых сочетаний. Ср., напр., с явным подчеркиванием действующего лица: *Это не у меня, у сестры еще вышито* (т. е. „не я, а сестра вышила“ — аналогично нашему № 3); *У меня забыто, а Степанида помнит*; или — с обстоятельственными словами, подчеркивающими прошедшее время: *Фцера хожено за хлебом* (в данном случае с пропуском реального субъекта, как в литер. *вчера ходили за хлебом*); *В каком году училось-то у меня?* („в каком году я учился?“) и т. д.

Короче говоря, все приведенные случаи с „нулевой связкой“ можно определить как перфект — прошедшее время с тем или иным отношением к настоящему моменту. Такие же сочетания с прош. вр. глагола *быть* представляют собою соответственно плюсквамперфект — преждепрошедшее.

Вот несколько примеров преждепрошедшего из речи Ф. А. Волковой:

Знали все, у его было сказано (снова — „беспредметный тип“); *а другой бы не признался.*

Я по пути зашла бы за хлебом, да у меня денег было мало взято.

У бабушки было мне дано 10 рублей (вступление к отчету о произведенных покупках, изложенному в формах „нормального“ прошедшего).

Как видим, и в отношении временного значения между русским и западноевропейским типами наблюдается несомненное сходство. Словом по всем линиям мы видим здесь совпадение по существу между двумя образованиями, совершенно различными друг от друга по внешней форме своего выявления и совершенно несвязанными друг с другом культурно-исторически. Именно полное расхождение формально-технической стороны, подтверждая невозможность конкретно-исторической взаимосвязи между двумя типами, лишь больше подчеркивает единство их внутренней идеологической структуры, их внутренней формы, единство пути развития, проделываемого тем и другим, и, следовательно, закономерность этого пути развития. Так мы снова приходим к тому, что possessивный перфект не является каким-либо заимствованным „бродячим мотивом“ в грамматике, каким представляла его западноевропейская буржуазная наука, снова убеждаемся в полигенезисе possessивного перфекта, в самостоятельном возникновении и независимом развитии его в разных языках. Тем самым еще раз подтверждается учение академика Н. Я. Марра о единстве глоттогонического процесса, учение о том, что совершенно независимо друг от друга разные языки развивают порой аналогичные категории, и именно не в силу оказавшейся в них общности материала, унаследованного от общего предка, и не в силу каких-либо пресловутых „влияний“ и „заимствований“, а только в силу известных общих закономерностей, проявляющихся в каждом языке сообразно специфическим особенностям его конкретной национально-языковой структуры.

Но если таким образом полигенезис possessивного перфекта является доказанным фактом, должны ли мы в рамках романских и германских языков продолжать держаться за моногенезис, за версию латинского происхождения интересующего нас типа? Не правильнее ли будет и в западноевропейских языках предположить полигенезис possessивного перфекта, тем более, что гипотеза латинского влияния находится, как мы видели, в явном противоречии с фактами этих языков?

Таков первый вопрос, напрашивающийся в результате ознакомления с рассмотренным русским типом.

Далее. В русских говорах, повидимому, значительно живее, чем в западноевропейских языках, ощущается поссесивная внутренняя форма интересующего нас типа. Это доказывается тем важным обстоятельством, что в русских говорах лишь крайне редко можно найти случаи с неодушевленным агентом. В речи Ф. А. Волковой я вовсе не встретил подобных примеров; в материалах Диалектологического Атласа — чрезвычайно богатых и отмечающих наш оборот на обширной территории (от Беломорска на севере до Череповца и далее на юго-запад до районов Осташкова и Демянска, а на запад — до оз. Ильмень и р. Волхов) — лишь три примера, а именно:

Тут у трактора пройхано;

У автомобиля идено;

Фсё у власти дано (= „все власть дала“);

причем во всех трех случаях за неодушевленным агентом фактически стоит живой исполнитель действия — человек или, в последнем примере, коллектив людей. Совершенно иначе обстоит дело в западноевропейских языках, в которых, сейчас в отношении неодушевленности агента абсолютно никаких ограничений в употреблении поссесивного перфекта не существует, да уже и в древний период, в частности, как мы видели, в наиболее ранних памятниках древнесаксонского и в „Эдде“ — в интересующей нас конструкции встречается, хотя еще и не очень часто, и неодушевленный субъект.

В силу этого более живого ощущения внутренней формы в русском поссесивном типе, именно русский материал может быть особенно интересен с точки зрения анализа природы „поссесивной идеи“, легшей в основу рассматриваемой категории, хотя современный язык не может, разумеется, претендовать на сохранение первоначальной семантики типа. Во всяком случае русский поссесивный перфект, даже при беглом ознакомлении с приведенными сейчас примерами, показывает, что лежащая в его основе поссесивная идея несводима к реальному или „метафорическому“ обладанию предметом в духе оборота I have it done, но должна пониматься значительно шире, может быть как определенная заинтересованность лица в действии или в его результатах, как нахождение действия в сфере субъекта (отенок, напоминающий семантику среднего залога в греческом), наконец, как момент эмоционального отношения к сообщаемому, подобный тому, который выражается так называемым *dativus ethicus*. Вряд ли было бы правильным выводить все эти оттенки из пред-

ставления обладания предметом в смысле нашей логики или наших юридических норм. Не вернее ли предположить, что та первоначальная possessивная идея, из которой в современных русских говорах развились эти или примерно эти оттенки значения, была — и в русском, и в западноевропейском типе — существенно иной, чем представлялось зарубежным исследователям романского и германского перфекта? Тем более, что сузив внутреннюю форму possessивной конструкции до простого обладания предметом, исследователи эти не всегда, как мы видели, могли и на базе одного западноевропейского материала успешно свести концы с концами.

Таков второй вопрос, подсказываемый привлеченным материалом русской диалектальной речи.

Заодно отметим, что большая живость внутренней формы в русском possessивном типе, несколько, как мы видели, не препятствует здесь образованию соответствующих „беспредметных“, т. е. грамматически безличных форм (*у меня убрано*) и форм от непереходных глаголов (*у них уехано в город* и т. д.). Не значит ли это, что идея, легшая в основу интересующих нас оборотов, — именно в силу того, что это не была идея простого обладания предметом, — свободно могла сочетаться и с отсутствием самого предмета, и даже с непереходностью? Но тогда на каком основании считать „беспредметный“ и непереходный тип явлением принципиально позднейшим? На каком принципиальном основании переносить последовательность появления отдельных типов перфекта, наблюдаемую в латинской и древневерхненемецкой письменности, на те другие языки, в которых ведь с самого начала письменности были уже представлены и эти, якобы позднейшие типы possessивного перфекта и плюсквамперфекта?

Таков третий вопрос, напрашивающийся после знакомства с русским материалом.

Но привлечение к рассмотрению фактов русского языка поучительно еще в одном отношении. В русском языке очень отчетливо и резко выступает разница между употреблением интересующих нас конструкций в бесписьменных говорах и в литературном языке. Обороты вроде *у меня проработана уже половина материала, у него уже прочитана вся литература, у нас работа и не начата* и т. п. — вполне употребительны и в устной обиходной, и в письменной форме литературного языка. Все эти сочетания во-первых „предметны“ (едва ли мы скажем и уж, конечно, не напишем *у меня сделано*, без указания, что именно сделано, и безусловно

не скажем у меня *поезжено*). Во-вторых, эти обороты вполне укладываются в рамки реального или „метафорического“ обладания предметом. Одним словом, мы видим здесь тип как бы „упорядоченный“, аналогичный западноевропейскому типу, условно обозначенному выше формулой „I have it done“, т. е. possessивный оборот с предикативным причастием, имеющий значение состояния в настоящем. Разница между этим оборотом и possessивным перфектом раскрывается в русском как разница между литературным и современным ему диалектальным употреблением. Но разве не напрашиваются отсюда некоторые важные выводы для истории possessивного перфекта, в частности, романских языков? Ведь латинская письменность вплоть до Григория Турского не знает „беспредметных“, т. е. безобъектных случаев possessивной конструкции и вовсе не знает типа *habeo dormitum, а в романских языках уже с самого начала застает полный расцвет possessивного перфекта, в том числе даже непереходного. Не значит ли это, что перфект существовал уже и раньше в языке народных масс, хотя и не был отражен в литературе того времени? Но такая же постановка вопроса правомерна и для германского. Может быть и здесь древневерхненемецкие памятники — по большей части переводные и испытывавшие во всех отношениях сильное влияние латыни — не отражали современного им состояния живой народной речи? Может быть этим обстоятельством и объясняется неоднократно отмеченное выше расхождение данных древневерхненемецкой письменности с показаниями других германских языков, современников древневерхненемецкого?¹

Такова последняя группа вопросов, напрашивающихся в результате привлечения материалов русского языка.

Остается подытожить те выводы, которые наметились в ходе предшествующего изложения.

Possessивный перфект и связанные с ним другие глагольные формы представляют, безусловно, явление, восходящее своими корнями к глубокой древности. Лежащее в его основе „possessивное восприятие“ результатов действия отражает

¹ Уже Гримм заметил, „как непринужденно пользуются описательным перфектом древнейшие поэтические памятники“ германских языков, и высказал предположение, что possessивный перфект „отсутствует в неуклюжей древневерхненемецкой прозе... лишь потому, что переводчики слишком строго следовали своему латинскому тексту“ (цит. соч., стр. 153). Однако, высказав это предположение, Гримм тут же сам отвергает его на основании отсутствия possessивного перфекта в готской библии, показания которой весили для Гримма, повидимому, больше, чем данные всех других германских языков.

представления, значительно отличающиеся от идеи обладания предметом в привычном для нас смысле. Существенным моментом являлось здесь, вероятно, не столько обладание предметом, собственность по отношению к предмету, сколько соотнесенность лица, субъекта с его окружением, их сопринадлежность и взаимопринадлежность друг другу. Такое понимание possessивной идеи получит свое полное освещение только тогда, когда с позиций марксистского языкознания будут изучены во всей их совокупности многочисленные языковые категории, отражающие так или иначе possessивные отношения общественной действительности, — „притяжательное спряжение“ ряда языков, средний залог, структура местоимения и некоторые именные классификации, некоторые явления из области синтаксиса падежей и многое другое. Пока можно только сказать, что, повидимому, это отличное от нашего современного понимание possessивности, нащупывающееся в possessивном перфекте, восходит в конечном счете к эпохам, когда и сами материальные общественные отношения собственности были существенно иными, чем в исторический период жизни и русского, и западноевропейских языков.

На определенной стадии развития possessивная идея, отраженная в категории перфекта, вступает в противоречие с изменившимися представлениями. Особенно наглядно проявляется это в тех случаях, когда отсутствует предмет, который мог бы быть осмыслен как объект обладания, — т. е. в „беспредметном“ и, еще более, в непереходном типе. Путь к преодолению назревшего противоречия лежит: а) через переосмысление possessивной идеи в смысле актуальных норм сознания, т. е. как идеи обладания предметом, — и б) через „забвение внутренней формы“, особенно, конечно, в тех контекстах, переосмысление которых оказывалось невозможным. В результате единый ранее тип раскалывается на два типа — условно „I have it done“ и „I have done it — I have read — I have gone“.

Но забвение внутренней формы происходит не сразу, а представляет длительный и неравномерный процесс. В ходе этого процесса обнаруживается весьма различная трактовка possessивного перфекта, плюсквамперфекта и т. д. в устной бесписьменной речи и в литературных языках. В литературных языках, отмечается гораздо более логичное и продуманное использование выразительных средств, гораздо более „щепетильное“ отношение к буквальному смыслу выражения, острее ощущается несоответствие между внутренней формой и

актуальной семантикой того или иного оборота. В устных, бесписьменных языках и говорах скорее отмечается склонность „забывать“ или „полузабывать“ внутреннюю форму, здесь меньше вдумываются в буквальный смысл и потому меньше обращают внимания на те или иные несоответствия его логике. В силу этого пережитки былых норм сознания, отложившиеся в категориях языка, порою легче и полнее могут сохраниться в бесписьменном говоре, где их противоречие современному сознанию, как и любая другая „вольность“ употребления, меньше „режет ухо“, чем в языке литературном, где все как бы пропускается через фильтр логики.

Отсюда становится понятным положение, существующее сейчас в русском: в литературный язык проникли только такие варианты посессивной конструкции, которые не противоречат логике и „здравому смыслу“, т. е. те, в которых выражено реальное или „метафорическое“ обладание предметом, — тип *у меня это сделано*, соответствующий по значению западноевропейскому типу. „I have it done“. Бесписьменные говоры — притом разные говоры, повидимому, в весьма неодинаковой мере — сохраняют и подлинный посессивный перфект, причем внутренняя форма его, не будучи еще полностью забыта, подверглась сильному ослаблению и известной перестройке, превратившей ее в оттенок личного отношения к действию, заинтересованности в нем или в его результатах и т. п., как мы видели выше, на стр. 95.

Положение, находимое в русском, дает нам, при всем различии эпохи и конкретно-исторических условий, ключ к пониманию отношений, устанавливаемых исследователями для латыни. Тильман, ссылаясь на сравнительно широкое распространение посессивной конструкции в комедиях Плавта, доказывает, что „конструкция эта является первоначально достоянием народной речи“.¹ Добавим, что именно у Плавта, как у писателя народного, мы встречаем примеры, которые, как было отмечено выше, не вполне укладываются в рамки обладания предметом (*missum habeo*, *relictum habeo*, т. е. „имею оставленным“), хотя и не встречаем безобъектного или непереходного типа. В классическую эпоху, у Цезаря и Цицерона, употребление посессивного оборота, правда, количественно несколько расширяется по сравнению с Плавтом, но это расширение происходит, повидимому, главным образом за счет примеров с „идеальным“ обладанием (*cognitum habeo*, *comperitum habeo* „имею узнанным, познанным“, *comprehensum habeo* „имею понятым“

¹ Thielmann, цит. соч., стр. 535.

и т. д.),¹ — чисто литературного, „ученого“ варианта, по существу не выходящего из рамок типа „I have it done“. В течение всего последующего периода вплоть до VI в. отмечается застой и даже упадок употребления, сведение его к строго ограниченному кругу определенных формул главным образом юридического языка.² И это, безусловно, не случайно. Известно, что именно в этот период латинская литература наиболее оторвана от народа и от „вульгарного“ языка, наиболее искусственна и „книжна“, наиболее щепетильна в пользовании своими языковыми средствами. Вот почему именно в этот период наиболее строгой является „фильтрация“ живого языкового материала, и за порогом литературы остается поссесивный перфект и плюсквамперфект, несомненно издавна используемый в устной народной речи. Резкий скачок в смысле приближения книжного употребления поссесивного оборота к народному происходит лишь во второй половине VI в. на галльской почве. У Григория Турского мы имеем большой количественный рост употребления, распространение конструкции на новые лексические пласты, т. е. отход от строго ограниченного круга формул; семантика сочетания расценивается в подавляющем большинстве случаев уже как семантика глагольного времени. О том, что эти новые моменты пришли в литературу из устного народного языка говорит, между прочим, и то, что значительная часть примеров падает у Григория Турского на прямую речь.³ Однако даже у него мы еще не найдем ни одного случая безобъектного типа. Безобъектный тип проникает в книгу, в письменность, как указывалось, лишь в Каролингскую эпоху, в меру дальнейшей „порчи языка“, т. е. отхода от канонического употребления и приближения к „языку улицы“, а непереходный тип *habeo venutum смог быть, как мы видели, впервые зафиксирован только в романской литературе, которую уже не связывала традиция прошлого и в которой, наконец, получили свое отражение многие явления, уже давно бытовавшие в так называемом „вульгарном“, т. е. народном языке.

Конечно, перспективы развития интересующих нас форм в современном русском совершенно иные, чем в латино-романских диалектах эпохи гибели Римской империи. Тогда именно бесписьменные говоры составляли подлинный народный язык; им принадлежало будущее; литературный латинский язык был достоянием тонкого, оторванного от

¹ Там же, стр. 517 сл.

² Там же, стр. 538—539 и др.

³ Там же, стр. 541—543.

народа верхнего слоя тогдашнего общества и потому тенденция литературного языка не могла оказаться победившей в ходе дальнейшего развития. Победила тенденция устных народных говоров. Поссесивная внутренняя форма перфекта и плюсквамперфекта была окончательно предана забвению и перестала служить помехой для их использования в языке письменности. Романские языки вступили на историческую арену уже с развитой и вполне грамматизовавшейся системой временных форм, построенных с причастием и с глаголом обладания в качестве вспомогательного. Совершенно обратную картину видим у себя, в современном русском. В обстановке всеобщей грамотности и широчайшей демократизации образования и культуры после Великой Октябрьской социалистической революции наш литературный, национальный русский язык является народным в подлинном смысле слова. Именно революция и последовавшие за ней социальные и культурные сдвиги, постепенное стирание граней между городом и деревней и преодоление „идиотизма деревенской жизни“ колоссально расширили социальную базу литературного языка за счет преодоления, изживания диалекта. Именно литературному языку, а не бесписьменным говорам принадлежит будущее. Поэтому и поссесивный перфект русских бесписьменных говоров надо рассматривать как явление, обреченное отмереть. В этой связи интересно отметить, что проф. Борковский, говоря о конструкции у *меня* + причастие, подчеркивает, что в обследованных им деревнях она широко распространена лишь „в речи представителей старшего поколения“. ¹ Повидимому, неслучайно и то, что в речи Ф. А. Волковой я уже не встретил ни одного непереходного примера, да и „беспредметный“ тип встретил там всего лишь несколько раз. Словом, если в латино-романском книжное употребление интересующих нас оборотов постепенно приходило в соответствие с устным народным, то в современном русском, наоборот, диалектальное употребление все больше приближается к литературному и в конце концов неизбежно уступит ему.

Что касается германских языков, то и здесь, как в русском и в латино-романском, поссесивный перфект и плюсквамперфект тоже представлял свое местное, не заносное извне явление. В эпоху когда создавалась готская библия, внутренняя форма поссесивной конструкции была еще вероятно настолько живой, что Вульфила не рисковал употреблять ее в своем переводе. В западногерманском

¹ Борковский, цит. соч., стр. 119.

процесс забвения внутренней формы в VIII—IX в. уже, повидимому, подходил к концу, так как здесь, как мы видели, попадают, правда еще не часто, — случаи неличного субъекта (ср. примеры из „Гелианда“ на стр. 82). С этого времени отпадают препятствия к литературному использованию possessivного перфекта и плюсквамперфекта. Если древневерхненемецкие переводные памятники продолжают еще некоторое время игнорировать эту форму, то лишь потому, что плохие немецкие переводчики, повидимому, рабски следовали за своим оригиналом, а более искусные, такие, как переводчик Исидора, вероятно сознательно избегали форм, в которых по ассоциации с соответствующими вульгарно-латинским и романским типом ощущали еще признак „плохого языка“, *sermo vulgaris*. Авторы „Гелианда“, „Беовульфа“, песен „Эдды“ и древнеисландских саг не стеснялись подобными соображениями, а Отфрид и в этом вопросе, как и во многих других, стоит на компромиссной позиции: в общем он уже широко пользуется нсвыми глагольными временами, но лишь изредка прибегает к безобъектному типу, а непереходного перфекта с *haben* и *eigan* не признает еще вовсе. Только Ноткер, являющийся вообще новатором в языке, рискует сделать следующий шаг и ввести в литературу непереходный перфект и плюсквамперфект с *haben* и *eigan*. Но и у Ноткера, испытавшего, как известно, сильное влияние латыни, подобных случаев еще очень мало,¹ и, как показывает более поздний Виллирам, Ноткер является собственнно одиноким для своего времени. Лишь средневерхненемецкая эпоха приносит с собой решительный сдвиг: вместе с начинающейся демократизацией литературы, вместе с ее освобождением от пут церковно-клерикальной идеологии и переходом к светским темам литературное употребление приходит наконец и в немецком в соответствие с народным.

Но и перфект и плюсквамперфект народного языка не стояли тем временем на месте. Независимо от того, отставала или не отставала литература с их фиксацией, они развивались во всех романских и германских языках в одном направлении — от вида к времени, от выражения состояния, вытекающего из предшествующего действия, — к выражению самого этого действия, оставляющего после

¹ Как вытекает из подсчетов Диннингхофа (J. Dieninghoff. Die Umschreibungen aktiver Vergangenheit mit dem Participium Praeteriti im Althochdeutschen. Diss. Bonn, 1905) непереходный перфект с *haben* и *eigan* составляет у Ноткера только 3% к общему числу случаев possessivного перфекта.

себя какие-то следы. Этот процесс происходил и в нашем поссесивном типе, и в типе „il est venu“. И здесь, и там на место непосредственной, видовой результативности, результативной связи состояния с произведшим его действием, постепенно выдвигалась для плюсквамперфекта — идея временного предшествования другому прошедшему действию, а для перфекта — идея логической связи, логической соотнесенности прошедшего действия с сегодняшним моментом, с „презенсом говорящего“. Внешним показателем этого процесса явилось преодоление первоначальной дефективности перфекта и плюсквамперфекта, связанной с их видовой семантикой, распространение перфекта и плюсквамперфекта на глагольную лексику, т. е. создание перфекта и плюсквамперфекта от курсивных глаголов, как переходных, так и непереходных („иметь“, „любить“, „ненавидеть“, „желать“, „быть“, „сидеть“, „стоять“, „спать“, „жить“, „долженствовать“ и т. д.). Принципиально каждое событие прошлого может вступать в ту или иную логическую связь с настоящим моментом. Именно поэтому на новом этапе развития перфекта и плюсквамперфекта каждый глагол получил свои формы этих двух времен.

Создание курсивного перфекта, замыкающее процесс становления сложного прошедшего, создает вместе с тем предпосылки его дальнейшей семантической эволюции: логическая связь прошедшего события с настоящим моментом, лишенная прочной опоры в видовости, начинает ослабевать, семантическое своеобразие перфекта постепенно стирается, грань между ним и простым прошедшим становится все более зыбкой. Но рассмотрение этих процессов, в большей или меньшей степени затронувших все романские и германские языки, лежит уже вне рамок настоящей работы.

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ИМЕННЫХ И ГЛАГОЛЬНЫХ ОСНОВ В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ

Доц. А. В. Десницкая

I

Вопрос о происхождении глагола является одним из центральных для изучения грамматики индоевропейских языков в историческом плане. Чрезвычайное разнообразие глагольных форм и по их морфологической структуре и по синтаксической функции, — характерное особенно для древнейшего засвидетельствованного состояния этих языков, говорит о сложности и многослойности развития в них глагольных категорий. В связи с этим с необходимостью встает целый ряд вопросов, среди которых одно из первых мест занимает вопрос о соотношении глагола и имени в древние периоды истории индоевропейских языков.

В нашем языкознании всеобщее признание получило разработанное в новом учении о языке положение о том, что глагол, являясь сравнительно поздней по своему образованию категорией, развился в результате дифференциации древнего типа имени, обладавшего также и предикативными функциями. Формулировку этого положения мы находим в ряде работ Н. Я. Марра. В одной из них мы читаем: «Был момент, длинный период, многие эпохи, когда не было особой категории глагола, были имена, та имена, которые впоследствии стали известны в грамматике под названием имен существительных и прилагательных, раньше также не различавшихся, так как первоначально в реальности были имена-представления, как бы знамения, дававшие представление, образ предмета, а не понятие, состав и действие или состояние его.

«Действие и состояние этих предметов могло проявляться лишь при сочетании слов постановкой в определенном месте,

не трогавшей абсолютно формы слов, остававшихся теми же следовательно, именами, или, по выработке морфологии, то же действие или состояние могло проявляться в снабжении их, имен, морфологическими элементами, признаками взаимоотношений предметов, то приставочными частицами, то органически сросшимися окончаниями и префиксами, но эти приставки, эти префиксы и суффиксы, признаки взаимоотношений, были те же для глаголов, что и для существительных, разница была не в элементах, а в их функциях...»¹

Именное происхождение глагола ярко прослеживается на материале ряда неиндоевропейских языков, не выработавших четкой дифференциации между частями речи.

Глубокую и детальную разработку этого вопроса мы находим в трудах И. И. Мещанинова, который на материалах палеоазиатских и некоторых других языков показывает, как в связи с дифференциацией членов предложения, с оформлением специальной категории предиката, постепенно развивается и дифференциация частей речи, появляется отличная от имени категория глагола. Как вывод из многократно наблюдаемых фактов схождения, а иногда и тождества, именных предикативных форм с глагольными, мы находим следующую четкую формулировку: «Имя получает предикативные формы оттого, что оказывается в роли предиката, а если они совпадают с глагольными формами, то и последние являются в этих языках не чем иным, как предикативным оформлением имени. Следовательно, глагол вышел из имени, и стал глаголом потому, что предикат закрепил за ним свои показатели, обратившиеся затем в глагольные».²

Вопрос о происхождении категории глагола из имени ставился в свое время Курциусом, Вундтом. Но в силу ограниченности формально-морфологического метода исследования и идеалистического характера своих концепций в целом, эти исследователи не смогли дать подлинно исторической теории происхождения частей речи. В XX в. мы встречаемся с крайне формалистической теорией Хирта, который, опираясь в общих чертах на Вундта, пытался возвести все личные формы индоевропейского глагола к тем или иным именным глагольным формам.³ В своих сопоставлениях глагольных и именных форм Хирт руководствуется исключительно внешним сходством и не делает никакой попытки семантического

¹ Н. Я. Марр. О происхождении языка. ИР, т. II, стр. 191.

² И. И. Мещанинов. Общее языкознание. К проблеме стабильности в развитии слова и предложения. Учпедгиз, 1940, стр. 235.

³ Über den Ursprung der Verballexion im Indogermanischen (Indogerm. Forschungen, т. XVII, 1904/1905 rr.) „Indogermanische Grammatik“, ч. IV, 1928.

обоснования выдвигаемых положений. Хотя отдельные личные глагольные формы действительно восходят к тем или иным именным глагольным формам,¹ однако в целом теория Хирта, в силу своей антиисторичности, формализма, поверхностности предлагаемых автором выводов (построенных, к тому же, на очень скудном фактическом материале), никак не может считаться удовлетворительным объяснением происхождения индоевропейской глагольной флексии. Простое возведение всех личных глагольных форм к различным падежным формам инфинитивов и причастий ничего не дает для понимания генезиса спряжения.

Гораздо более убедительным и семантически и формально является объяснение происхождения личных глагольных форм путем агглютинации к основе личных местоимений. В целом ряде неиндоевропейских языков мы находим параллели к этому процессу.²

Правда, это теоретически единственно вероятное объяснение личной флексии глагола не может быть полностью доказано на материалах индоевропейских языков, так как формальная дифференциация имени и глагола в них проведена чрезвычайно четко и не обнаруживается пережиточных форм, которые позволяли бы обосновать местоименное происхождение личных окончаний.

Однако, поскольку местоименное происхождение личных глагольных окончаний широко представлено в языках различных систем и поскольку оно в известной мере подтверждается этимологией глагольной флексии в древних индоевропейских языках (прежде всего обращает на себя внимание сходство окончаний первого лица единственного числа *-mi*, *-m*, с основой личного местоимения первого лица единственного числа, также включающего в себя элемент *-m*) у нас нет оснований отказываться от этой теории.³ Гипотеза Боппа и в настоящее время продолжает оставаться наиболее

¹ Так, например, 2-е лицо множ. числа латинского пассива *ferimīni*, *sequimīni* принято сопоставлять с греческими инфинитивами *на-менαι* и причастием *на-менос*. См.: Meillet et Vendryes. *Traité de grammaire comparée des langues classiques*. Paris, 1924. См. также: А. Ерпout. *Recherches sur l'emploi du passif latin à l'époque républicaine* (Mém. de la Soc. d. Ling. de Paris. т. XV стр. 285).

² И. И. Мещанинов. *Общее языкознание*, стр. 115 и дальше об образовании личного спряжения глагола в унганском языке путем присоединения к именной основе местоимений первого и второго лица. Относительно сходных явлений в тюркских языках (присоединение личных местоимений к причастным формам) см.: В. М. Жирмунский: *О частях речи в тюркских языках по сравнению с языками индоевропейскими*. Известия Отд. литературы и языка АН СССР, 1945, № 3.

³ В. М. Жирмунский. *О частях речи*, стр. 5.

вероятным объяснением происхождения глагольной флексии в индоевропейских языках. В то же время конкретные пути образования парадигмы индоевропейского спряжения до сих пор еще не поддаются непосредственному анализу, потому что глагол, как часть речи, уже в древнейших из засвидетельствованных индоевропейских языков с чрезвычайной четкостью выделен как особая, отличная от имени, часть речи.

Все же морфологический анализ позволяет наметить некоторые связи между категориями имени и глагола в древних индоевропейских языках, свидетельствующие о генетической близости этих категорий.¹ Это прежде всего — известное единство именных и глагольных основ.² Имеются в виду так называемые тематические и атематические образования.

Тематические основы представляют собой наиболее распространенный тип основ как для имен, так и для глаголов. Характерной чертой их является наличие в качестве основообразующего суффикса так наз. тематического гласного е/о (закономерное чередование гласных). В склонении тематический гласный предшествует падежным окончаниям, сливаясь с ними, в спряжении он предшествует личным окончаниям глагола. Ср. греч. *lógos* «слово» и спряжение глагола *légō*, «говорю» (Indic. praes.): ед. ч. 1. *légō*, 2. *légeis*, 3. *légei*; мн. ч. 1. *légomen*, 2. *légete*, 3. дорич. *légonti*.

Атематические основы как именные, так и глагольные отрицательно характеризуются отсутствием основообразующего суффикса, благодаря чему окончания присоединяются непосредственно к корню.

Единство построения, характерное для именных и глагольных основ в тематическом и атематическом типах неоднократно отмечалось в компаративистике. «Первичные именные основы, — пишет Мейе, — стоят в такой же связи с корнями, как и первичные глагольные основы...»³

Морфологическая близость особенно подчеркивается тем фактом, что рядом с первичными глаголами существуют с той же основой (тематической или атематической) соответствующие именные образования — имена действия и деятеля

¹ Так наз. «именные формы» глагола, разного рода инфинитивы и причастия я оставляю в стороне, так как соотносительно с интересующим нас в данный момент явлением формы эти представляют собой в большинстве случаев сравнительно более поздние образования.

² Речь будет идти только о так наз. глаголах первичного образования. Более поздний слой глаголов, производных непосредственно от имен, мы оставим в стороне.

³ А. Мейе. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. Соцэкгиз, 1938, стр. 264.

(*nomina actionis* и *nomina agentis*). Так, например, в греческом языке рядом с тематической глагольной основой *phêre-te* «несете», *phêro-men* «несем» и атематической в гомеровском *phêr-te* стоят образованные от того же корня, но с другой огласовкой, тематические именные основы *phôgo-s m.* „подать“, *phogô-s* „несущий“ и атематическая *phog m.* «вор».

Эти имена несомненно связаны с соответствующими глаголами, но не образованы от них и поэтому не могут быть названы отглагольными. В то же время общность построения основ у этих имен с первичными глаголами (наличие одного и того же основообразующего суффикса для тематического типа и нулевая характеристика основы для атематического) свидетельствует о том, что те и другие восходят по своему образованию к одним и тем же архаичным напластованиям, лежащим в основе сложной морфологической системы исторически засвидетельствованных индоевропейских языков. Сам факт единства в построении основ наталкивает на заключение о том, что единство это восходит к периоду, предшествовавшему дифференциации имени и глагола. Таким образом, приглагольные тематические образования типа *phôgos*, *phorôs*, *lógos*, русск. *ход*, *звон*, *гром*, *брод*, и атематические греч. *phlox f.* «пламя» (*phlégo* «гореть», «жечь»), лат. *dux* «вождь» (*dūco*), *rex* «царь» (*rego*) и т. д. выступают перед нами как имена со значением действия или деятеля (своеобразные причастия), сохранившиеся от древнего периода недифференцированности категорий имени и глагола.

В связи с постановкой этого вопроса встает задача семантического анализа соответствующих типов именных образований. Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению тематических и атематических имен, необходимо уяснить характер соотношения между собой этих двух типов.

Мейе, отмечая особенную архаичность атематических или корневых образований (присоединяющих окончания непосредственно к корню), пишет: «Основы с нулевым суффиксом атематического типа оказываются представленными в языке тем лучше, чем древнее засвидетельствованная форма данного языка, и в историческую эпоху они быстро исчезают. Они, повидимому, нормально существовали при корнях, образующих атематическую основу настоящего времени».¹

И в другом месте (это относится как к именным, так и к глагольным окончаниям): «Индоевропейские языки стремятся заменять тематическими формами более древние атематические формы».²

¹ Мейе, Введение, стр. 267.

² Там же, стр. 200.

Таковы реальные соотношения между двумя типами в исторически засвидетельствованных индоевропейских языках. Повсюду атематические или корневые основы, если они вообще представлены в языке, представляют собой категорию вымирающую, уступающую свое место другим, более распространенным типам основ. В сравнительно большем количестве корневые имена сохранились в греческом языке; несколько меньше их в латинском и древнеиндийском (за исключением особого типа атематических образований в качестве конечного элемента сложных слов). В остальных индоевропейских языках наблюдаются лишь единичные остатки.

Сама по себе структура целого ряда так наз. «корней», выступающих как основа атематических имен, указывает на сложность их образования. Прежде всего условным является само понятие «корня». Теория так наз. «детерминативов» внесла ряд существенных поправок в учение об индоевропейском корне. С точки зрения этой теории большинство «корней», выступающих в качестве непосредственных основ атематического типа, представляет собой сочетание чистого «корня», как абстрактно выводимой морфологической единицы, с различными «детерминативами». Хотя «детерминативы» и представляли собой некогда суффиксальные элементы, ощущение их как таковых было утеряно уже в древнейшие периоды доистории; они полностью слились с корнем, превратились с ним в одно неразрывное единство. Такое сложное построение имеют очень многие корневые основы: например, греч. *kheir*, *kheirós* f. «рука», *país*, *paidós*, m. f. «дитя», *khthón*, *khthonós* f. «земля» и др. Древним суффиксальным элементом также оказывается -i- в корневом имени греч. *пух*, *пуктós* f., лат. *пох*, *postis*, если правильна этимология, предлагаемая Стертевантом на основе сравнения с хеттским *pekuiz* «время сна», «вечер».¹

Однако, в то же время само понятие «корень» является историческим. Какова бы ни была внутренняя структура атематических корневых образований, для архаичной системы индоевропейской морфологии они выступают именно как корневые, лишенные основообразующего суффикса и поэтому противостоящие остальным именным основам.

Независимо от истории каждого из «корней» в отдельности, корневые основы в общем выступают как единая, морфологически обособленная группа со специфическим типом склонения, основанным на чередовании места ударения между

¹ E. Sturtevant. A Comparative Grammar of the Hittite Language. 1933, стр. 122—128.

корнем и суффиксом, и отрицательно характеризуемая отсутствием основообразующих суффиксов.

Переходим к анализу атематических и тематических именных образований в их соотношении с соответствующими глаголами.

Начнем с рассмотрения так наз. корневых или атематических основ.

2

При рассмотрении группы корневых основ необходимо считаться с тем, что в исторические периоды развития индоевропейских языков эта группа, как одна из наиболее архаичных в общей системе именной классификации по различным основообразующим суффиксам, в сильной мере подверглась влиянию других, более продуктивных типов основ. Значительное количество корневых имен сохранилось только в греческом языке. В древнеиндийском и латинском языках их гораздо меньше. В остальных языках, правда, засвидетельствованных в более поздние периоды, мы встречаем только единичные остатки. Поэтому в нашем анализе мы ограничимся только первыми тремя языками.

Корневые имена можно подразделить на две группы: связанные с глаголами и не связанные. На второй группе — корневых образований, обозначающих конкретные предметы и не связанных с глаголами, — мы останавливаться не будем.

Архаичные атематические именные образования, связанные с глаголами, представляют собой как бы формы глагольных корней, снабженные падежными окончаниями. Выступают они или самостоятельно, или в качестве второго элемента сложных слов. По значению они обычно определяются как имена действия (*nomina actionis*) и имена деятеля (*nomina agentis*). Кроме этих двух значений, можно выделить еще третье — имена результата действия (*nomina acti*). Однако, второе и третье значения можно в известной мере объединить по их причастному характеру. Существенное различие между ними будет состоять в активности (у имен типа *posuer agentis*) и в пассивности (для типа *posuer acti*). При этом необходимо учитывать, что дифференциация трех основных значений далеко не во всех случаях проводится с достаточной четкостью. Нередко бывает очень трудно определить характер значения того или иного имени. Возможно, что такая неясность представляет собой пережиток древней нерасчлененности вышеуказанных значений.

Рассмотрение нескольких примеров лучше всего покажет семантику этих архаичных образований. Ср. в греческом языке:

béx, bekhós m. f. „кашель” — béssō „кашлять”, здесь перед нами, несомненно, имя действия.

-bros, -otos¹ в составе ряда сложных слов: andro-bros „пожирающий мужей”, bary-bros, „сильно-снедающий, мучительный”, hemibros „наполовину сожранный” и др. Связано с глаголом bibrosko „пожирать” (ср. перфектные причастия beb-rokós и bebrobros)-bros имеет в основном характер активного причастия, но может иметь и пассивное значение (см. hemibros).

-blops, ôpros в para-blops „смотрящий в сторону, косою” — parabléro. Имеет характер активного причастия.

-gnos, -ôtos m. f. в a-gnos; связано с глаголом gignosko „узнавать, знать” и имеет двойственный залоговый характер: 1) неузнанный, неизвестный, 2) незнающий.

dráx, drakós f. „горсть” — drássomai „хвататься, хватать, брать” (ср. скр. drhuyati „укреплять”, ст.-слав. дрѣжати „держать”). Характер этого слова трудно определить. Возможны все три толкования — и как имя действия, и как имя результата действия, и как имя деятеля („то, что держит”). Возможно, что такая нерасчлененность отражает очень древнее состояние.

-dzyx, -ygos в составе целого ряда сложных слов: sý-dzyx m. f. „супруг, супруга”, homó-dzyx m. f. „сопряженный, находящийся в одном ярме с кем-либо”, á-dzyx „не находящийся под ярмом, несопряженный” и др. — dzeýgnymi „связывать, соединять, впрягать, запрягать”. Характер страдательного причастия выступает довольно ясно (ср. совершенно аналогичные образования в латинском языке и санскрите).

-thnēs, -êtos в составе с andro-thnēs „мужеубийственный”, „соединенный со смертью мужей” — thnésko „умирать, быть убитым”. Повидимому, это образование имеет характер помен agentis.

kleps, klorós m., „вор” — klépto „воровать”. Здесь мы имеем имя деятеля, как бы своеобразное активное причастие.

*lips, libós f. „капля”, lips, libós m. „(дождливый) юго-восточный ветер” — leíbo „лить, проливать”. Это образование причастного типа сохранило, как пережиток древней залоговой неопределенности две формы, закрепив за мужским родом активное значение — „ветер, приносящий, вызывающий дождь, причиняющий действие проливания”, а за женским родом страдательное — „капля, пролитое”. Интересно, что

¹ Входит в группу атематических имен причастного типа, образованных с помощью форманта-t-.

формы эти имеют нулевую степень огласовки корня, характерную вообще для аориста, что, повидимому, указывает на единичность действия, выражаемого формой *lips*. Между тем глагол *leibo* образует аорист по сигматическому типу *éleirsa*; второй аорист, характеризующийся нулевой ступенью огласовки, при нем отсутствует.

lŭnx, *lŭngós* f. „икота“—*lŭdzo* „икать“. Это имя действия.

Гом. **óps*, *orós* f. „голос, речь, звук, слово“—аор. *eírop* „я сказал“, ср. *to épos* (*veros*) „слово, речь изречение“; параллельные образования в латинском языке и санскрите: лат. *vox*, *vocis* f. „голос“, скр. *vāk* „язык, голос, речь, слово“—*vākti* „говорит“. Таким образом, основное значение этой формы будет повсюду само действие „речения“. „Корень **wek*^W—, — пишет Мейе, — обозначал в индоевропейском издавание голоса, со всеми основанными на этом религиозными и юридическими силами. Корневое имя *vox* имеет в индоиранском соответствие, обладающее религиозным значением: скр. *vāk* (с обобщенным *ā*), ав. *vāxǝ* (вин. п. *vācēt*, род., *vačō*)“.¹

-*pléx*, -*égos* в составе сложных слов—с активным значением: *amphi-pléx*, т. f. „с обеих сторон ударяющий, обоюдоострый“, *anti-pléx*, т. f. „отражающий (волны)“, *bi-pléx*, f. „бодец, стрекало, которым ударяют быков“ (эпич.), и с пассивным: *oistro-plex* т. f. „ужаленный оводом“. Это образование связано с глаголом *pléssō* „ударять“. Интересна залоговая двойственность.

pnix, *pnigós* f. „удушье, сжатие“—имя действия, связанное с глаголом *pnigo* „душить давить“.

rhóx, *rhogós* f. „щель, отверстие“—*rhégnymi* „рвать, разламывать“. Скорее всего мы здесь имеем обозначение результата действия. См. также в сложных: *diarrhóx*, *ógos* т. f. „прорванный“, *kata-rhóx* „обрывистый, крутой“.

séps, *serós* f. 1) „гноящаяся язва“, 2) „ядовитая змея, укус которой причиняет нагноение“—*séromai* „гнить“. Для первого значения трудно определить, имеем ли мы тут имя действия или имя деятеля. Во втором случае мы имеем, повидимому, имя деятеля. Во всяком случае, значения эти здесь с трудом разграничиваются.

skóps, *skorós* т. „сова, филин“—*skópto* „шутить, насмехаться“. Итак, „насмехающаяся птица, насмешник“—*poen agentis*.

¹ Ernout-Meillet. Dictionnaire étymologique de la langue latine. 1932, стр. 1093.

stýx, stygós f. „леденящий холод, ужас, отвращение“ — аор. éstygon „ненавидеть, бояться“. Следовательно, как имя действия. В сложном слове stýx выступает со значением активного причастия: pseysi-stýx m. f. „ненавидящий ложь“.

Sphinx, Spthingós f. „сфинкс“ — sphingo „сжимать, стягивать“. Следовательно, „сжимающая“ — nomen agentis.

tróx, trogós m. „долгоносик“ (насекомое) — trógo „грызть“. Мы имеем здесь образование причастного типа с активным значением „грызущий, грызун“.

phléps, phlebós f. „жила, артерия“, повидимому, связано с phléo „вздуваться, переполняться“, phlýo „кипеть, переполняться“; образование это можно рассматривать и как имя действия — „набухание, набухлость“, и как имя деятеля — „набухающая“.

phlóx, phlogós f. „пламя“ — phlégo „гореть, пылать, жечь, воспламенять“. Это слово тоже можно рассматривать и как имя действия — „горение, сжигание“, и как имя деятеля — „горящее, сжигающее“. Повидимому, все подобные случаи являются пережитками древней нерасчлененности этих значений.

phríx, phríkós f. „дрожь, трепет“ — phrisso „дрожать, трепетать“. В этом случае мы бесспорно имеем имя действия — phlýx, -ygos в составе oinó-phlýx „пьяница“ — phlýo, phlýdzо „кипеть, переполняться“. Здесь мы имеем образование причастного типа „переполненный вином“.

phór, phorós m. „вор“ — имя деятеля, связанное с глаголом phéro „нести“.

*ólx f., вин. ед. ólka „борозда“ — ст.-слав. влѣкж, влѣшти, лит. veikti, vilkti „влагать“. Здесь, повидимому, обозначение результата действия.

óps, opós f. „взгляд, вид, лицо“ — перф. ópora „я увидел“, буд. вр. ópsomai — корневое образование со значением имени действия „видение“.

psén, psepós m. „орехотворка, галица (насекомое, живущее в плоде пальмы)“, связывается с глаголом psáo „тереть, крошиться“. Здесь очевидно, образование причастного типа.

В латинском языке:

vox, vocis f. „голос“ — имя действия, связанное с атематическим глаголом vakti „говорит“ в древнеиндийском; ср. др.-инд. vák „язык, голос, речь, слово“, греч. гомер. *óps, opós f. (см. выше).

rex, régis m. „царь“ — имя деятеля, связанное с глаголом rego „править“;

dux, ducis m. „вождь“ — имя деятеля, связанное с глаголом duco „вести“;

dix, dicis f. имя действия при глаголе *dico* „говорить, показывать“, употребляемое в составе старинной юридической формулы: *dicis causā* или *grātīa*,¹ и рядом *-dex, -dicis*, со значением имени деятеля в составе сложных: *iudex* „судья“, *index* „доносчик, указатель“, *vindex* „поручитель, защитник“.

-es, -itis m. f. — имя деятеля при глаголе *eo* „итти“ в составе сложного *comes, -itis* m. f. „спутник, спутница“, *-spex, -icis* — имя деятеля при *specio* „смотреть“ в составе сложных *auspex* „птицегадатель“, *haruspex* „предсказатель по внутренностям животных“.

-fex, -ficus m. f. — имя деятеля при *facio* „делать“ в сложных словах: *artifex* „мастер, художник“, прилаг. „искусный, ловкий“, *carnifex* „палач, мучитель“, *orfex* „ремесленник“, *pontifex* „понтифик“ и др.

-seps — имя деятеля при *capio* „брать, схватывать“; *auseps, -cupis* „птицелов“, *particeps, -cipis* „участвующий в чем-либо, причастный к чему-либо“.

-lux, -lūgis m. f. образование причастного типа с пассивным значением, стоящее рядом с глаголом *lūngo* „связывать, соединять, сопрягать“ (ср. греч. *dzyx—dzygnyμι*) в составе сложного *conlux, -iūgis* m. f. „супруг, супруга“.

**prex, вин. пад. pcesem, мн. preces* „просьба, жалоба“ — имя действия (ср. скр. *prāt*)² при *posco* „просить, спрашивать, призывать“ (глагол. форма *presco* является производной от *preces*).

lux, lucis f. „свет, дневной свет“. При широком распространении этого корня по всем индоевропейским языкам, нигде, однако, не засвидетельствовано соответствующего глагола первичного образования. Однако Эрну и Мейе, определяя значение слова *lux*, подчеркивают заключенный в нем момент „действия“ — „свет“ (рассматриваемый как активность, действующая сила).³ Мейе неоднократно приводит слово *lux* в качестве примера нулевой формы корня со значением действия.⁴ К тому же, в ведическом древнеиндийском представлена форма дательного падежа от аналогичного корневого образования — *lucé* — в значении инфинитива „чтобы блеснуть“.⁵

Достаточно богат корневыми образованиями, связанными с глаголами, и санскритский язык. Несколько примеров:

¹ Ernout-Meillet. Dict. étym., стр. 255.

² Там же, стр. 758.

³ Там же, стр. 541.

⁴ Введение, стр. 169 и 268.

⁵ Ernout-Meillet, цит. соч., стр. 543.

dṛk (dṛç-) „видящий“, f. „зрение, взгляд, глаз“, upadṛk „взгляд, вид“, īdṛk „выглядящий так“, dūredṛk „видный издалека“—darç- „видеть“ (перф. dadārça). Мы здесь имеем и обозначение имени действия и своеобразные причастные формы.

nīdrā f. „сон“—drāti „спит“. Здесь перед нами имя действия.

dhrūk „вредящий“, f. „вред“, f. m. „чудовище, злой дух“—drūhyati „ищет повредить“. Опять параллельные формы со значением имени действия и имени деятеля.

dīk f. „направление, страна света; указание, предписание“—имя действия, связанное с dīcāti „указывает“.

samīt f. „враждебная встреча, стычка, борьба“—имя действия, связанное с глаголом éti „идет“ (sam- приставка).

gīr f. „призыв, песнопение, хвала“—имя действия, выражаемого глаголом grnāti „поет восхваляет“.

vṛtrahā „убивающий Виртру“—образование причастного типа, связанное с глаголом hñti „убивает“.

yūt, yūdh- m. „боец“, f. „битва“—значение деятеля (мужск. род) и действия (жен. род), выражаемого глаголом yūdhyati, yodhati „сражается“.

mūt f. „радость, веселье“—имя действия при глаголе mōdate „радуется, веселится“.

ṛk f. „сияние“, „гимн“—имя действия при ārcati „сияет“, „поет хвалу“.

rūk, rāj- f. „боль, болезнь“—имя действия при gijāti „разбивается“.

admasāt m. f. „муха“ (собств. „сажающаяся на еду“), parisad f. „собрание, заседание“—sidati „сидит“. Здесь мы имеем и значение имени деятеля и значение имени действия.

Мы видим, что семантика образований этого типа совпадает с семантикой аналогичных образований в греческом и латинском языках — обозначение имени действия, деятеля, результата действия. Иногда для дифференциации этих значений используется категория грамматического рода: имя действия обычно имеет женский род—yūt f. „битва“, имя деятеля — мужеский — yūt m. „боец“. Многие из подобных корневых образований в санскрите не встречаются в изолированном виде, а выступают только в качестве конечного элемента сложных слов. В этой своей функции они имеют в санскрите настолько широкое распространение, что даже может быть сформулирован закон, гласящий, что конечным членом сложного имени может быть не только именная

основа, но и любой корень, получающий в таком случае и значение причастия или имени деятеля.¹

Несколько примеров таких образований: -ра „пьющий“ — *madya-ra* „пьющий вино“, -*vid-* „знающий“ — *dharma-vid-* „знающий закон“: -*bhuj-* „едящий, потребляющий“ *kanta-bhuj* „поедающий колючки, верблюды“; -*jīt-* „побеждающий“ — *ṣātru-jīt-* „побеждающий врагов“; -ра- „защищающий“ — *bhu-ra-* „защищающий страну, землю, царь“ и т. д.

Образования этого типа обычно приводятся в качестве наиболее характерного примера сложных имен с глагольным управлением (*Verbalrectio*). „Глагольное управление, — пишет Тумб, — отчетливее всего выступает у глагольных корней, которые или непосредственно, или с суффиксами -*t-* и -*a-* образуют в качестве *nomina agentis* конечный член сложного слова и употребляются только в этом сочетании“.²

Сама возможность образования имени деятеля от любого глагольного корня, путем постановки его в положение конечного элемента сложного имени, говорит о том, что для исторического санскрита этот способ словообразования был живым. Корневые имена со значением имени деятеля, восходящие, как категория, к древним корневым образованиям с более широкой семантикой (имена действия, деятеля, результата действия), сохранившиеся в виде пережитков в греческом, латинском и том же санскритском языках (см. выше), были включены, вместе с другими образованиями, в состав специфической словообразовательной категории и стали использоваться как средство для образования широко распространенных в санскрите сложных имен с глагольным управлением (*Verbalrectio*).³ В этой функции они расширили свое употребление, и поэтому часть их может рассматриваться как новообразования. Но сама возможность такого использования вытекает из древней семантики этого типа корневых имен, объединявших в себе ряд значений, связанных с выражением действия.

Аналогично санскритскому, употребление корневых имен в качестве второго элемента сложного слова со значением причастного типа мы уже встречали в латинском и греческом языках (см. выше -*fex* в *artifex*, -*lux* в *coniux*, греч. -*dzyx* в *homódzyx* и др.). Но там оно не выходит за пределы изолированных пережитков архаичной морфологической категории, в то время, как в санскрите оно было вве-

¹ А. Тумб. *Handbuch des Sanskrit*. 1905, стр. 455—457.

² *Handbuch*, стр. 455.

³ По своему происхождению этот тип сложных слов является очень древним, обнаруживая крайне архаичные черты.

дено в состав системы словообразования исторических периодов.

Заканчивая обзор корневых имен, связанных с глаголами, надо остановиться еще на одном типе их употребления: «Имена действия употреблялись также,—пишет Мейе,—и в других падежах, кроме именительного и винительного; в таком случае они получали значение инфинитивов, что часто усматривается в ведийском языке; так, при лат. *lux* „свет“, мы имеем в ведийском дат. п. *guscé*, со значением „чтобы блеснуть“.¹ См. также *dr̥scé* „чтобы видеть“, *bhujé* „вкусать“, *niráje* „изгонять“, авест. *savoī* „использовать“ и др.² Мы имеем здесь дательный падеж имени действия от корневых имен, связанных с глаголами.

Аналогичное объяснение получает и пассивно-депонентный инфинитив третьего спряжения в латинском языке (*agi*). „Конечное -i,—пишут Мейе и Вандриес,—напоминает дательный падеж ед. ч. типа *ped -i*; и так как дательный, является наиболее часто употребляемым падежом для имен действия, играющих в ведическом роль инфинитивов, возможно, что латинские инфинитивы на -i представляют собой старые дательные падежи, от корневых основ в случае *agi*) (ср. скр. *aj-é* „чтобы вести“), от основ на -s—в других случаях“.³

Большинство исследователей считают первичным значением для корневых имен, связанных с глаголами, значение имени действия.⁴ Мейе, говоря о корнях, как древнейших лексико-морфологических единицах, которые можно установить для индоевропейских языков путем анализа исторически данных именных и глагольных основ, замечает: „Корень сам по себе выражает действие; в сопровождении глагольных окончаний он обозначает процесс; в сопровождении именных окончаний он обозначает внутреннюю силу, определяющую действие (как, например, лат. *lux* «свет», *vox* „голос“); во второй части сложения он обозначает действующее лицо (как, например, вед. *vr̥tra - hán* „поражающий Виртру“, лат. *parti-ceps* „имеющий часть“, *au-spex* „наблюдающий птицу“)“.⁵

¹ Введение, стр. 268.

² Brugmann. Grundriss, т. II, ч. 1, стр. 459.

³ A. Meillet et J. Vendryes. Traité de grammaire comparée des langues classiques. Paris, 1924, стр. 334.

⁴ Chantraine, La formation des noms en grec ancien. Paris, 1933, стр. 3; Risch. Wortbildung der homerischen Sprache, 1937, стр. 3.

⁵ Введение, стр. 169.

И в другом месте: „форма с нулевой ступенью корня обозначала само действие, выражаемое данным корнем, и древнейшее время, повидимому, саму внутреннюю силу, присущую этому действию; такого рода слова могли, следовательно, иметь культовую значимость. Здесь вскрывается самое существо индоевропейских корней, которые прежде всего обозначали действия. Реже, чем действия, этими именами могли также обозначаться действующие лица: это наблюдается в таких архаичных терминах, как, например, лат. *gēx* „царь“ и вед. *gāt* (основа *ga-j-*), лат. *dux* „вождь“ и т. п.¹

Потебня в свое время характеризовал корневые имена, как остатки древней категории имени причастия, не расчлененной еще в залоговом отношении.

Исходя из существования в санскрите и других языках имен, присоединяющих падежные окончания непосредственно к корню, он заключает: „По образовании от качественного корня личного глагола посредством присоединения к этому корню знаков трех лиц ед. числа и слияния с ним в одно слово, оставшееся простое качественное слово не могло уже быть попрежнему бесформенным, как круг, по отсечении его части, перестает быть кругом. Это слово, например, *да*, по отношению к 3-му лицу *да-та*, своим присутствием оттенявшее глагол, и само было уже отрицательно характеризовано и имело функции части речи. Какой? Мы говорим — имени-причастия без времен, залогов, родов, чисел и падежей, стало быть, имени, стоящего на степени безразличия грамматического субъекта и объекта. Появившиеся впоследствии суффиксы не создали категории имени, а лишь внесли в нее некоторые различия, вряд ли определяемые в настоящее время, но, конечно, не бывшие нынешними различиями существительного, прилагательного и причастия, в собственном смысле“.²

К сходным выводам приходит и Якоби,³ объединяя сложные имена, в качестве конечного элемента которых выступает глагольный корень в функции имени деятеля, с аналогичными суффиксальными образованиями под общим названием „синтетических композитов“. Он рассматривает корневые имена как древние причастия, наделенные относительным значением, что стоит в связи с его общей теорией сложного слова, как аналога придаточного предложения.

¹ Там же, стр. 268.

² А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике, I, Воронеж, 1874, стр. 109.

³ H. Jacobi. *Compositum und Nebensatz*. Bonn, 1897.

Точка зрения первичности значения действия для разбираемых корневых образований и теория Погребни, утверждающая причастное значение, как исходное, находятся в противоречии друг с другом. Такая противоречивость выводов определяется односторонним характером, неизбежно присутствующим всем разновидностям формально-морфологических построений в области исследования проблемы генезиса и развития частей речи. Выше, при анализе семантики соответствующих корневых образований, уже отмечались как параллелизм этих двух значений, так и в ряде случаев их недостаточная дифференцированность. Архаичность самой этой именной категории дает возможность предполагать, что особенность ее семантики отражает очень древнее состояние и что недифференцированность значений действия и деятеля (активного и пассивного) является унаследованной от начальных периодов разделения категорий глагола и имени (в его противопоставленности глаголу).

В вышеприведенных формулировках Мейе мы встретились с определением значения корневых имен как внутренней силы, определяющей действие, что определяло их „культурную значимость“. Употребляя эти выражения, Мейе уточняет, что он понимает под ними. Повидимому, он предполагает, что все образования этого типа со значением имени действия обозначали некие мифологические субстанции, благодаря чему они и имели „культурную значимость“.

Этим самым Мейе дает чисто идеалистическую трактовку языковым фактам, выступающим как пережиток первичной конкретной субстанциальности значения „абстрактных имен,“ анализу которых Потебня посвятил третий том своих „Записок по русской грамматике“.¹ При исследовании подобных фактов вовсе нет необходимости прибегать, как это делает Мейе, к понятию мифической „внутренней силы“, в которой для древнего мышления, якобы, воплощаются понятия действия и качества. Общий характер древнего мышления сам по себе был таков, что абстрактные, с нашей точки зрения, категории, воспринимались им как конкретные субстанции.

Приведенные Мейе в качестве примеров *lux* „свет“ и *vox* „голос“ (так же как и многие другие подобные образования) должны были поэтому первоначально мыслиться, как вполне конкретные субстанции. На этой конкретной субстанциональности основаны разного рода мифические представле-

¹ См. специальную главу: „Первообразна ли отвлеченность в сущительном качестве? Стр. 16—25.

ния;¹ могло развиваться в тех или иных случаях религиозно-культовое значение. В частности, для приводимых Мейе примеров *lūx* и *vōx* засвидетельствован в известной мере религиозный оттенок значения. Так, санскр. *vāc f.* определяется как „речь, слово, наделенное магической силой“.²

Еще в большей степени это относится к слову *lūx*. Узенер отмечает роль, которую играет этот корень в образовании наименований греческих и римских божеств.³

Тем не менее было бы неправильно возводить все древние именные образования с абстрактным значением к неким мифическим субстанциям, находить в них значение „внутренней силы, определяющей действие“, с вытекающей из него „культовой значимостью“. Это означало бы возведение большей части словарного запаса индоевропейских языков к хаосу древних мифических представлений и притом без возможности построения реальной истории значений.

Выдвижение подобных точек зрения по частным, казалось бы, вопросам, полностью обнажает всю реакционность идеалистической методологии буржуазной науки.

¹ Напомню двойственность заглавий, которые Потебня дает третьему тому „Из записок по русской грамматике“: „на очереди у меня грамматическая работа, . . . носящая два заглавия: — для публики «Об изменении значения и заменах существительного», для меня «Об устранении в мышлении субстанций, ставших мнимыми», или «О борьбе мифического мышления с относительно научным в области грамматических категорий» по данным преимущественно русского языка» (автобиография А. А. Потебни, помещенная в „Истории русской этнографии“ А. Н. Пыпина, т. III, 1891, стр. 423). Потебня отмечает, что конкретно субстанциональное восприятие отвлеченных, с нашей точки зрения, понятий является делом совсем уж не такого отдаленного прошлого: „и ныне, — пишет он, — для огромного большинства несколько не метафорично изображение качества, как вещь, заключающей в себе (в собственном смысле, т. е. внутри себя) силу, которая тоже есть вещь, изгоняющей другое качество (т. е. вещь), например: хрънь есть мокрой и теплой природы (теплая натура — теплота), содержит в себе силу сидевую; кто его рано натще изопьет или ясть, тому придасть теплоты, а силою своею выгонит излишняя разная рѣчи (лѣчеби. XVIII в.). Сок хрену «пущать в ухо, то всю глухоту (вещь) выгоняет» (ib.). Редька белая . . . что запечется в сердце, в персях мягчить и своею горькостью прогоняет» (ib.). Качество — пространственно, входит и выходит, как болезнь (человекообразное сущ.): как «уксусъ зъ медомъ прикладать до больныхъ очей, то выйдетъ очная болезнь» (ib.); так «когда человекъ хоръ, разгорится, то до горячего тѣла прикладать, стовкшишкалярущу днѣпровой черепахи (холодной) и выгонитъ огонь» (ib.) (т. III, стр. 17—18). „Как ныне вр. простонародье говорит и думает, что иней это — самая лютость (мороза) и есть» (лють блестя иней, летающая по воздуху, Даль), так некогда думали о качестве ученые» там же, стр. 18).

² Ernout—Meillet, op. cit., стр. 1093.

³ H. Usener, Gotternamen. Bonn, 1896, стр. 198—216.

Возвращаясь к основному вопросу, можно сделать вывод о том, что для многих корневых имен с абстрактным значением имени действия эта абстрактность значения вовсе не была присуща изначально. И действие, и качество мыслились как конкретные субстанции; при этом действие, как таковое, и его носитель не мыслились расчлененно. Дифференциация их является продуктом позднейшего развития. Об этой первоначальной недифференцированности свидетельствует большинство корневых образований, особенно такие случаи, когда одно и то же имя может выступать и как имя действия, и как имя деятеля.

3

Если так наз. корневые или атематические имена относятся к тому же слою индоевропейской морфологии, что и так наз. атематические глаголы, то для тематических именных образований характерно то же построение основы, что и для тематических глаголов. Это единство построения проявляется в наличии одного и того же основообразующего форманта *о-е*.

Прежде чем перейти к рассмотрению интересующих нас именных образований, стоящих рядом с тематическими глаголами того же корня, следует отметить некоторые особенности группы тематических имен или имен с основой на *-о-* (тематический гласный) в целом. Основная черта, определяющая весь этот класс имен, это их чрезвычайная распространенность. Основы на *-о-*, наряду с параллельными именами в известной мере основами на *-а-*, являются наиболее употребительным типом имен во всех древних индоевропейских языках, как в качестве существительных, так и в качестве прилагательных. Кроме того, необходимо учитывать, что тематический гласный (*о-е*) входит также в состав целого ряда словообразовательных суффиксов вторичного происхождения.¹

К тому же, несмотря на глубокую древность тематического типа, он не потерял еще своей продуктивной силы и в исторические эпохи развития некоторых индоевропейских языков (так, в древнегреческом, санскрите и др.). В древнегреческом тематические основы представляют собой ведущий тип именного словообразования, распространяясь за счет других именных типов. Мы имеем целый ряд случаев замены древних корневых образований более новыми тема-

¹ Это относится также и к глагольным основам.

тическими. Как тип деривации существительных и прилагательных тематические имена в их различных суффиксальных вариантах играют ведущую роль в системе индоевропейского словообразования. И в то же время, само единство построения тематических именных основ с глагольными свидетельствует об их большой древности, указывая на те далекие эпохи, когда еще только оформлялась дифференциация категорий имени и глагола.

Поэтому, подходя к рассмотрению тематического класса именных образований, необходимо учитывать его хронологическую разнородность, наличие в нем целого ряда пластов, относящихся к различным эпохам, как историческим, так и доисторическим.

Эти два определяющих момента — чрезвычайная распространенность тематических имен и принадлежность их к различным в хронологическом отношении эпохам — чрезвычайно затрудняют семантический анализ этой именной группировки. Сравнительно четко выделяется только интересующий нас тип имен, связанных с глаголами; в остальном же семантика тематических имен, в силу своей широты и разнообразия, не поддается какому-либо определению. Шантрэн отмечает, что эта категория уже с „индоевропейской эпохи“ принимала в себя все типы имен различного происхождения. Основы на е-о, характеризующиеся своим огромным количеством и неопределенностью функции, представляли „удобный тип флексии“ и тяготели поэтому к расширению за счет других номинальных типов.¹

Все это свидетельствует о чрезвычайной важности и значимости тематического типа для системы именного словообразования в индоевропейских языках, несмотря на его семантическую неопределенность. В этой связи и к интересующему нас типу тематических имен, связанных с глаголами, мы должны подходить не только как к архаизму, уводящему нас к доисторическим эпохам в развитии имени и глагола, но и учитывать функциональную значимость этого типа в исторические эпохи, вплоть до новейших периодов (в частности, в русском языке).

Показательным для прогнорированности структурного единства индоевропейских языков является тот факт, что тематические именные образования, стоящие параллельно с глаголами того же корня, далеко не в равной мере представлены даже в древних индоевропейских языках. Так, например, латинский язык совершенно выпадает из рассмот-

¹ Formation des noms, стр. 14.

рения, потому что этот тип представлен в нем всего лишь несколькими словами. Своеобразную картину, значительно отклоняющуюся от „основного“ индоевропейского типа, мы встречаем и в германских языках.

Наиболее ярко семантический характер этой архаичной категории, в ее соотношении с соответствующими глаголами, выступает в древнегреческом языке, который и представляет основной материал для исследования данного вопроса.

В древнегреческом тематические именные образования, связанные с глаголами, подразделяются на две группы — *nomina actionis* и *nomina agentis*, причем категории эти формально дифференцируются с помощью характерного для каждого из них особого положения ударения. Имена действия (*nomina actionis*) имеют, как правило, ударение на корневом слоге — *trókhos* m. „бер“, *tómos* m. „разрез“, а имена деятеля (*nomina agentis*) на суффиксе — *trókhós* m. „колесо“ (собств. „бегущее“), *tomós* „режущий“ и т. д. Древность этой дифференциации подтверждается аналогичным соотношением в древнеиндийском языке: *kámaḥ* „любовь“ и *kaṁáḥ* „любящий“, *śókaḥ* „жара“ и *śokaḥ* „жгучий, горячий“ и т. д. Но в греческом это противопоставление, отсутствующее в большей части индоевропейских языков, наиболее ярко выражено.

Параллельно с тематическими образованиями подобного типа, имеющими всегда мужской род, стоят, тоже связанные с глаголами, имена женского рода с основой на *-ā-*: например. *tomé* f. „резание“, „сечение, разрез“, *phthorá* f., „уничтожение, порча“ — *phtéairo*, *arkhé* f. „начало“ *árkho*, *phygé* f. „бегство“ *pheúgo* и т. д. Но соотношение акцента здесь обратное. Если имена действия мужского рода с основой на *-o-* имеют, как правило, ударение на корневом слоге, то имена действия женского рода с основой на *-ā-* имеют ударение на суффиксе. Например, такие четкие пары, как: *tomphos* m. (один раз у Еврипида) и *tomphé* f. „порицание, упрек“, *ágoros* m. и *agorá* f. „собрание“ *rhóos* m. и *rhoé* f. „течение, поток“ и др. В то же время, основы на *-ā-* женского рода со значением *nomina agentis* в противоположность основам на *-o-* мужского рода, имеют ударение барионального типа: *harpágē* f. „крюк“ — *harpázo* „хватать“ (ср. *nomēn actionis harpagé* f. „похищение“), *platáge* f. „трещетка“ (ср. *nomēn actionis platagé* f. „шум“) и т. д. Бывает также и обратное соотношение, например *thérshē* f. „жар“.

Этот тип дифференциации значений с помощью различного положения ударения играет важную роль в греческом

языке.¹ Вандриес, детально анализируя соответствующие материалы, приходит к выводу, что акцентное противопоставление *nomina actionis* и *nomina agentis* подчиняется другому семантическому принципу — противопоставлению мужского и женского рода.²

Значение чередования ударения для греческого словообразования не ограничивается только именами, связанными с глаголами; на нем основывается также противопоставление существительных, в основе которых лежит значение качества, и соответствующих прилагательных, притом не только для имен на -ο- и -ᾱ-, но и для других типов: например, прилагат. *leukós* „белый“—существ. *leúkē f.* „белый тополь“, „проказа“, прилагат. *thermós* „жаркий“—существ. *thértmē f.* „жар“, прилагат. *kyanós* „темносиний“—существ. *kýanos m.* „синий камень“, „цветок“, прилагат. *bradýs* „поздний; медленный“—*to brády* „вечер“ и т. д.

Не останавливаясь специально на этом важном вопросе, имеющем самостоятельное значение, переходим к рассмотрению семантики именных образований, связанных с глаголами, но не производных от них, а параллельных.

Как уже было отмечено выше, мы имеем здесь дело с именами действия, (*nomina actionis*) и деятеля (*nomina agentis*). Значение имен действия, как мы увидим дальше, нередко носит конкретный характер; например, *hodós f.* „дорога, путь“—и конкретно и в значении действия (ср. этимологически соответствующее ст.-слав. *ходъ*).

Термин же „имя деятеля“ (*nomen agentis*) неточно передает содержание обозначаемой им категории, как справедливо указывает Шантрэн: «Мы будем говорить, как это делают все грамматики, об „именах деятеля“ („*noms d'agent*“). Но дело идет скорее об именах, выражающих активность субъекта довольно свободным образом: *thoós* „быстрый“ так же не „имя деятеля“, как и *ékγονος* „потомок“. Значение всех этих имен точно не определяется, но они всегда находятся в тесной связи с глагольным корнем. Иногда эти имена имеют пассивное значение: *dropós* означает не „обдирающий“, а „ободранный“, *loipós* не „оставляющий“, а „оставленный, остающийся“, *potós* не „разделяющий“, а „разделенный“».³

Повидимому, мы здесь имеем архаичные образования причастного типа, сохранившие следы древней залоговой

¹ Vendryes. *Traité d'accentuation grecque*. Paris, 1929, стр. 147—154.

² Vendryes. *Une loi d'accentuation grecque: l'opposition des genres* (Mém. d. Soc. d. Ling. d. Paris, т. XIII, 1905—1906, стр. 134).

³ Chantraine, там же, стр. 8.

нерасчлененности, выражающие наделенность субъекта тем или иным действием, как свойством, без уточнения характера отношения этого действия к субъекту. В то же время в большом числе случаев эти образования совершенно определенно имеют значение имени деятеля, особенно в качестве второго элемента сложных слов, первую часть которых составляют имена, играющие роль „объекта“, например, *doryphógos* „несущий копье“, сущ. „копьеносец“, *kepaυnóβios* „мечущий гром“, *arto-poíós m.* „делатель хлеба, хлебопек“ и т. д. В очень многих случаях *nomina agentis* этого типа не встречаются в изолированном виде, а только в составе сложных слов.

Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению некоторого количества тематических именных образований в их соотношении с соответствующими глаголами, надо учесть одно обстоятельство, несколько затемняющее четкость формальной дифференциации *nomina actionis* и так наз. *nomina agentis*, — это перемещение ударения с последнего слога на предпоследний в случае дактилической формы слова в сложных словах в связи с увеличением количества слогов. Однако в основном сложные слова, имеющие вторым элементом *nomina agentis* (так наз. *Rectionscomposita*), вполне отличимы от образований, включающих в себя имена действия.

Очень важным моментом в характеристике тематических имен, связанных с глаголами, является тот факт, что там, где корень допускает различные формы и ступени огласовки, в образованиях этого типа, как правило, выступает огласовка о, в глаголах характерная для архаичного перфекта (*leíro-léioira*, *phtheíro—éphthora* и т. д.). Это формальное обстоятельство намечает известную связь между именами этого типа, стоящими рядом с глаголами, и категорией перфекта. Связь эта нуждается в семантическом обосновании.¹

aeído „петь“ — рядом *nomina agentis* *aoidós m.* „певец“, прилагат. „поющий, певчий“.

aíro, ион. и поэт. *aeíro* „поднимать, возвышать“ — образование причастного типа *ároōs* „поднятый на воздух“.

ameíbo „менять“ — *argyū-amoibós m.* „меняла“ (в первой части дополнение — „серебро“) — причастное образование с активным значением — *nomina agentis*; изолированно прилагат. *amoibós* „сменяющий“ или „заменяющий кого-либо“; рядом имя действия с основой -ā- *amoibé f.* „перемена, обмен, замена“.

¹ См. попытку объяснения в моей статье „Каузативные глаголы“ (Ученые записки Филолог. факультета Ленингр. унив., т. 5, 1941).

arégo „помогать“ — причастного типа образование agogós „помогающий, спасительный, полезный“, существ. т. „помощник, заступник“, agōgo f. „помощь“.

bibrósko (перф. bébroka) „съедать, пожирать“ причастное образование borós „прожорливый“, diabóros „проедающий“, démo-bóros „пожирающий народ, мироед“ kreobóros „пожирающий (сырое) мясо“, также имя действия с основой -ā- bogá f. „пища, корм“ (нон. поэт. поздн.).

brémo „шуметь“ (только Praes. и Imperf.) — имя действия brómos т. „шум“.

déro „сдирать кожу, драть“ — dorós т. „кожаный мешок, бурдюк“. Мы здесь имеем образование причастного типа и несомненно с пассивным значением. Рядом dorá f. „содранная кожа“, вообще „кожа“.

ékho „иметь, держать“ (vékho, ср. русск. везу, лат. veho) — ókhos т. „все, что держит или носит что-либо“, обычно „вместилище, повозка“ (соотв. русск. воз). Исходное значение этого архаичного образования с трудом поддается определению. Скорее всего здесь причастное образование, хотя по типу ударения это должно быть имя действия. Характер активного причастия отчетливо выступает в следующих сложных образованиях: galé-okhos „объемлющий землю“ (эпитет Посейдона), aspidûkhos т. „щитоносец“, hení-okhos т. „державший вожжи, возница“, demûkhos „имеющий, держащий народ или страну, правитель“.

théo „бежать“ — причастное образование с активным значением в сложном бое-thóos „спешащий на крик в битву, на помощь“, изолированно thoós „быстрый, проворный“.

thréomai (только praes.) „сетовать, жалобно говорить“ — имя действия — thróos т. „крик, шум, молва“.

kópto (перф. kékorpha) „бить, ударять“ — имя действия kópos т. „удар, биение, усталость, слабость“, причастное образование с активным значением в составе сложных litho-kópos т. „каменотес“, argyro-kópos т. „сереброковач, серебряных дел мастер“. Рядом имя действия с основой на -ā-: koré f. „удар“.

légo в значении „собирать“ (перф. eilokha) — активное образование причастного типа в составе сложных: argyro-lógos т. „собирающий или взыскивающий деньги, дань (серебро)“, litho-lógos т. „собирающий или связывающий камни, каменщик“.

légo в значении „говорить“ — имя действия lógos т. „речь“, „слово“, причастное образование с активным значением в словах: kako-lógos „злословящий, бранящий“, arkhaio-lógos т. „рассказывающий или исследующий древности“ и др.

leíro (перф. léloíra) „оставлять“ — причастное образование с пассивным значением loíróс „остальной, оставшийся, оставленный“.

Гомер. teíromai (корень ter-, ср. лат. mereo, -or) — перф. 3 л. ед. émroge — „получать по жребию, в удел“ — móros m. „судьба“, „жребий“, повидимому, ближе всего стоит к имени действия; активное образование причастного типа в сложном гео-móros m. „получивший участок при разделе земли, землевладелец“, вообще „богатый, знатный“; рядом móra f. „часть, доля“.

kséo „обтесывать“ — образование причастного типа с активным значением в сложных: litho-ksóos m. „каменотес“, dory-ksóos „обтесывающий древко копья“.

óllūmi „губить, терять, лишаться“ — образование причастного типа oloós „гибельный, пагубный, вредный, погибший“ (залоговая неопределенность характерна здесь как для глагола, так и для имени).

rémpo „посылать, провожать“ — причастное rompós „провожающий, сопровождающий“, „спутник“ psykhorompós „провожающий души“ (Гермес Харон) и т. д. Рядом имя действия с основой на -ā-: rompé f. „послание, отправление, доставка, провожание“ и др.

répomai „трудиться, страдать“ — имя действия rónos m. „труд, работа, страдание“, причастное образование в сложном dory-rónos „работающий копьем, воинственный“.

reíro „прокалывать, прорезать, переплывать волны“ — имя действия rógos m. „переправа, пролив“, вообще „путь, дорога и „средство“ и др., причастные образования: akro-rógos „остропронзающий, остроконечный“ aerorógos „по воздуху проходящий, летающий“, с пассивным значением (возможно развитие из поссесивных композитов): dýs-porog „непроходимый“, á-porog „безвыходный“.

pléo „плыть“ — имя действия ploos m. „плавание“, также с приставками peri-ploos „плавание кругом, объезд“, diáploos m. „переправа“, katá-ploos m. „причаливание“ и др.

rhéo „течь“ — имя действия rhóos m. „течение, поток“, также с основой -ā-: rhoé f. то же самое. В сочетаниях arsó-rhóos „текущий назад“ и bathý-rhóos „глубоко текущий“ (эп. поэт.) второй элемент может иметь двоякое истолкование: и как образование причастного типа и как имя действия, в составе поссесивных композитов (имеющий глубокое течение).

rhémbo, rhémbomai „кружиться“ — rhómbos m. „всякое круглое или кружащееся тело, кубарь, ромб“. По положению ударения это должно быть именем действия. Но по ха-

актеру значения мы скорее можем думать об образовании причастного типа.

sképtomai „смотреть“—nomen agentis skorós m. „наблюдатель, надсмотрщик, страж“. Это же причастное образование может иметь и пассивное значение—„цель“. В составе сложных с активным значением: oíono-skópos m. „наблюдающий полет птиц, птицегадатель“, broto-skópos m. „наблюдающий за смертными“, pró-skopos m. „предусматривающий“, „разведчик“, epí-skopos m. „наблюдатель, страж“. Имя действия с основой -ā-: skorē f. „наблюдение, соглядатайство; возвышенное место для наблюдения, сторожевая башня“.

speiro „сеять“—имя действия spóros m. „сеяние, посев“; то же с основой на ā: sporá f. Образование á-sporos „незасеянный“ имеет пассивное значение.

stéllō „ставить, снаряжать, посылать“ — имя действия stólos m. „снаряжение в путь, поход“. Причастные образования: apó-stolos „посланец, посол“, homó-stolos „вместе идущий, спутник“. Приставочные имена действия на -ā-: apostolē f. „отправление, посылка“, diastolē f. „разделение, разрез“ и т. д.

stréphō (перф. 2. éstrophā) „вращать, кружить, поворачивать“—имя результата действия stróphos m. „веревка, канат“, собств. „крученное“. Несмотря на характерное для имени действия положение ударения, образование носит скорее причастный характер. Причастное образование с активным значением в сложных: aspidē-stróphos „вращающий, вооруженный щитом“: amphí-strophos „на две стороны поворачивающийся, подвижный“ и др. Имя действия на -ā-: strophē f. „кружение, обращение, поворот“.

témno „резать, рубить“—имя действия tómos m. „разрез, сечение“; причастное образование с активным значением tomós „режущий, острый“, в составе сложных: dry-tómos m. „дровосек“, amphí-tomos „обоюдоострый“; с пассивным значением: apó-tomos „отрезанный, крутой, обрывистый“, á-tomos, „нерезанный, некошенный“ и др. Имя действия с основой на -ā-: tomē f. „резание, сечение, разрез, удар, отрезок“ и др.

teíno „тянуть, натягивать“—имя действия tópos m. „натягивание, напряжение“; оно же имеет значение и результата действия—„натянутое, канат, веревка“, чем выявляет в известной мере причастный характер. Эта двойственность значения, характерная для многих образований этого типа,

неслучайна: она отражает древнюю недифференцированность этих значений.

trémo „дрожать“—имя действия trómos m. „дрожь“, страх.

trépō „поворачивать“—имя действия trópos m. „поворот, оборот“; помен agentis trópōs m. „ремень, которым привязывают весла к борту корабля или к уключинам („поворачивающий“). Имя действия на -ā-: trópē f. „поворот“. Также образования с приставками.

trékho „бежать“—имя действия trókhos m. „бег, ристалище“, образование причастного типа trokhós m. „колесо, круг“, собств. „бегущий“.

phébotai „бояться, бежать в страхе“—имя действия rhóbos m. „страх, ужас, боязнь“.

phéro „нести“ и т. д.—имя действия со специализированным значением: rhógos m. „подать, дань“. Собственно говоря, здесь, несмотря на характерную для имени действия постановку ударения, мы имеем образование, семантически стоящее ближе к причастию с пассивным значением—„несомое“. Опять-таки мы здесь встречаемся с известной двойственностью значения, отражающей древнюю недифференцированность. Значение имени действия, как такового, в этом случае, повидимому, утеряно. Рядом мы имеем причастное образование с активным значением—phorós „несущий“; так же в составе многочисленных сложных aspide-phógos „щитоносный“, dasmo-phógos „платящий дань“ и т. д., более древних, чем простое phorós, появляющееся только в койнэ. Также имя действия с основой на -ā- phorá f. „несение, ноша, тяжесть, платеж“.

phérbō „питать, кормить, пасти“—причастное образование с активным значением в составе сложных: bu-phorbós „кормящий быков“, opo-phorbós m. „пастух ослов“, hippo-phorbós m. „коннозаводчик“. Имя действия на -ā- phorbē f. „корм, пища“.

khéo „лить, сыпать“—имя действия со специализированными значениями khûs m. (←khóos) „кружка, мера жидкостей“ и „насыпь“, „земля, вырытая и выброшенная из рва“. Здесь тоже значение приближается к причастию с пассивным оттенком. Причастное образование с активным значением в сложных: oino-khóos m. „виночерпий“, khryso-khóos m. „золотых дел мастер“. Имя действия с основой на -ā-: khoē f. „возлияние“.

pségo „порицать, хулить“—имя действия psógos m. „порицание, хула“.

Все эти образования, стоящие рядом с глаголами и имеющие огласовку -о-, соответствующую огласовке так наз.

2-го перфекта (там, где он представлен), относятся к древнему слою греческой морфологии. „Большинство из них,—отмечает Шантрен,—наличествуют уже в языке Гомера и сомнительно, чтобы греческий образовывал новые в историческую эпоху“.¹

Имена действия с огласовкой -о- во многих случаях являются основой образования глаголов вторичного типа с итеративным, а также иногда и каузативным значением.² Так, например, от *phóros* образовано *phoréo* „ношу“ от *trómos*—*troméo* „дрожу“, от *brómos* т.—*broméo* „шумлю“, от *phóbos* т.—*phobéo* „пугаю“ и т. д.³ Таким образом, мы имеем как бы единый морфологический ряд, состоящий из первичного глагола, имени действия и производного глагола.

В целом ряде случаев, при наличии имени действия и производного от него глагола вторичного образования, отсутствует первичный глагол. Этим самым как бы ставится под вопрос глагольный характер соответствующих имен. Однако семантика и форма (тематическая основа с огласовкой -о- и ударением на корневом слоге), а также морфологическая функция, выражающаяся в образовании от них производных глаголов определенного типа, позволяют предполагать и здесь архаичные имена действия. Соответствующие первичные глаголы могли быть утеряны, а могли и вовсе не существовать, так как не во всех конкретных случаях должна была иметь место дифференциация именных и глагольных основ. Некоторое количество имен, потенциально заключающих в себе глагольный характер значения, могло сохраниться от эпохи древней недифференцированности категорий глагола и имени без того, чтобы рядом с ними образовались глагольные формы, точно так же как далеко не все первичные глаголы сохранили рядом с собою различные именные основы со значением действия.

Так, например, не имеют рядом с собой первичных глаголов следующие образования: *rhóthos* т. „шум“ (особенно волн)—*rhothéo* „шуметь“, *phthónos* т. „зависть“—*phthonéo* „завидовать“ *psóphos* т. „шум, стук“—*psophéo* „шуметь, стучать“; *mógos* т. „труд, напряжение“—*mogéo* „трудиться“, „уставать“, *klónos* т. „давка, смятение“—*klonéo* „теснить, гнать“, *goós* т. „рыдание“ *goáo* „рыдать“ и др.

¹ Chantraine, там же, стр. 11. Конечно, это не относится к сложным словам, которые по существующим типам образовывались во все эпохи.

² См. мою статью „Каузативные глаголы“ (Ученые записки Филолог. факультета Ленингр. унив., т. V).

³ Аналогичную картину мы имеем в других индоевропейских языках, так в русском (*воз*—*возить*, *звон*—*звонить*, *ход*—*ходить*, и т. д.) в санскрите, германских яз. (см. указанную статью автора).

Наряду с основным типом архаичных именных образований со значением действия и деятеля, характеризующихся огласовкой -о-, соответствующей огласовке второго перфекта существует некоторое количество имен с другими огласовками, стоящих рядом с первичными глаголами, например: *aithō* „зажигать, гореть“ — имя действия *aithos m.* „жар, огонь“, *ágō* „вести“ и т. д. — имя деятеля *agós m.* „полководец“. Так же в сложных: *strategós m.* и др.

В тех случаях, когда основа настоящего времени глагола (длительный вид) образуется с помощью добавочных суффиксов, соответствующие именные образования имеют обычно чистую основу, совпадающую с основой 2-го аориста.

Аор. *éphagōn, phagein* „есть“ — причастное образование в сложных *andro-phágos, anthro-po-phágos* „людоед“; *balane-phágos* „питающийся желудями“; *phágos m.* „обжора“ (Нов. Зав.), имеет ударение, характерное для имени действия.

Iambáno аор. *élabon* „брать“ — причастное образование в сложных *ergo-lábos* „берущий работу за плату, подрядчик“ и др. Имя действия с основой на -ā-: *labe f.* „схватка, взятие, получение; рукоятка“.

phaíno, кор. *phan-* (пасс. аор. *ephánen*) „светить, показывать“ — имя деятеля (причастное образование) *phanós m.* „факел, светоч“, прилаг. „светлый ясный“.

týpto „бить, ударять“, аор. 2. *éturon* — имя действия, *týpos m.* „удар“.

teýkho, аор. 2 эп. *tétykon* „строить, сооружать“ — *týkos m.* „каменотесное орудие, молот, резец, секира“ — повидимому причастное образование.

kýpto „наклоняться, нагибаться“ — причастное образование *kyphós* „сгорбленный“.

tribo „тереть“ — *tribos f. m.* „протоптанная дорога, тропа, улица“. Повидимому причастное образование.

steibo „топтать“ — *stibos m.* „утоптанная дорожка, тропинка“. Тоже причастного типа.

Тематические имена со значением действия и деятеля, стоящие рядом с первичными глаголами и унаследованные от доисторических периодов развития индоевропейских языков, в исторические эпохи играли большую роль в морфологической системе греческого языка. Несмотря на древность своего происхождения, тип этот не воспринимался как архаизм и поэтому мог быть использован для деривации имен от глаголов.¹ В качестве таких более поздних дериватов отмечаются *histós m.* „мачта“, ткацкий станок“ от *histemi*—

¹ Аналогичную картину мы встречаем в русском яз. см. ниже.

thállōsm. „молодая ветвь, отпрыск“ от thállō „цвести“ и др.¹

Сходство с типом, засвидетельствованным в древнегреческом языке, обнаруживают тематические именные образования, связанные с глаголами, в славянских языках, в частности в русском.

Правда, вокалические основообразующие суффиксы и, в том числе, тематический гласный -о-, уже с давних пор подвергаются в славянских языках постепенной редукции и этим самым затемняется морфологическое строение древних именных основ. Не отмечается в связи с этим и засвидетельствованного в древнегреческом и древнеиндийском языках чередования ударения, служившего для дифференциации имен действия (nomina actionis) и образований причастного типа (nomina agentis). Однако, несмотря на это, интересующий нас тип имен, стоящих рядом с первичными глаголами, сохраняется с чрезвычайной четкостью; особенно это относится к именам, имеющим ту же, что в греческом, огласовку -о-, при глаголах с огласовкой -е- в настоящем времени — ср. греч. ékhō—ókhios (vokhos) и русск. *везу*—*воз*. Выше мы видели, что в греческом языке такая огласовка этих именных образований соответствует огласовке архаичного перфекта, отсутствующего в славянских языках. Но отсутствие его не снимает вопроса о связи этого типа имен, тождественного в греческом и славянском языках, с категорией перфекта.

В славянских языках мы также находим два основных значения для тематических имен, связанных с глаголами. Это имена действия и образования причастного типа (nomina agentis); последние выступают преимущественно в качестве второго элемента сложных слов, но встречаются и самостоятельно — см. два значения др.-русс. *трус* (*тржсь*): 1) „робкий человек“, собств. „трясущийся“—(nomen agentis) и 2) „трясение, землетрясение, страх“.²

Детальный анализ интересующих нас тематических образований (как с огласовкой -о-, так и с другими огласовками) в древнерусском и русском языках, в их значении и употреблении, мы находим в третьем томе исследования Потемкина.³ Нет надобности повторять его. Напомню только о роли, которую играют в современном русском языке имена действия типа: *ход*, *лов*, *звон*, *лог*, *брод*, *лом* (последнее так же, как *помен agentis* в значении инструмента), *гром*, *трк*, *мор*, *воз*, *стон* и др.; также с приставками: *ввод*,

¹ Chantraine, стр. 18.

² А. А. Потемкин. Из записок по русской грамматике, т. III. 1899, стр. 112.

³ Там же, стр. 101—128

вывод, привод, увод, взвод, отвод; надзор, обзор, дозор, выбор, прибор, убор, недобор, набор, перебор, заход, приход, уход, вход, исток, приток и т. д. Сложные слова, вторым элементом которых является тематическое образование причастного типа, или имя действия, а первый элемент играет или объектную роль, или определительную: *водонос, свинопас, ледоход, мореход, скороход, пароход, мордобой, садовод, бурелом, мухомор, костолом, водоной, водосбор* и т. д. Каждое из этих образований может быть сравнительно нового происхождения. Но как тип, это словообразование имеет очень большую древность, соответствуя аналогичным построениям древнегреческого и санскритского языков и уходя своими корнями в далекие эпохи выработки категорий имени и глагола.

Несмотря на древность своего происхождения и утерю самого принципа тематического построения основ, интересующий нас тип приглагольных имен сохраняет свою жизнеспособность и в современном русском языке. Благодаря полной утрате всяких следов тематического суффикса, имена эти воспринимаются в настоящее время, как своего рода „корневые образования“, что облегчает новотворчество в этой области. Особенно это проявляется в построении сложных слов, второй член которых представляет глагольную основу в чистом виде, со значением, чаще всего, но не исключительно, имени деятеля. Любопытно, что эти образования имеют широкое применение в языке техники, где, наряду с наполнением новым содержанием таких старинных слов, как *самолет*, мы встречаем целые серии новых слов, построенных по тому же типу: *паровоз, электровоз, пароход, теплоход, пулемет, миномет, огнемет, шагомер, глазомер, водомер, громоотвод, пылесос* и т. д.

Мы видим, таким образом, как очень древний тип словосложения, сохраняющий, кроме архаичного характера своего конечного элемента, пережиточную недифференцированность объектно-определятельных отношений (падежная неформленность первого элемента), получает широкое использование в новейшие периоды языкового развития, как удобный способ построения и обозначения сложных понятий.

В то же время тематические имена действия типа *ход, звон, стон, гром, брод, воз*, и сложные образования типа *водонос, скороход* и др. сохраняют свою старую грамматическую семантику, совпадающую с семантикой аналогичных образований в других индоевропейских языках.

Видовая характеристика этих имен в русском языке, сделанная Потембей, в их сравнении с отглагольными существительными на *-ние, -тие*, вскрывает семантику всего

древнего типа тематических имен, связанных с глаголами. Большой частью, — пишет Потебня, — большая отвлеченность имен -ние, -тие совпадает с их большею длительностью и меньшей определенностью, законченностью; большая конкретность именит. -ъ с их однократностью, которая, в отличие от однократности глагола, не есть непременно мгновенность; таким образом, „услышать крик, свист, писк, звон, рев, зов, призыв, оклик“ — может быть один, хотя бы и протяжный; кричание, вытье продолжительное. Таким образом, взгляд и гляđenje, взглядывание, выстрел (Schuss) и стрельание — *schiessen*; чехъ, вздохъ и чиханье...“¹

В этом видовом характере тематических имен, со значением действия в его определенности, конкретности, надо искать связей их с категорией архаичного перфекта, существовавшего в ряде древних индоевропейских языков. Поскольку перфект обозначал состояние в его завершенности, определенности, то этим намечается связь не только с видовым значением соответствующих именных образований, но и с их залоговой неопределенностью, которая выражается как в двойственности их значения (имена действия и деятеля), так и в трудности разграничения этих значений в целом ряде случаев (явление, с которым мы неоднократно встречались при анализе греческого материала).

Непосредственная морфологическая взаимозависимость древнего перфекта на -о- с соответствующими тематическими именами неясна и пока трудно нащупать пути для конкретной постановки этого вопроса. Но семантическая связь двух этих категорий несомненна и обнаруживается в их залоговой и видовой специфике.

Мы подошли к вопросу о первоначальном значении древних именных образований, выражающих действие в широком смысле этого слова (включая сюда и понятие состояния). Анализ семантики корневых имен, связанных с глаголами, показал, что значения типа *nomina actionis* и значения образований причастного типа (*nomina agentis*) — с активным и пассивным оттенками — не всегда достаточно четко различаются. В ряде случаев мы встречаемся с двойственностью значения; иногда же бывает трудно определить, с какого рода значением мы вообще имеем дело.

Выше уже указывалось, что эта неопределенность значения отражает, повидимому, древнее состояние, предшествовавшее дифференциации на имя действия, как таковое и на образования причастного характера. Корневые основы, как один из наиболее архаичных номинальных типов, в

¹ Из записок по русской грамматике, т. III, стр. 120.

наибольшей мере сохранили следы этого древнего состояния. По сравнению с ними тематические основы обнаруживают гораздо большую четкость как в семантическом, так и в морфологическом отношении, используя чередование ударения как средство дифференциации двух основных значений — имени действия и деятеля.

Но и здесь нет полной ясности. Двойственность или неопределенность залогового значения нередко выявляют образования причастного типа (например, с активным значением: *aero-póros* „по воздуху проходящий, летающий“ и с пассивным — *dýs-póros* „непроходимый“; *loirós* „оставшийся“ или „оставленный“). Все это отражает залоговую неопределенность и нерасчлененность самого выражаемого действия: «Индоевропейский глагол, — пишет Мейе, — не является сам по себе ни переходным, ни непереходным, и относящиеся к нему глагольные основы допускают оба эти значения: греч. *ékho* означает „держу, имею“, но также и „держусь, имеюсь“, в *kakós ékho* т. „мне плохо“, *rhégo* означает „несу“, но *diaphéro* „различаюсь“ (букв. „несу себя различно“) то же лат. *fero* и *différo*».¹

Таким образом, залоговая неопределенность архаичных образований причастного типа коренится в самом характере выражаемого ими действия, в большей или меньшей степени допускающего уточнение в ту или иную сторону.

В связи с корневыми именами перед нами уже вставал вопрос о том, какое значение является первичным: имени действия или имени деятеля (в широком смысле этого слова, т. е. с неопределенной, залоговой характеристикой). Этот вопрос можно ставить одновременно и для корневых и для тематических имен, связанных с глаголами, потому что, несмотря на свои морфологические различия и несмотря на большую семантическую прозрачность тематического типа, и те и другие представляют собой явления одного и того же порядка.

Хотя и относясь, повидимому, к различным в хронологическом отношении слоям индоевропейской морфологии, и те и другие могут рассматриваться как пережитки тех доисторических эпох, в которые происходило оформление категорий имени и глагола в их взаимоотноственности. Они восходят к тем древним „именам“, которые потенциально заключали в себе элементы значения будущих глаголов.

Предупреждая возможное возражение, спешим заметить, что, выдвигая понятие значения „действия“ как исходного для ряда именных образований, мы вовсе не становимся на

¹ А. Мейе, Введение, стр. 213.

точку зрения первоначальной „глагольности“ корней. И прежде всего потому, что период, к которому восходят соответствующие именные образования и, следовательно, относится процесс оформления категории глагола в индоевропейских языках, далеко не являлся „примитивным“ периодом языкового, развития. Стадиально аналогичное состояние мы находим в целом ряде существующих в настоящее время языков, не выработавших еще в полной мере дифференциации частей речи, но тем не менее никак не заслуживающих названия „примитивных“.¹

В то время как глагол, характеризуемый прежде всего присутствием личных форм, составляющих его специфику, как части речи, может быть еще не выработан, особый вид именных предикатов, со значением действия, т. е. потенциально заключающий в себе элементы будущей „глагольности“, может уже существовать, как особая категория. К такому состоянию и восходят пережиточно архаичные по своему морфологическому типу именные образования, сохранившие значение действия и дошедшие до нас рядом с соответствующими глаголами.

Кроме того, для тех периодов была несомненно в значительной мере характерна конкретная субстанциональность значений действия и качества, вскрываемая Потебней и в языке гораздо более поздних эпох.²

В отношении первоначального значения архаичных именных образований со значением действия Потебня решительно настаивает на их причастном характере. При этом он уточняет значение „первообразного причастия“, подчеркивая его субстанциональный характер: „первообразное причастие, т. е. то, из которого выделилось позднейшее причастие—прилагательное, было причастие—существительное, слово с определенной субстанцией и признаком, производимым ею, *poen agentis*“.³

Исходя из того, что имя деятеля (*poen agentis*) обладает, по его мнению, наибольшей субстанциональностью, Потебня утверждает, что первобытное существительное представляло собой „имя действующего лица *poen. agentis*“, „прочие же разряды существительного, именно имена орудия (*p. instrumenti*), действия (*p. actionis*), произведения (*p. acti*), места и времени (*p. loci*) нужно считать производными“.⁴

¹ См. И. И. Мещанинов. Общее языкознание. Гл. „Предикат и глагол“. Л. 1940.

² А. А. Потебня, там же. т. III, стр. 16 и сл.

³ Там же, стр. 102.

⁴ Там же.

Справедливо настаивая на первичной субстанциональности абстрактных понятий, Поттебня, однако, слишком сужает значение рассматриваемых нами архаичных именных образований, сводя его к значению *poten agentis*, как исходному. Между тем, именно в силу своей субстанциональности, именное образование со значением „действия“ в широком смысле этого слова, могло выступать не только в предикативном употреблении, но и в других функциях и поэтому его содержание не исчерпывалось значением „первообразного причастия“. Значение „имени действия“ широко засвидетельствовано для имен этого типа, наряду с причастными значениями типа *poten agentis* и *poten acti*. Нерасчлененность этих трех значений и составляет первичную характеристику архаичных именных образований с „глагольным“ значением. Следы этой первоначальной недифференцированности мы наблюдали при анализе соответствующих корневых и тематических имен.

Еще больше сужает значение этого древнего именного типа Якоби, со своей антиисторической теорией „релятивных причастий“, основанной на перенесении в прошлое своеобразных функций словосложения в классическом санскрите.¹

Дошедший до нас архаичный тип имен с „глагольным“ значением дает возможность судить о семантическом характере доисторических именных образований, послуживших основой для оформления категории глагола, в его противопоставлении имени, как таковому. Однако нельзя забывать о том, что эти имена выступают перед нами не в качестве чистых основ, а в определенном, характерном для категории имени вообще, оформлении. Падежные формы составляют в древних индоевропейских языках морфологическую специфику имени, как такового, противостоящего глаголу с его системой личных окончаний. „Именное“ прошлое индоевропейских глагольных основ отделено от нас длительными периодами выработки флективной морфологии. Поэтому мы не вправе отождествлять анализируемый нами тип именных образований с теми „первообразными именами“, которые послужили основанием для выработки категории глагола.

В исторические периоды архаичные по своему происхождению имена, стоящие рядом с глаголами и выражающие те или иные оттенки глагольного действия, занимают определенное место в системе именного словообразования, как

¹ H. Jacobi, *Compositum und Nebensatz*. Bonn, 1897.

особый тип имен с абстрактным значением. Они не представляют тип „первообразных имен“, как таковой, а являются лишь пережитками этого типа, нашедшими себе место в морфологической системе более поздних периодов. С этой точки зрения они и должны рассматриваться.

К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИИ ВИДА В ЯЗЫКЕ
ФРАНЦУЗСКОГО НАРОДНОГО ЭПОСА

Доц. Е. А. Реферовская

Стоя на точке зрения нового учения о языке, представители советской лингвистики считают, что язык и мышление представляют собой неразрывное диалектическое единство, и руководствуются положением, сформулированным Н. Я. Марром в следующих словах: „... и у нас есть сравнительная грамматика, но она учитывает не одну формальную сторону и идет потому от слов, значимостей слов, семантики...“¹

Большинство западноевропейских лингвистов ограничивается описанием внешней истории языковых форм, не пытаясь вскрывать их содержания, находить причины, двигающие развитие. Будучи далеки от того, чтобы отводить функциональной семантике слов и грамматических форм надлежащее ей место, они неизбежно приходят к объяснению наблюдаемых изменений внешними причинами — причинами фонетическими и аналогией (школа младограмматиков).

Формальный подход к изучению истории сложного перфекта, да и вообще к применению глагольных форм в языке древней Франции, выражается в том, что ряд западноевропейских ученых (Брюно, Фулэ, Фосслер), говорят о якобы царящем в старофранцузском языке беспорядке в отношении употребления форм настоящего времени, простого и сложного перфектов и отчасти имперфекта.

Нельзя допустить, как это делают буржуазные лингвисты, чтобы в языке, к какой бы эпохе он ни относился, действительно существовал беспорядок. Ведь он должен был бы, грубо говоря, отражать такой же беспорядок в идеях. Не является ли этот кажущийся беспорядок в языке скорее своеобразным порядком, ключ к которому

¹ Избранные сочинения, т. II, стр. 401.

надо только отыскать, чтобы положение стало ясным? Таким ключом является оценка значения сложного перфекта (первоначально глагола с предикативом) как формальной видовой категории. В качестве способа выражения „результативного вида“ сложный перфект естественно отграничивается от простого перфекта, становящегося на некотором этапе исключительно аористической формой, превратившейся в чистый претерит. При таком разграничении функций окажется понятным, как обе эти формы применяются для выражения различных оттенков в характере обозначаемого ими действия. Выяснится также и логика постоянного чередования сложного перфекта с презенсом во французском языке древнего периода.

Обозначая то или иное действие, глагол вместе с тем может выражать и характер этого действия, указание на который заключается в самом его значении и не имеет никаких формальных способов обозначения. Так, глагол *trouver* — совершенного вида или „терминативный“, он выражает достижение некоей конечной цели, заключающейся в нахождении искомого; предел действия заложен в самом значении этого глагола, подобно глаголам *jeter*, *fermer*, *apercevoir*, *finir*, *quitter* и т. п. Напротив, значение глаголов *admirer*, *méditer*, *aimer*, *chercher*, *marcher*, *contenir*, *dormir* и т. д. подчеркивает незаконченность, „курсивность“ соответствующего действия, отсутствие подразумеваемого значением глагола предела действия, достижение которого являлось бы для него естественным завершением.

При этом глаголы терминативные и курсивные, помимо основного своего значения законченности и незаконченности действия, могут еще иметь некоторые весьма отчетливо выраженные оттенки, связанные с понятием времени. Так, глаголы терминативные могут выражать мгновенные действия, в которых момент начала и конца действия непременно совпадают во времени. К подобным „мгновенным“ действиям относятся: *frapper*, *partir*, *se rendre*, *apparaître* и т. п. В понятие, выраженное терминативным глаголом, помимо мгновенного действия, может включаться представление о некотором „состоянии“, предшествующем этому мгновению достижения цели: *aboutir*, *atteindre*, *mourir*; эти действия, благодаря тесному сплетению представлений предварительного состояния, подводящего к моменту действия, и самого этого действия, теряют свою абсолютную „мгновенность“. Равным образом, представление о действии мгновенном, выражающем достижение цели, может быть и очень часто бывает неразрывно связано с представлением о состоянии, являющемся результатом этого дей-

ствия: *apprendre, s'asseoir, tomber, entrer, éclore*; в этих глаголах момент завершения действия является моментом начала естественно вытекающего из этого действия состояния. Такие глаголы имеют отчетливый „результативный“ оттенок.

Курсивные глаголы выражают действие в его незавершенном развитии, такое, которое не предполагает достижения включаемой в его представление цели, никакой естественной границы: *adorer, tenir, regarder, demeurer, estimer, habiter, marcher* и т. п. — в этих глаголах подчеркивается „длительный“ характер действия. Кроме того, курсивные глаголы могут обозначать действие, состоящее из ряда отдельных повторных действий, которые представляют в общем единое целое; таковы глаголы: *bombarder, battre, semer*. Эти глаголы носят „итеративный“ характер. Каждое из отдельных составляющих действий является законченным, но сумма их представляет некоторое длительное целое, которое можно рассматривать как единое действие. Итеративные глаголы оказываются как бы переходом от терминативности к курсивности.

Свойственный глаголам характер вида не всегда одинаково отчетлив. В ряде случаев видовой характер действия выступает лишь под влиянием контекста. Больше того, глагол терминативный может в условиях контекста терять характер законченности действия, т. е. принимать оттенок курсивности, и наоборот. Возможность отнесения глагола к тому или иному виду, в зависимости от контекста, легко проследить на таком факте: курсивный глагол склоняется к терминативности в том случае, если в предложении в виде дополнения указана цель, являющаяся предельно выраженного глаголом действия.

Понятно, что при этом происходит: так как характерной особенностью терминативных глаголов является их „целестремленность“, то в случае если курсивный глагол по значению своему допускает направленность действия к определенной цели, указания на наличие такой цели может оказаться достаточно для того, чтобы придать глаголу терминативный характер.

Существуют и внешние формы выражения характера действия, обозначаемого данным глаголом. Так, перфективирующая роль приставок известна для всех языков и не раз отмечалась в специальной литературе. Курсивный по смыслу глагол, будучи снабжен приставкой, может превратиться в терминативный, так, например: *porter—apporter, mener—emmener, dormir—s'endormir*.

Интересно отметить, что вид глагола отражается на зна-

нии соответствующих отглагольных существительных.¹ Существительные, образованные от курсивных глаголов, означают действие: fuire—la fuite; choir—la chute. Существительные, соответствующие результивным глаголам имеют значение результата действия: perdre—la perte; rompre—la rupture; prendre—la prise.

Видовое различие глаголов также отчетливо ощущается в значении производимых от них причастий (так наз. „причастий прошедшего времени“). Аналогично тому, что мы видим в латинском языке, временная отнесенность этих причастий определяется во французском языке „видом“ соответствующего глагола. Так, причастия глаголов курсивных, напр. craindre, admirer, adorer имеют значение страдательного залога, но относятся к настоящему времени: l'homme admiré, l'homme craint. Это отнесение к настоящему времени определяется тем, что причастие курсивного глагола, не предполагающего достижения цели, являющегося описанием процесса действия вне его временной ограниченности, не выражает законченного результата действия и, следовательно, не может быть отнесено в прошедшее. С другой стороны, помимо неопределенного наклонения, форма „настоящего времени“ больше всего способна выражать действие „вне“ понятия времени, — действия, не связываемого ни с каким определенным периодом времени. Отсюда и презентативное значение причастий курсивных глаголов. Причастия курсивных непереходных глаголов отличаются от переходных только „активностью“ — принадлежностью к действительному залогу: ст.-фр. osé, enparlé. Но причастия курсивных интранзитивных глаголов по своему значению должны совпасть с причастиями настоящего времени, имеющими свою особую форму на -ant. Таким образом, дублируя другую, имеющую прочное место в языке, форму, причастия курсивные и непереходные не получают большого распространения, по крайней мере в качестве прилагательных. Рассматривая эту же категорию слов в немецком языке, Г. Пауль говорит о том, что от непереходных глаголов курсивные причастия в атрибутивной функции совсем не употреблялись, так как они имели бы то же самое значение, что и причастие настоящего времени, то есть представляли бы собой совершенно излишнее образование.²

¹ Romberg. L'idée de la durée par rapport aux verbes et aux substantifs verbaux en français moderne. Göteborg, 1899.

² H. Paul. Die Umschreibung des Perfectums im Deutschen mit haben und sein. (Abh. d. I. Kl. d. K. Ak. d. Wiss. XXI Bd. I Abt. München, 1905, стр. 165).

Напротив, терминативные глаголы, непереходные и переходные, дают причастия прошедшего времени соответственно активного и пассивного характера. Законченность действия, свойственная глаголу, легко ассоциируется с представлением о прошедшем времени, которое, в конце концов, приведет к полному вытеснению понятия „вида“: так, причастия глаголов *perdre*, *prendre*, *tuer*, *attrapper* отличаются от причастий глаголов *aller*, *passer*, *venir*, *partir* только своей пассивностью: *la ville prise* — *le temps passé*, *l'homme tué* — *l'homme venu*.

Категория вида, как семантическая единица, во французском языке существует и по настоящее время, хотя она затемнена чрезвычайно развитыми формами выражения временных оттенков.

Таким образом, „вид“ глагола представляет собой семантическую категорию (так как он неразрывно связан со значением глагола). Всякий глагол может быть с большей или меньшей четкостью отнесен (иногда, правда, лишь для данного контекста) к тому или иному „виду“, определяемому характером самого действия. Но, с другой стороны, каждый глагол имеет целый ряд так наз. „временных форм“. В современном французском языке эти формы, помимо собственного каждой из них временного значения, служат также средством для выражения некоторых особых побочных обстоятельств или характеристик действия. Так, формы „предпрошедшие“ и „предбудущие“ не только говорят о том, что действие совершилось в прошедшем или ожидается в будущем, но также и то, что оно находится в известной временной связи с другим действием. Связь эта выражается или предшествованием или следованием одного события по отношению к другому. Так же точно и „*passé simple*“, и „*imparfait*“ выражают прошедшие действия, т. е. имеют общий „временной“ характер, но между значением их существует весьма заметная разница. При одном времени¹ они выражают различные точки зрения на действие. В то время как „*passé simple*“ констатирует прошедшее событие, называя действия или во всей совокупности моментов его развития (начало, продолжение, конец для глаголов терминативных), или с упором на момент начала (для глаголов курсивных) или конца, *imparfait* „изображает“ действие, не выделяя особенно ни начала, ни конца его, а как бы разворачивает перед глазами зрителя ленту, начала которой

¹ См. также: Morf. Die Tempora Historica im Französischen (N. Spr., B. XII, S. 306).

он не видит, и конец которой скрыт. Особенно поддаются этому курсивные глаголы, хотя и терминативные не исключают возможности такого наглядного „изображения“ действия в прошедшем времени, каким бы коротким это действие ни было.

„Моментальный“ терминативный глагол в форме имперфекта оказывается как бы искусственно растянутым, лишенным характерных своих черт. Но так как такое „изображение“ моментального действия иногда трудно осуществимо, форма имперфекта, стремясь вызвать „картинное“ представление о длительности действия, придает глаголу итеративный оттенок. Действие воспринимается, как мгновенное, но повторяющееся на протяжении некоторого неопределенного промежутка времени. Сумма отдельных повторяющихся „моментальных“ действий может восприниматься, как единое целое — и мы получаем, в форме имперфекта, итеративный глагол: *frappait, jetait*.

Таким образом, глагольный „вид“ имеет и формально-грамматические способы выражения. Этими грамматическими средствами для выражения характера („вида“) действия служат глагольные „временные“ формы. Если бы „временные“ формы служили только для обозначения времени совершения действия, то, если даже согласиться с необходимостью иметь особые формы для „предпрошедших“ и „предбудущих“ событий, всех временных форм индикатива должно было бы оказаться самое большее 5: настоящее, будущее, прошедшее, предбудущее и предпрошедшее. На самом же деле, в латинском языке имеется 6 „временных“ форм, а во французском — 8: *Présent, Imparfait, Passé simple, Passé composé, Plus-que-parfait, Passé antérieur, Futur, Futur antérieur*.

Такой большой выбор форм при трех (или пяти) необходимых оправдывается только тем, что кроме временных оттенков, кроме обозначения порядка следования действий, они служат также для выражения видовых оттенков. Однако отношение между „временной“ формой и выражаемым ею „видовым“ оттенком действия не является стабильным. Известно, что, например, латинский перфект, первоначально выражавший действие, законченное к определенному моменту, т. е. отражавший полный завершившийся цикл действия, постепенно теряет этот оттенок вида, чтобы придти к выражению прошедшего действия, независимо от его специфического видового характера; перфект становится формой, преимущественно временной, а впоследствии, — потеряв окончательно значение результатив-

ного перфекта, — и только временной (уже во французском языке).¹

Однако, не следует думать, что, превращаясь из видовой категории во временную, перфект сразу потерял свое видовое значение. Некоторые оттенки совершенного вида остаются ему свойственными и сохраняются через классическую эпоху латинского языка, период латыни раннего средневековья, через романский период, проходят через эпоху старо- и средне-французского языка для того, чтобы, пронеся остатки выражения „вида“ через эпоху стабилизации французского языка, обнаружить отчетливые следы его и в дальнейшем.

Форма простого перфекта, унаследованного французским языком из латинского, в значительной мере сохранила и те оттенки значения, которые были ей свойственны в латыни. В значительной мере, но не в полной степени. Уже в период упадка латинского языка и зарождения романских языков функция простого перфекта, как формы выражения результативного действия, частично переходит на описательную конструкцию — будущий „сложный перфект“. Будущий — так как пока он еще не получил официального признания в качестве глагольной формы и представляет собой лишь синтаксическую группу, еще не отлившуюся в совершенно определенную грамматически форму и сохраняющую целый ряд признаков свободного словосочетания, хотя и стоящую уже на пути к тому, чтобы превратиться в „форму“ с единым значением.

Простой перфект несколько ущемляется в функции „логического“, но сохраняет полную силу, как „исторический“ перфект. Это последнее значение становится его основной характеристикой.

В древнейших письменных памятниках французского языка преобладающим оказывается „повествовательное“ его применение — в рассказе о последовательных событиях. Помимо того простой перфект часто выступает в значении „описательной“ формы, в значении, присущем впоследствии имперфекту, имевшему крайне незначительное распространение в древнюю эпоху французского языка.

¹ А. Мейе, *Linguistique historique et linguistique générale*. Sur les caractères du verbe. Paris, 1926. стр 188: „Таким образом, со времени классической латыни, формы результативного перфекта, напр. *dedi, dixi* и т. п., сохраняя особый, свойственный им оттенок значения, т. е. продолжая обозначать законченное действие, служили в качестве исторического времени, т. е. выражали только тот факт, что данное действие имело место в прошлом...“

В качестве повествовательной формы, простой перфект встречает соперника в лице презенса, который получает особенно широкое применение как повествовательное время в народном эпосе — *chansons de geste*.

Вообще, народные эпические произведения XI и начала XII в. отличаются чрезвычайным богатством глагольных форм и разнообразием их применения. Любая страница песни о Роланде обнаруживает перед нами пестрый узор, сплетенный из форм настоящего времени, простого и сложного перфекта, с перемежающимся преобладанием каждой из них. Узор этот настолько пестр, что с первого взгляда может показаться беспорядочным. Неужели же надо согласиться с мнением некоторых лингвистов, которые считают, что вопрос выбора временной формы для каждого конкретного случая в эпических произведениях старофранцузского периода решается чуть ли не совершенно произвольно автором, не подчиняющимся никаким твердо установленным правилам? Между тем это в корне неправильное утверждение упорно повторяется в трудах наиболее известных зарубежных буржуазных лингвистов. Так, напр., аналогичную мысль высказывает Фосслер в своем широко известном произведении „Язык и культура Франции“:¹ „Мы помним, как автор песни о Роланде свободно перескакивает с презенса на перфект и обратно“. И дальше: „В героическом эпосе в форме презенса могут легко стоять глаголы, обозначающие события прошлые, а перфект служит в качестве формы для риторического настоящего“. Равным образом Л. Фуле,² учитывая, правда, что сложный перфект может употребляться в особо свойственном ему значении „логического“, „результативного“ перфекта, все же заключает, что в повествовании применяются параллельно „présent“, „passé défini“ и „passé indéfini“, которые в этом случае по смыслу совпадают.

Задача науки — раскрыть закономерность языковых явлений и советский языковед не может согласиться с тем, что в языке в какую бы то ни было эпоху царили произвол и случайность. Употребление глагольных форм имеет свои закономерности, кроющиеся в значении слов и форм, и тем более императивные, что всякий человек, знающий свой язык и отдающий себе отчет в значении применяемых им выражений, следует им совершенно интуитивно и поэтому неуклонно. Это не грамматические правила, налагаемые

¹ K. Vossler. Frankreichs Kultur im Spiegel seiner Sprachentwicklung. Heidbg., 1921 (изд. 2-е), стр. 59.

² L. Foulet. Petite Syntaxe de l'ancien français. Paris, 1923, II éd. стр. 164.

извне, и иногда — в силу своей консервативности и возможности отставания от развития семантики — тормозящие мысль, мешающие ее свободному воплощению в слово. Это скорее то соответствие, то равновесие между мыслью и выражающим ее словом, между формой и содержанием, которое может быть единственным для каждого данного момента и, несмотря на отсутствие фиксированных правил, для всех равно обязательным. Позднее, в XVI и XVII вв. появляются грамматики, которые зафиксируют в виде правил внешнюю сторону языка — начиная от орфографии и кончая применением определенных форм в строго разграниченных случаях. Пока же автор соображается лишь со своим „чувством“ языка, дающим ему возможность распознавать семантические оттенки применяемых им форм и слов, подбирая их в соответствии с характером высказываемого.

Если мы будем рассматривать „présent“, „passé simple“ и „passé composé“ как чисто временные формы, то, пожалуй, постоянное их чередование в произведениях народного эпоса покажется малопонятным. Лишь имея в виду вторую сторону характеристики всякого действия, — не временную, а видовую, — мы сможем установить, что формы выбирались автором отнюдь не произвольно, а в строгом соответствии с характером выбранного глагола, тем полнее соответствующего характеру описываемого действия, что выбор его не был стеснен никакими внешними правилами.

Первым, останавливающим на себе внимание читателя и, безусловно, наиболее характерным обстоятельством в отношении применения глагольных форм в эпических произведениях, оказывается преобладание формы „настоящего времени“. Так, простой подсчет глагольных форм в трех совершенно произвольно выбранных главах песни о Роланде — CXLIII, CXLIV, CXLV — показал 51 форму настоящего времени (из них 10 — в качестве предикативной связки при прилагательном) на 9 случаев простого перфекта (из них 7 для выражения изолированного исторического факта, 1 — повествовательного характера и 1 — описательного), 1 — имперфект, 1 — форму будущего времени, 1 — сложный перфект, 4 — настоящего времени конъюнктива и 1 — императива.

„Настоящее время“ — основная повествовательная форма эпоса. Не только описания, но и все наиболее захватывающие места, рассказы о сражениях и т. п., всё, наиболее останавливающее на себе внимание как рассказчика, так и слушателей — описывается в форме настоящего времени.

Песня о Роланде, XXV, 324:¹

¹ Здесь и ниже цит. по: La Chanson de Roland. éd. class. par. L. Gautier Tours.

Quant ço veit Guenes, qu'ore s'en rit Rollanz,
Dunc *ad* tel doel, pur poi d'ire ne *fent*,
A bien petit que il ne *pert* le sens.

Когда Ганелон видит, что Ролант смеется над ним,
Он так огорчен, что едва не лопается от злости,
Едва не теряет сознания.

Там же, LXXXVI, 1017:

Olivier *muntet* desur un pui halçur:
Guardet suz destre par mi un val herbus,
Si *veit* venir cele gent paienur.

Оливье поднимается на высокий холм,
Смотрит направо на поросшую травой долину
И видит приближающихся язычников.

Там же, CII, 2161:

E Gerins *fier*t Malprimis de Brigal,
Sis bon escuz un denier ne li valt,
Tute li *frait*t la bucle de cristal,
L'une meitiet li *turnet* cuntreval;
L'osberc li *rumpt* entresque a la carn
Sun bon espïet enz el'cors li enbat.
Li paiens *chiet* cuntreval à un quas,
L'anme de lui *enportet* Satanas.

И Герен ударяет Мальприма де-Бригаль.
Его добрый щит для него не дороже денье;
Раскалывает хрустальную рукоять
Одна половина падает на землю,
Латы ему разрубает до самого тела
Свое доброе копьё вонзает ему в тело:
Язычник падает на земь от одного удара,
Душу его уносит сатана.

Трудно допустить, чтобы автор или авторы народного сказания XI—XII вв. сознательно, рассказывая о прошедших событиях, прибегали к форме настоящего времени в целях „большей живости“ или „наглядности“, как это рекомендуется современными грамматиками. В чем же дело? Неужели рассказчик не отдает себе отчета в том, что описываемые им факты относятся к прошлому, а не к настоящему? Мы ни в коем случае не можем согласиться с мнением ряда западноевропейских ученых, примитивизирующих мышление средневекового человека и считающих его неспособным к представлению событий во времени. Дело, конечно, не в неспособности к такому разграничению событий во времени, а в той точке зрения, на которой стоит рассказчик в отношении повествуемых им событий. Если бы для него было важно „когда“ происходили те или иные вещи, он, конечно, нашел бы среди имеющихся в его распоряжении форм такие, которые могли бы с большей или меньшей степенью отчетли-

ности ответить на этот вопрос. Но, так как наши авторы совершенно или, вернее, почти не освещают этой стороны дела, то, очевидно, они к этому не стремятся. В центре внимания — остается это допустить — стоит не временная отнесенность события, а вопрос о том „как“ это событие следует себе представлять, „как“ протекают те действия, о которых повествует автор. Последний приближает к себе события, перемещает их в свое „настоящее“, описывает их, именно описывает, а не рассказывает о них. При этом события, оторванные от времени их действительного протекания, совершенно теряют временной оттенок. Они становятся событиями „вне“ представления о времени, событиями, которые имеют такие-то и такие-то характерные черты, протекают каждому из них особо свойственным образом, независимо от того, когда это происходит. Форма, в которой они стоят, оказывается вневременной (или, вернее, она еще не стала исключительно временной), являясь формой выражения действия „вообще“. ¹ В тех случаях, когда автору нужно подчеркнуть, что отдельный факт, выпадающий из общей цепи повествуемых событий, произошел раньше этой цепи событий, т. е. когда сознание требует от него временной подчеркнутости для изолированного факта — он прибегает к имеющимся в его распоряжении формам прошедшего времени.

Песня о Роланде, CXLIV 1660:

*Vait le ferir en l'escut amirable:
Pierres i ad, ametistes, topazes,
Esterminals e carbuncles ki ardent,
Si li tramist li amirals Galafrès:
En Val-Metas li dunat uns diables.
Turpins i fiert, ki nient ne l'espargnet;
Enprès sun colp ne quid qu' un denier vaillet.*

Он собирается его ударить по прекрасному щиту:
Он покрыт камнями, аметистами и топазами,
Эстерминалами и карбункулами, которые горят;
Ему передал его Эмир Галафр:
А тому дал его дьявол в Валь-Метас.
Тюрпин его ударяет, несколько не щадит,
После его удара нет ничего, что стоило бы хотя бы один денье.

Там же, CXLIII, 1644:

*Mult queiment le dit à sei meisme:
„Cil Sarrazins me semblet mult horltes.
„Unkes n'amai cuart ne cuardie.
„Mielz voeill murir que je ne l'alge ocire*.*

¹ См. также: R. Glasser. Studien zur Geschichte des französischen Zeitbegriffs. (Münchner Romanische Arbeiten, Fünftes Heft, 1936), стр. 15.

Очень спокойно он говорит самому себе:
 „Этот сарацин мне кажется большим еретиком
 Я никогда не любил ни трусов, ни трусости,
 Скорей хочу умереть, чем не пойти его убить“.

Не следует, однако, думать, что представление о временной отнесенности абсолютно незнакомо французскому эпосу. Простой перфект, основным качеством которого оказывается именно объективная темпоральность, выражающаяся в кратком констатировании факта с обязательным помещением его в прошедшее время, также достаточно известен и имеет даже (относительно других глагольных форм) весьма значительное распространение. Помимо того, он может служить „повествовательной“ формой, нарушая „вневременное“ развертывание событий, напоминая о том, что это лишь рассказ о делах минувших дней. События, передаваемые в этой форме, теряют характер наглядности, все пассажи целиком приобретают несколько торопливый оттенок; развертывание фактов превращается в упоминание о них, в простое перечисление, без налета наглядности или субъективной оценки.

Путешествие Карла Великого в Иерусалим и Константинополь, 87:

L'arcevesques Turpins li *seignat* gentement,
 E si *prist* il la soe, et Franceis ensement,
 Et *monterent* es muls

Архиепископ Тюрпин его торжественно благословил,
 Взял свой меч, и французы тоже,
 И сели на мулов

Песня о Роланде, VIII 120:

E li message *descendirent* à pied,
 Si l' *saluèrent* par amur e par bien.

И послы сошли на землю,
 И приветствовали его с любовью и почетом.

Там же, CXXXIII, 1522:

Jerusaïem *prist* ja par traisun,
 Si *violat* le temple Salemun,
 Le Patriarche *ocist* devant les funz.

Иерусалим захватил предательством,
 Разрушил храм Соломона,
 Патриарха убил перед купелью.

Там же, LIV, 634:

Atant, i *vint* la reine Bramimunde:
 „Jo vus aim mult, Sire“, *dist* ele à l' cunte.

Тогда пришла королева Брамимунда:
 „Я вас очень люблю, Сир“ сказала она графу.

Там же, XL, 495:

Après parlat sis fils envers Marsilie,
E dist à l' Rei

Затем заговорил его сын с Марсилием,
И сказал королю

(перфект *parlat* от курсивного глагола имеет ингрессивный оттенок).

Помимо формы настоящего времени и простого перфекта в эпических произведениях XI—XII вв. встречается также и притом в довольно значительном числе случаев, сложный перфект. Французский сложный перфект (по современной нам терминологии „*passé composé*“) представляет собой определенную ступень исторического развития латинского именного сказуемого, состоявшего из глагола „иметь“ в форме настоящего времени и пассивного причастия прошедшего времени. Эта именная конструкция первоначально выражала наличие в настоящем свойства, являющегося результатом действия, представленного в форме причастия. Форма глагола связывает конструкцию с настоящим временем, тогда как выраженное причастием свойство, являясь результатом некоего действия, относит ее к тому моменту, когда происходило само это действие. Такой двойственный характер конструкции приводит к назреванию внутреннего конфликта, разрешающегося тем, что она сближается с глаголом и начинает осмысляться как глагольная форма, выражающая в настоящем наличие результатов действия, произведенного в прошлом. Подобное сближение с глаголом осуществляется прежде всего для тех случаев, когда в состав именной конструкции входит причастие терминативного глагола и когда субъект глагола „иметь“ совпадает с субъектом действия, результат которого выражен причастием.

Например, если в предложении „*il a les cheveux coupés*“ действие „*couper*“ производилось тем же лицом, которое является в настоящее время обладателем результата, то фактически „*il a les cheveux coupés*“ будет равно: „*il a coupé les cheveux*“. Больше того, это равенство сохраняется даже в случае разных субъектов, если для контекста последнее обстоятельство не является важным.

Сложный перфект терминативных глаголов выражает наличие в настоящем результатов прошедшего действия. Пока ударение не перешло на само это действие в прошлом, сложный перфект служит способом для выражения некоего факта, относимого к настоящему времени, т. е. он — форма выражения законченности действия в настоящем времени. Если

он — форма, относящаяся к настоящему времени, форма, обладающая специфическим оттенком терминативности, законченности действия, результат которого выдвигается на передний план и относится к области „настоящего“, то вполне закономерно его применение в эпическом рассказе, который ведется по преимуществу в форме настоящего времени. Характер „вневременности“ всего повествования, несущественность того, „когда“ происходили действия в сравнении с тем, „как“ они происходили, установленные выше для презенса, могут быть также отнесены к результативному перфекту, который, с точки зрения наличия результата, является тоже своеобразным презенсом.

Действительно, наиболее характерным случаем применения сложного перфекта является обозначение результата, наличествующего к моменту следующего действия, выраженного в форме настоящего времени:

Песня о Роланде, CCXXIV, 2700:

*Perdut avum le rei Marsilium:
Hier li trenchat Rollanz le destre puign.*

Мы потеряли короля Марсилия:
Вчера Роланд отрубил ему правую руку.

„Мы потеряли короля Марсилия, сейчас его нет с нами, trenchat — простой перфект с пояснительной функцией выражает изолированный факт.

Там же, CCXXV, 2719:

*Le destre poigne ad perdut n'en ad mie
Правую руку потерял, не имеет ее больше.*

Здесь *n'en ad mie* является как бы пояснением результативной функции или даже просто презентативного значения формы *ad perdut*.

Песня о Роланде, LXXV—LXXVI, 873:

*Li reis Marsilies l'en ad dunet le guant
Li niés Marsilie tient le guant en
sun puign;
Sun uncle apelet par mult fière raisun.
Король Марсилиус дал ему перчатку,
Племянник Марсилия держит перчатку в
своей руке;
Гордо обращается к своему дяде . . .*

Результат действия „dunet“ подчеркивается глаголом „tenir“ — „он держит в руке перчатку, данную ему...“

Постоянное чередование сложного перфекта с настоящим временем выдвигает на первый план его презентативное

значение. С прошедшим временем его связывает лишь законченный характер действия.

Песня о Роланде, VIII, 96:

Li Emperere se fait e balz e liez:
Cordes ad prise e les murs pecciez,

Император весел и доволен —
Кордову он взял, стены разрушил. . . .

Дело не столько в том, что город был взят им и стены были им разрушены, сколько в том, что результат этих действий наличествует в настоящем. Важно, что сейчас город в его руках, что сейчас стены находятся в состоянии разрушения. Даже больше: ведь рассказывающий передает не действительно происходящие в данный момент события, „Настоящее время“ — это только условная форма передачи событий, которые вообще происходили, когда именно — неважно, а как — это передано через формы презенса, описывающего течение событий, и через формы сложного перфекта, описывающие перемежающиеся с этими текущими событиями состояния, вытекающие из некоторых других действий. Важны не сами эти действия, важны результаты, которые вытекают из их законченности, и входят в виде отдельных звеньев в цепь повествования.

Особенно характерно такое значение сложного перфекта, выступает в контексте, контрастируя с простым „констатирующим“ перфектом:

Песня о Роланде, XIV, 201;

„Li reis Marsilies i fist mult que traitre
De ses paiens il vus *enveiat* quinze;
Cascuns portout une branche d'olive:
Nuncièrent vus cez paroles meismes.
A vos Franceis un conseil en *presistes*:
Loèrent vus alques de legerie.
Dous de vos cuntes a l' *païen tramesistes*,
L'uns *fit* Basanz e li altre *Basilies*;
Le chiefs en *prist* es puis suz Haltoie.
Faites la guere cum vus l' *avez enprise*,
En Sarraguce menez vostre ost banie,
Metez le siège a tute vostre vie,
Si vengiez cels que li fel *fist* ocire“.

Король Марсильи часто поступал, как предатель,
Из своих язычников он Вам прислал пятнадцать,
Каждый нес оливковую ветвь;
Они передали Вам такие же слова,
Вы посоветовались со своими французами,
Они хвалили Вас по легкомыслию,
Вы послали двух из Ваших рыцарей к язычнику,
Одним был Базан, другим Базиль;
Он взял их головы в горах под Гальтуа,

Ведите войну, как вы это решили,
Ведите на Сарагосу Ваше войско.
Начните осаду, хотя бы она продлилась всю Вашу жизнь
Отомстите за тех, кого убил предатель.

„Ведите войну, как вы это решили“, лучше: „согласно принятому решению“ или „согласно тому решению, которое у Вас имеется“: вот настоящее и стечливо презентативное значение формы „avez enprise“.

Благодаря чрезвычайно тесной связи с настоящим временем, сложный перфект является основной формой прошедшего времени в разговорном языке. Говорящий рассматривает прошедшее событие с точки зрения его завершенности ко времени разговора, внося субъективный момент в оценку самого действия или результата его (при терминативном глаголе в центре внимания всегда находится результат действия), наличествующего в момент, когда об этом событии идет речь:

Путешествие Карла Великого в Иерусалим и Константинополь, 53:

„Par ma fait“, dist li reis, „molt m'avez irascut,
M'amistet et mon gret en avez tot perdut“.

„Клянусь“, сказал король, Вы меня очень рассердили.
Вы потеряли всю мою дружбу и благосклонность“.

Там же, 148:

Et dist li patriarches: „Sire, dont estes nez?“...

И сказал патриарх: — „Сир, где Вы родились?“,
(т. е. „откуда Вы родом?“...)

Песня о Роланде XIII, 180:

„Seignurs baruns“, dist l'emperere Carles,
„Li reis Marsilies m'ad tramis ses messages
„De sun avoir me voelt duner grant masse.

Сеньоры бароны, — сказал император Карл, —
Король Марсиллий передал мне свои послания,
Своих богатств он хочет дать мне большую часть“
(т. е. „Он передал мне послания, и вот они у меня“.)

Но и в прямой речи, если прошедшее действие, выражаемое даже терминативным глаголом, лишь констатируется, если вытекающее из него состояние не подчеркивается или не имеет особого значения в данном контексте, то глагол часто применяется и в форме простого перфекта:

Путешествие Карла Вел. в Иерусал. и Конст., 154:

„Vins en Jerusalem por l'amistet de Deu,]
La croiz et le sepulcre sui venuz aorer“.

„Помощью Божьей я пришел в Иерусалим“ — здесь просто констатируется факт прибытия, но дальше: *sui venuz* — „я пришел сюда (и нахожусь здесь), чтобы поклониться Кресту и Гробнице“. Стоящие в одной фразе простой и сложный перфекты одного и того же глагола подчеркивают каждый свое специфическое значение: первый — констатирование факта в прошлом, второй — связь его с настоящим.

Близкое к настоящему времени значение сложного перфекта делает возможным применение его для обозначения будущего события:

Путешествие Карла Вел. в Иерус. и Констант., 50:

„Par mon chief“ ço dist Charles,

„ço savrai jo encore!

„Se menconge avez dite, a fiance, estes morte“.

Клянусь головой“, так сказал Карл, „я это еще узнаю! Если Вы солгали, то, поверьте, Вы умрете.

Как простой перфект иногда еще появляется в роли „логического“ результативного времени, так и сложный перфект подчас вторгается в область простого для обозначения чередовавшихся в прошлом действий. Примеров такого применения сложного перфекта пока еще немного, это лишь первые шаги по пути его дальнейшего семантического сближения с простым перфектом, которое затем, через много веков, приведет к преобладанию сложного перфекта над простым также и в этой функции „исторического“ времени.

Путешествие Карла Вел. в Иерус. и Констант., 145:

L'emperere le vit, si 'st contre lui levez

Et out trait son chapel, parfont li at clinet.

Император его увидел, поднялся ему навстречу,
Снял свою шляпу, глубоко ему поклонился.

В данной фразе все глаголы имеют одинаковое значение — выражают очередное действие.

В рассматриваемую эпоху сложный перфект применяется преимущественно от терминативных глаголов, хотя иногда можно встретить в этой „результативной“ форме и курсивные глаголы. Курсивным глаголам не свойственно выражать результатов действия, и сложный перфект по своей семантике оказывается несовместимым с курсивной природой глагола, выражающего действие „не ограниченное“ ни временем, ни достижением цели. Но нам уже случалось упоминать выше о той большой, подчас решающей роли, которую играет контекст в определении функции и значения каждого отдельного слова в предложении. Так и теперь, если мы обратимся к смыслу предложения в целом,

он объяснит нам, каким образом курсивные глаголы уже в рассматриваемый период могли иногда применяться в форме сложного перфекта, подобно глаголам терминативным.

Конечно, это можно было бы объяснить простой аналогией, которая, как мы знаем, играет весьма значительную роль в деле выравнивания форм. Но все же аналогия формы — это лишь внешняя причина, и не следует удовлетворяться привлечением таких внешних, хотя и довольно убедительных, а иногда и единственно возможных и, вероятно, правильных объяснений в тех случаях, когда можно найти другие причины, более веские, и, будем надеяться, более неоспоримые, — причины внутреннего, смыслового порядка.

Выше мы говорили, что „терминативность“ и „курсивность“ не являются строго-стабильным и нерушимым понятием; что всякое действие, которое безусловно может быть этим понятием охарактеризовано, часто обладает лишь определенной „тенденцией“ к терминативности или курсивности. Под этим понимается, что обладающий такой тенденцией глагол не всегда может и даже не обязательно должен ее обнаруживать. И вот здесь, в деле проявления этой „видовой тенденции“, решающее значение имеет контекст, который может даже изменять характер глагола, делать курсивный глагол терминативным или хотя бы сообщать ему оттенок терминативности. Если последняя определяется наличием заключенной в значении глагола цели, то она может быть создана приданием извне такой „цели“ глаголу курсивному. Так обстоит дело, например, в следующих предложениях

Песня о Роланде, II, 11:

Alez en est en un vergier suz l'umbre
Он пришел в сад, под тень деревьев.

Путешествие Карла Великого в Иерус. и Конст., 60:

A la sale a Paris si s'en est retornez;
Rollant et Olivier en at od sei menez.
Он вернулся в зал в Париже;
Привел туда с собой Роланда и Оливье.

В этих примерах курсивные глаголы приобретают оттенок терминативности благодаря наличию обстоятельства места. „Карл пришел в тень“ — момент его прихода включен в смысл предложения; действие больше не представляется нам незавершенным, ибо момент завершения его указан. Во втором предложении „a la sale a Paris“ относится к „s'est retornez“ столько же, сколько и к „ad menez“ — действие,

выраженное этим глаголом, ограничивается моментом возвращения в Париж, и мы уже не можем считать его незавершенным, а должны понимать это так: „Он вернулся в Париж и привел с собой [в Париж] Роланда и Оливье“.

Далее, так как терминативным глаголам может быть свойственно обозначение действия, протекающего в течение ограниченного промежутка времени, то если в предложении точно указано, какой промежуток времени длилось действие, выраженное курсивным глаголом, то этим ему сообщается опять-таки характер терминативности, ибо предполагается, что в момент, когда об этом идет речь, указанный период времени уже окончился. В таких условиях мы встречаем курсивные глаголы в форме сложного перфекта.

Песнь о Роланде, CLXXVIII, 2028:

Ensemble *avum estez e anz e dis*;

Мы были вместе годы и дни.

Там же, XLIV 522:

De Carlemagne vus voeill oïr parler.
Il est mult vielz, si *ad sun tens uset*;
Mien escient, dous cenz anz ad passet.

Я хочу услышать от Вас о Карле Великом.
Он очень стар, прожил свое время;
Насколько мне известно, ему больше 200 лет.

Но, если в произведениях народного эпоса курсивные глаголы и встречаются в форме сложного перфекта, то это бывает лишь при условии неполной их курсивности. Форма сложного перфекта без оговорок возможна пока только для чисто терминативных глаголов. Позднее, по мере ослабления видового значения сложного перфекта, по мере перехода его в разряд истинно „временных“ форм, под влиянием аналогии, форма сложного перфекта захватит и безусловно курсивные глаголы.

Таким образом сложный перфект, обычно чередуясь в тексте с настоящим временем, выражает не прошедшее, а законченное к настоящему моменту действие, т. е. несет чисто перфективную функцию. Правда, вместе с простым перфектом, он иногда применяется и для обозначения прошлого действия, исторического факта, где центр тяжести заключается не в законченности действия, а в его отнесенности в прошедшее время, но для рассматриваемой эпохи это пока еще редкость. Это — предвосхищение его будущей функции, которое пока является лишь вторжением в область простого перфекта, сохраняющего свой характер „историче-

ского" прошедшего времени в отличие от „видового," презентативного характера сложного перфекта.

Результативной формой настоящего времени сложный перфект является в первую очередь для глаголов терминативных, для которых понятие „законченности" заложено в самом значении. Затем, от глаголов терминативных эта конструкция переходит и к глаголам курсивным, через промежуточную ступень обязательной перфектизации последних в контексте. С другой стороны, наличие результата в настоящем предполагает действие в прошедшем, приведшее к этому результату. Перенос внимания с результата на действие приводит к сообщению нашей форме временного значения. Последнее возможно при объективации понятия „времени". Певец же французских *chansons de geste* мысленно переносит описываемые им действия в настоящее время, следит глазами за развертывающимися перед ним событиями.

Столь близкий форме настоящего времени сложный перфект оказывается средством для выражения категории вида, которая сама по себе относится к числу категорий семантических, ибо неразрывно связана со значением глагола. Так же, как в итальянских языках, первоначально перфект являлся формой вида, с течением времени развившей в себе временное значение и превратившейся в „исторический" перфект, так и сложный перфект во французском языке лишь постепенно приобретает временной характер. Впоследствии он столкнется в функции „исторического" времени с простым перфектом. Но, пока что, до этого еще далеко. Сложный перфект в народном эпосе является по преимуществу формой выражения перфективности, лишь изредка предвосхищая свою будущую функцию „исторического" времени.

Но, если категория времени в „*chansons de geste*" стоит на втором плане, то вид отчетливо ощущается и имеет свою форму выражения, применение которой вполне логично и последовательно.

Сложный перфект является в рассматриваемое время безусловно видовой формой. Но, войдя в язык, как средство выражения перфективности, он не сохраняет за собой навсегда этой функции, постепенно переходя на роль простого претерита и иллюстрируя процесс вытеснения из языка категории вида категорией времени.

Но это — в будущем, а пока, в народно-эпических произведениях XI в. сложный перфект — форма выражения результативности в настоящем времени, или, вернее, независимо от времени.

ЭТЮДЫ ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ СИНТАКСИСУ
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

Проф. Р. А. Будагов

I. Место глагола в предложении

1

Порядок слов в его генетическом развитии — одна из сложнейших проблем исторического синтаксиса. К этому выводу приходят все исследователи, специально или попутно занимавшиеся этим вопросом. „Даже в такой разработанной области, как классическая филология, — пишет, например, Вандриес, — только недавно было начато методическое изучение порядка слов во фразе, и самый метод этого исследования только начинает уточняться“.¹ Другой лингвист, специально исследовавший порядок слов в позднем латинском памятнике, в „Peregrinatio ad loca sancta“, подчеркивал в 1928 г., что до сих пор не существует сводной работы о порядке слов в латинском языке.² Романист К. Бушербрук помещает в 1940 г. в журнале „Germanisch-Romanische Monatsschrift“ чрезвычайно путаную статью о развитии порядка слов во французском языке, в которой жалуется на неразработанность этой важной для романского языкознания проблемы.³

Нельзя, впрочем, сказать, что работ, специально посвященных вопросу порядка слов в романских языках, и преж-

¹ Бандриес. Язык. 1937, стр. 138 — Ср. J. Ries. Was ist Syntax? Marburg, 1894, стр. 35 сл.

² R. Haida. Die Wortstellung in der Peregrinatio ad loca sancta. Bresl. 1928, стр. 1.

³ K. Buscherbrück. Die Entwicklung der französischen Wortstellung. Germanisch-Romanische Monatsschrift, April—Juni, 1940, стр. 131. — Мы увидим ниже, что сам Бушербрук не вносит ничего нового в разрешение этой проблемы.

де всего во французском, мало. Напротив того, их очень много. Здесь и целая вереница диссертаций, рассматривающих порядок слов в отдельных старофранцузских памятниках, начиная с древнейших и кончая произведениями XVI в. Здесь и главы о порядке слов в больших работах типа истории языка Брюно или исторического синтаксиса Лерха. Здесь и специальная монография Э. Рихтер о развитии романского порядка слов из латинского (*Zur Entwicklung der romanischen Wortstellung aus der lateinischen*, Halle, 1903), с ее же позднейшими работами на ту же тему.¹ Сюда же относятся статьи в различных лингвистических журналах на более специальные темы порядка слов: инверсия подлежащего, место глагола и местоимений, препозиция и постпозиция прилагательного и т. д.

Нельзя также сказать, чтобы здесь не было попыток синтетического построения. Начиная от ранней работы Анри Вейля² и до третьего тома исторического синтаксиса Лерха, половина которого посвящена порядку слов, такие попытки производились неоднократно. Однако, пожалуй, ни одна область исторического синтаксиса так не запутана, нигде не процветали так долго формально-логические схемы, а субъективно-психологические построения не получали столь широкого распространения, как в учении о порядке слов. Мы попытаемся в дальнейшем вскрыть причины этого своеобразного положения той части исторического синтаксиса, которая прослеживает типы связи слов между собой, пока же обратим внимание на другую сторону той же проблемы.

Обычно считают, — и это в общем вполне справедливо, — что одни языки имеют свободный порядок слов, а другие — связанный. В языках первого типа порядок слов имеет только стилистическое значение, в языках второго типа — по преимуществу синтаксическое. Если в своем историческом развитии порядок слов в языке становится все более связанным, то говорят, что порядок слов постепенно приобретает синтаксическое значение. По мере распада латинских флексий уже в народном латинском языке, а затем и в романских языках, порядок слов, естественно, приобретает большее синтаксическое значение. Казалось бы все очень просто и не вызывает никаких затруднений.

В действительности, как увидим, развитие романского порядка слов из латинского гораздо более сложная проблема,

¹ Grundlinien der Wortstellungslehre. Zschr. f. Rom. Phil., B. 40; Zur Klärung der Wortstellungslehre, Ibid., 42.

² H. Weil. De l'ordre des mots dans les langues anciennes comparées aux langues modernes. 1-е изд., Paris, 1844.

11 Ученые записки № 97.

чем это обычно изображается в общих работах по романтической стике. Конечно, все это верно. Порядок слов действительно делается более связанным и приобретает большее синтаксическое значение. Но все это лишь самая общая сторона вопроса, нуждающаяся во всестороннем уточнении.

Очень часто „твердый“ порядок слов французского языка противопоставляют „свободному“ порядку слов других языков. „Если кумыкский язык,—пишет, например Н. К. Дмитриев—не допускает свободного порядка слов, как русский, то он и не стоит на точке зрения, например, французского языка с его связанным порядком слов. Как известно, во французском языке ввиду отсутствия склонения обязателен твердый порядок слов: *Pierre aime Paul*—Петр любит Павла, так как при перестановке *Paul aime Pierre* мы получили бы иное соотношение: Павел любит Петра“.¹

Конечно, в общем это, повидимому, возможное сравнение, но весь вопрос в том, что место подлежащего, как и место дополнения, отнюдь не всегда predetermined в французском языке. Как известно, в ряде случаев возможна инверсия: *Le choix reste—reste le choix*, между тем как во фразе *Pierre aime Paul*, неуклюжая инверсия *aime Pierre Paul* связана с вопросительной интонацией, а инверсия *Paul aime Pierre* приводит прямо к противоположному значению. Возникает вопрос, почему в одном случае инверсия возможна, она в пределах стилистических колебаний, а в другом—она невозможна, приводит к противоположному смыслу? Ведь даже независимо от дополнения инверсия типа *Pierre aime—aime Pierre* более семантизирована в современном языке, чем инверсия типа *le choix reste—reste le choix*.

Следовательно, обычное положение, согласно которому в языках со свободным порядком слов инверсия имеет чисто стилистическое значение, а в языках со связанным порядком слов—синтаксическое, сразу осложняется, если принять во внимание, что и в языках с так наз. связанным порядком слов инверсия не всегда имеет синтаксическое значение. Возникает вопрос, почему это так? Что определяет большую или меньшую синтаксичность порядка слов в аналитических языках? Каковы пути развития порядка слов в этих языках? Мы увидим, что вопрос о типе инверсии, о типе семантической связи между словами имеет решающее значение для ответа на все эти вопросы.

¹ Н. К. Дмитриев. Грамматика кумыкского языка. Изд. Акад. Наук СССР, 1940, стр. 160.

Уже в 1844 г. Вейль в своей небольшой книжке о порядке слов в классических и новых языках стремился разрешить основные вопросы порядка слов в широком сравнительном плане.

Вейль был убежден, что „трактовать порядок слов это в известной мере трактовать порядок идей“, поэтому автор стремился уточнить соотношение между порядком идей и порядком слов. Первый же раздел первой главы книги Вейля гласил: „Синтаксическое движение не является движением идей“, но тут же подчеркивалось, что „порядок слов должен воспроизводить порядок идей; эти два порядка тождественны“.¹

Согласно Вейлю, порядок слов полностью воспроизводит „порядок идей“, он отождествляется с этим последним, но не совпадает с „синтаксическим ходом“.

„Представим себе,—пишет Вейль,—что кто-то рассказывает историю Ромула и прибавляет: *Idem ille Romulus Romam condidit*. Но показывая путешественнику Рим, можно сказать: *Hanc urbem condidit Romulus*. Рассказывая о знаменитых сооружениях, восклицают: *Condidit Romam Romulus*. В этих трех фразах синтаксис одинаков: везде *Romulus*—подлежащее, *condidit*—сказуемое и *Romam*—прямое дополнение. В первом случае отправная точка *Romulus*, во втором—*Roma*, в третьем—идея сооружения... В предложении есть два различных движения: объективное, выраженное синтаксическими отношениями, и субъективное, выраженное порядком слов“.²

Можно было бы не останавливаться на этом наивном и устаревшем представлении, если бы отдельные положения Вейля не возрождались, как мы увидим, под пером новейших исследователей. Хотя в современном французском языке,—рассуждает автор,—предложение обычно начинается с подлежащего, а в греческом—„то с одного члена предложения, то с другого“, тем не менее Вейль убежден, что „порядок идей“ здесь одинаков: меняется лишь „синтаксический ход“, а не „порядок идей“.³ Вейль считает, что если в разных языках в предложении есть подлежащее, сказуемое и дополнение, то синтаксис остается неизменным, в какой бы последовательности эти элементы ни группировались. Тем самым порядок слов выносится куда-то за пределы синтаксиса.

¹ Стр. 15, по второму изд. 1869 г.

² Стр. 24, 25.

³ Стр. 30.

Вейль стремится уточнить свой основной тезис о тождественности порядка идей и порядка слов. Оказывается, в классических языках „движение идей“ (*le mouvement des idées*) выражается порядком слов, а „синтаксическое движение“ (*le mouvement syntaxique*) — окончаниями. В современных языках „движение идей“ также выражается порядком слов, но порядок слов одновременно выражает в этих языках и синтаксические отношения. Вывод: „наши языки (т. е. новые европейские языки) все более стремятся заменить двойное движение фразы движением единым“ (*nos langues tendent de plus en plus à remplacer cette double marche de la phrase par une seule marche*).¹ „Движение идей“, по автору, всегда выражается одинаково, ибо это „закон всякого разумного существа“.

Рассуждения Вейля сводятся таким образом к следующим основным положениям: 1) порядок слов воспроизводит порядок идей, поэтому эти два „порядка“ тождественны; 2) порядок идей-слов всегда остается неизменным (закон „разумного существа“), меняются лишь синтаксические отношения; 3) в языках классических порядок идей-слов не совпадает с синтаксическим порядком, а в новых языках эти „два порядка“ обнаруживают тенденцию к сближению.

Эти положения книги Вейля, которая выдержала три издания, оказали большое влияние на последующую литературу о порядке слов. Конечно, здесь было немало отдельных правильных наблюдений, связанных с тезисом автора о большем синтаксическом значении порядка слов в языках аналитических, чем в языках флективных. Теперь это положение уже сделалось лингвистическим трюизмом. Но вместе с тем работа Вейля, основанная на формально-логическом подходе к языку, в целом уже совершенно устарела. Автор наивно предполагал, что можно устанавливать порядок „идей-слов“, исходя из „закона разумного существа“, критерии познания которого будто бы вечны и неизменны. Отсюда и все ошибочные частные утверждения Вейля и, что для нас особенно важно, фактическое исключение порядка слов из синтаксиса. Как это ни парадоксально, но работа, написанная о порядке слов, казалось бы, с синтаксической точки зрения, в действительности исключала порядок слов из сферы внимания синтаксиста.

Вот почему современная зарубежная лингвистика, хотя, как увидим, полностью и не освободившаяся из-под влияния отдельных положений формально-логического направления, начинает все же с опровержения Вейля. Именно так поступает Марузо-

¹ Стр. 31.

в своей книге о порядке слов в латинском предложении.¹

„Нельзя думать,—замечает Марузо,—что в предложении можно“ определить логические и психологические отношения независимо от их грамматической и синтаксической принадлежности. Слово не связано со словом, как идея с идеей“.² Слово находится прежде всего в грамматическом отношении с другими словами, с которыми оно образует известное единство. По мнению Марузо, исследователя должен интересовать только этот грамматический порядок слов, независимо от „порядка идей“ и семантического соотношения между словами. Больше того. Марузо считает, что исследователя должна интересовать прежде всего внутренняя синтаксическая связь между ближайшими грамматическими группами.

Марузо поясняет свою мысль примером. Во фразе—*Novi ego tuum, Attice, animum sicut tu meum*—исследователь не должен интересоваться „соотношением идей между словами родственных или соседних категорий“, как *ego tuum, tu meum*. Грамматиста—настаивает Марузо—должны интересоваться только синтаксические группы, а не идеи. Поэтому Марузо считает, что для грамматиста неважно в данном случае, сказуемое ли начинается предложение или подлежащее, важно лишь то, что глагол *novi* предшествует местоимению *ego*, а *tuum* отделено от *animum*, своей принадлежности. Автор настойчиво подчеркивает, что значение порядка слов для того или иного языка, для того или иного случая, может быть установлено только эмпирически для каждого частного сочетания в отдельности: „Нельзя,—пишет он,—определить а priori, какой семантический эффект получится от нарушения обычного порядка слов“.³

Таким образом, если в середине XIX в. Вейль строил свою теорию порядка слов на основе формально-логических категорий, стремясь в две-три схемы вместить все исключительное многообразие частных случаев, частных комбинаций слов, то новый исследователь Марузо впадает в другую крайность: он признает автономность, независимость внутренних синтаксических групп от строя предложения в целом, подменяя тем самым вопрос о порядке слов в предложении вопросом о порядке слов внутри двухчленных синтаксических групп. Марузо убежден, что никакие „внешние“.

¹ J. Marouzeau. L'ordre des mots dans la phrase latine, I, Les groupes nominaux. Париж, 1922.

² Там же, стр. 5.

³ Там же, стр. 8.

посторонние факторы не влияют на порядок слов внутри этих синтаксических групп. Синтаксические группы абсолютизируются, отрываются от общего лингвистического окружения, от строя предложения. Проблема порядка слов в предложении превращается в сумму бесчисленных отдельных комбинаций слов, причем автор заранее предупреждает читателя, что всякие поиски общих законов, определяющих порядок слов, обречены на неудачу. По мнению Марузо, задача исследователя заключается только в том, чтобы, по возможности, полнее описать эти отдельные комбинации слов и не искать несуществующих общих законов порядка слов в целом предложении.

К счастью, материал приводимый самим Марузо, опровергает его теоретическую концепцию. Мы говорим к счастью, так как проблемы порядка слов действительно не существовало бы, если Марузо был бы прав и все сводилось к простой сумме отдельных сочетаний слов. Между тем, без обобщений не может быть и науки.

Приведем теперь доказательства внутренней противоречивости концепции Марузо. Вслед за Бергенъ¹ Марузо отмечает, что на протяжении всего текста „*De Bello Gallico*“ прилагательные, происходящие от собственного имени, в сочетании с существительным *bellum* всегда предшествуют этому существительному: *Venetici belli* (III, 18 и IV, 21); *Germanico bello* (IV, 16); *Gallicis bellis* (IV, 20); *Gallici belli* (V, 54, 4); *Britanicum bellum* (V, 4, 1). Только один раз прилагательное, происходящее от собственного имени, оказывается после *bellum*: *bello Cassiano* (I, 13). Было бы вполне последовательно, если Марузо объяснил это любопытное влияние, исходя из особенностей синтаксической группы существительного и прилагательного в латинском литературном языке эпохи Цезаря. Но, к величайшему изумлению читателя, Марузо ищет совершенно другого истолкования, обращаясь к тем самым „внешним“ факторам, влияние которых он решительно отрицает в начале своей книги. „Цезарь и Цицерон, — пишет Марузо, — писали в такую эпоху, когда война была постоянной, и когда Рим вел одновременно несколько кампаний (войны в Галлии, Британии, Германии, Александрии, не говоря уже о гражданской войне). Для государственных людей того времени война была постоянным событием. Слово *bellum* сейчас же вызывало в сознании ряд происходящих войн и всякий раз требовало

¹ A. Bergaigne. La place de l' adjectif épithète en vieux français et en latin. *Mélanges Graux*, 1884, стр. 542 сл.

² Marouzeau, цит. соч., стр. 27.

определения. Отсюда обычное выделение прилагательного¹.

Действительно, изумление читателя очень велико. Оказывается филиация „идей“, против которых на первых страницах своей книги решительно выступал автор, определяет место прилагательного. В этом случае место прилагательного определяется всем строем мировоззрения древнего римлянина, который жил и писал в эпоху постоянных войн, внешних и внутренних. Марузо как бы не замечал того, что это объяснение в корне противоречит тем принципам „чисто“ лингвистического толкования, которые он выставил в введении к своей книге. С одной стороны, Марузо настаивает, что порядок слов определяется только синтаксическим своеобразием отдельных грамматических групп и не зависит ни от каких „внешних условий“, а с другой—оказывается, что препозиция прилагательного типа *Britanicum bellum* обуславливается всем состоянием тогдашнего общества и мировоззрением его представителей.²

Чтобы показать неслучайность подобных противоречий в системе Марузо, остановимся на других примерах.

Стремясь истолковать, например, другое синтаксическое сочетание *tribunicia potestas*, встречающееся в речах Цицерона двенадцать раз именно в такой последовательности, а также сочетания типа *procursulare imperium* (вместо более обычных: *potestas tribunicia*, *vis tribunicia*, *impetus tribunicius*, *imperium procursulare*), Марузо пишет: „В политической жизни к концу Республики понятия *potestas tribunicia* и *imperium procursulare* получили такое большое значение, что в канцелярском языке обычно стали употреблять экспрессивный порядок *tribunicia potestas* и *procursulare imperium*. Когда же эти понятия встечались не в официальном, техническом значении. . . ., тогда обычный порядок слов не нарушался: рядом с *tribunicia potestas* постоянно встречается *impetus tribunicius*“.³

И здесь, оказывается, условия жизни древних римлян, особенности их канцелярского языка, приводят к соответствующим сдвигам в синтаксических группах, в порядке слов. Здесь нет ничего неправдоподобного, но нам важно подчеркнуть, что исследователь постоянно отходит от своих теоретических положений, стремясь найти объяснения синтаксических явлений в условии окружающей жизни.

¹ Marouzeau цит. соч., стр. 27.

² Препозиция прилагательного в типе *Britanicum bellum* тем более интересна, что обычный порядок слов в этом же тексте обратный: *bellum servile*, *bellum civile*.

³ Marouzeau, цит. соч., стр. 65.

Анализируя порядок слов в сочетаниях числительного с существительным, Марузо сталкивается с необходимостью объяснить двоякий порядок слов: *centum equites* и *equites centum*. Автор утверждает, что первое означает „сто всадников, не больше“, а второе—„всадники числом в сто“. В первом случае, поясняет Марузо, мы представляем группу в сто всадников, во втором—мы сперва различаем понятие о всадниках, интересное само по себе, а затем уже узнаем о их числе¹.

Так воскресает старый формально-логический метод Вейля, который именно такими рассуждениями обосновывал порядок слов. Если числительное стоит перед существительным, то, следовательно, „идея числа“ важнее „идеи субстанции“ и раньше появляется в сознании. Если же существительное предшествует числительному, то „идея числа“ отодвигается на задний план, уступая место „идее субстанции“. Так, несмотря на резкую критику принципов Вейля, которую дает Марузо, исследователь в ряде случаев сам оказывается в зависимости от своего предшественника и не до конца освобождается из-под влияния старых формально-логических схем в языкознании.²

Мы не случайно останавливаемся прежде всего на работах Вейля и Марузо, ибо если книжка Вейля—это ранний научно-исторический этюд о порядке слов, то Марузо, использовавший обширную литературу последних десятилетий, стремится по-новому подойти к интересующей нас проблеме. Марузо совершенно прав в своем стремлении поставить учение о порядке слов на грамматические основы, но исследователь ошибочно противопоставляет грамматическое идеологическому, а синтаксические группы рассматривает независимо от структуры всего предложения. Конечно, единственно научный путь изучения порядка слов—это путь изучения семантики синтаксических групп (как мы стараемся показать в дальнейшем); но Марузо акцентирует формальное единство синтаксических сочетаний, не углубляя вопроса об их семантике. К тому же очень важны и реальные условия, которые порою непосредственно опреде-

¹ Там же, стр. 199.

² Эти противоречия Марузо до сих пор оказывались незамеченными. Рецензенты слишком доверчиво относились к теоретическим декларациям автора и не интересовались, насколько оправданы эти декларации самим материалом. „Согласно Марузо,—писал, например, J. Block,—порядок слов в латинском предложении зависит не от последовательности событий и не от последовательности или сравнительной важности идей (теория, некогда сформулированная Вейлем), а оттого, как складываются отношения между словами, выражаемые определенными грамматическими сочетаниями“. *Revue de psychologie*, Paris, 1924, стр. 92.

ляют большее или меньшее единство отдельных синтаксических групп. Так, если сочетания типа *gentilhomme*, *bonhomme*, *blanc-bec*, *béjaune* сохраняют, как правило, свое единство во всех условиях, то сочетания типа *art gothique* или *corps simple* зависят от того, кто и при каких условиях их произносит. Для художника, который занимается историей готического искусства, *art gothique*—единое понятие, тогда как для представителя другой профессии общность между этими словами может оказаться минимальной.¹

Мы видели, как Марузо, который попытался в теории отвлечься от всех этих реальных условий, в которых бытует язык, практически был вынужден с ними считаться, опровергнув тем самым возможность чисто абстрактного изучения порядка слов. Мы увидим впоследствии, что и другой тезис Марузо—независимость отдельных синтаксических групп от порядка слов в целом предложении—опровергается фактическим материалом.

В противоположность Марузо с его „независимыми“ синтаксическими группами, представители психологической и фосслеровской школы стремятся иначе обосновать порядок слов в его историческом развитии. Отмечая движение глагола к центру предложения в старофранцузском, Вартбург например, пишет: „Человек средних веков воспринимал прежде всего движение, а затем уже состояние. Непосредственное созерцание движения господствует над духом языка“.² И все. Одна из сложнейших и труднейших проблем развития романского порядка слов из латинского, перемещение глагола с конца предложения на второе место, решается Вартбургом одним росчерком пера и совершенно произвольно. Здесь нет никакого лингвистического объяснения, все сводится к шатким психологическим параллелям. „Почему—задает себе вопрос другой исследователь, Лерх,—латинский язык сохранил конечное положение глагола в продолжении, тогда как другие индоевропейские языки (за исключением литовского и славянских) этого положения не сохранили? Быть может потому, что римляне были активным народом, для которого понятие действия казалось достаточно значительным...“³ Тот же Лерх, стремясь объяснить изменение порядка слов в истории французского языка, указывает на „победу христианства“, как на причину, приведшую к нару-

¹ Ср.: A. Blinkenberg. L'ordre des mots en français moderne, II. 1933, стр. 45.

² W. Wartburg. Evolution et structure de la langue française. 1934, стр. 91.

³ E. Lerch. Hauptprobleme der französischen Sprache. I. 1930 стр. 79

шению старого порядка слов, выдвигавшего личность говорящего на первый план.¹

Можно было не останавливаться на этих анекдотических „объяснениях“, если бы они не продолжали повторяться в новейших работах и не оказывали влияния даже на очень трезвых исследователей. Майер-Любке например, которого никак нельзя заподозрить в симпатии к фосслеровской школе, все же пишет: „Порядок *pater filium amat* начинается с предметных представлений, отодвигает более абстрактное на конец и представляет таким образом более примитивную форму мысли и более примитивное грамматическое выражение“ (сравниваются *pater filium amat* и *pater amat filium*).² Хотя это толкование кажется значительно серьезнее лерховской интерпретации, но сущность здесь та же. Почему, собственно, в латинском литературном языке мы имеем „более примитивную форму мысли“, более примитивное грамматическое выражение, чем в старофранцузском, в котором глагол уже обнаруживает тенденцию к перемещению и чаще оказывается перед дополнением. Это остается неясным. Если Майер-Любке связывает перемещение глагола на второе место в предложении с развитием нового, более „совершенного“ типа мышления, то Вартбург это же явление относит к средневековому сознанию. Все это говорит о шаткости субъективно-психологических критериев в языкознании.

В работах современных западных языковедов-романистов самых разнообразных направлений поражает смешение совершенно различных толкований. У Лерха, например, как у многих других, получается так: на развитие романского порядка слов из латинского повлияло и христианство, и мышление, и развитие новых синтаксических групп, и ритм и многое другое. Все ставится на одну линию, все рассматривается в одной плоскости. Формальное разграничение у Лерха—психологические факторы на первом месте, затем ритмические факторы и в самом конце логико-грамматические факторы—не спасает, ибо практически все оказывается „важным“, и у читателя создается впечатление, что новый порядок слов это результат сложного взаимодействия бесчисленных „факторов“, действующих самым неожиданным и причудливым образом. Какие причины являются определяющими, основными,—это остается неясным. Серьез-

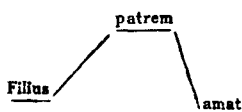
¹ Там же стр. 64. То же в его „Historische französische Syntax“ (B. III, 1934, стр. 264).—Подобные же рассуждения находим и у Buscherbrück, в статье, напечатанной в 1940 г См. цит. соч., стр. 132.

² W. Meyer-Lübke. Einführung in das Studium der romanischen Sprachwissenschaft, 3. Aufl., Heidelberg, 1920, стр. 224.

ные наблюдения синтаксического характера чередуются с дилетантскими рассуждениями о конкретном и абстрактном, о волевом и пассивном порядке слов и пр. И читателю; повидимому, самому предлагается выбирать то или иное объяснение, в зависимости от его вкуса и разума.

Сознавая, повидимому, неубедительность „психологического“ объяснения порядка слов, современная западная романистика спешит подкрепить это истолкование ритмическими наблюдениями.

Уже Вейль писал о восходящем и нисходящем порядке слов. Об этом же говорят и современные лингвисты. „Ритм в старых языках,—утверждает Майер-Любке,—падающий в новых языках—восходящий“.¹ Латинский ритм порядка слов падающий, романский ритм—восходящий. *Filius patrem amat. Le fils aime le père*. Соотносительный ритм этих двух предложений Лерх изображает двумя схемами:²

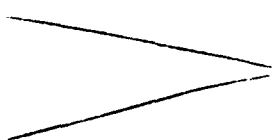


Латинский порядок слов.

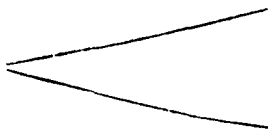


Романский порядок слов.

Рихтер дает несколько иную схему:³



Латинский порядок слов
(падающий)



Романский порядок слов
(восходящий)

Heureux est cet homme—падающий порядок слов нехарактерный для французского; *cet homme est heureux*—восходящий порядок типичный для французского. Все романисты считают, что это основное отличие романского порядка слов от латинского, меняется только терминология, обозначающая эти два типа порядка слов. Падающий ритм Лерх иначе называет импульсивным, восходящий—неимпульсивным или социальным, или педагогическим. Рихтер именует падающий порядок слов аффективным, личным, „невнимательным“, а восходящий—разумным, вещественным „внимательным“.

¹ Einführung, стр. 224.

² Hist. fr. Syntax, III, стр. 260.

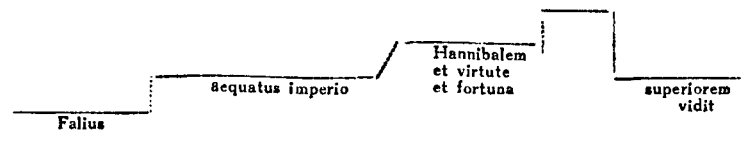
³ Zsch. für rom. Philologie, XL, стр. 11

Балли, как и Марузо, различает индивидуальный и социальный порядок слов, Калепки—нормальный порядок слов и грамматический, Калленберджер—импульсивный и декларативный, Сведелиус—неактуальный и актуальный и т. д.

Большинство названных авторов стремится разрешить проблему развития нового романского порядка слов из латинского всевозможными ритмическими построениями. Теоретически протесты против ритмических истолкований делались неоднократно, но практически, как увидим, именно ритмом объясняются до сих пор основные вопросы, связанные с перемещениями латинского порядка слов в романском. Рихтер, например, так и пишет: „Порядок слов есть результат двух сил, душевных и ритмических“¹. Несколько иначе формулирует эту же мысль Этмайер в своем „Аналитическом синтаксисе“. Он считает, что порядок слов определяется двумя факторами: либо смысл подчиняет себе ритмико-мелодическую линию фразы, либо, напротив, ритм и мелодия располагают смысловые элементы предложения в определенном порядке. В первом случае „порядок слов определяется исключительно смыслом предложения и совершенно не зависит от мелодики предложения“. В этом случае порядок слов располагается по принципу: „более важное выражается раньше“.²

Если Рихтер таким образом настаивала ещё на взаимодействии ритма и смысла в предложении, то Этмайер ставит вопрос уже в форме „или—или“: или смысл или ритм определяет порядок слов в предложении, тем самым их взаимодействие отрицается.

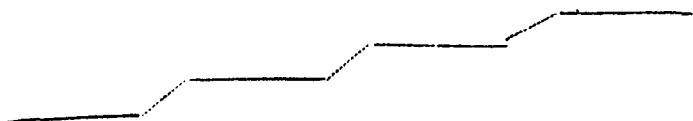
В практическом рассмотрении конкретных случаев изменения латинского порядка слов в романских языках ритмические причины оказываются, как правило, всесильными у обоих исследователей. Фраза латинского классического языка не имела с точки зрения Рихтер равной ритмической линии, ибо глагол, обычно находившийся в конце предложения, вызывал перед собой паузу, а затем ритмическое движение вниз. Так, предложение *Falius aequatus imperio Hannibalem et virtute et fortuna superiorem vidit* (Liv., 22, 29, 1) имело следующую ритмическую линию:



¹ Там же, стр. 11

² K. Ettmayer, *Analytische Syntax der franz. Sprache*. II, 1931. стр. 337.

Романские языки, перетянув глагол к началу, образовали последовательно восходящую ритмическую линию, без падения в конце предложения:



Если в латинском языке, учит Рихтер, основное ударение падало на середину предложения, то в романских языках оно переместилось к концу предложения, выравнив тем самым общую ритмическую линию.¹ Следовательно, одно из важнейших отличий новороманского порядка слов от латинского—место глагола в предложении—объясняется в конце концов чисто ритмическим выравниванием мелодической линии фразы. Рихтер как бы не замечает, что на место одного неизвестного она подставляет другое неизвестное. На вопрос о том, почему глагол переходит на второе место в предложении, Рихтер отвечает: потому что выравнивается ритмическая линия, порядок слов делается последовательно восходящим. Но почему выравнивается ритмическая линия, почему порядок слов делается восходящим? На этот вопрос мы не находим ответа ни у Рихтер, ни у других сторонников ритмической концепции. Тем самым мы вправе считать, что подобное „решение“ вопроса лишь подставляет одно неизвестное на место другого неизвестного, несколько не проясняя существа проблемы.

Мы видим таким образом, что в вопросе о порядке слов современная буржуазная романистика исключительно беспомощна. Критикуя старое логическое направление, она впадает в другую крайность, либо отрывая язык от мышления, либо сводя все к ничем необоснованным и субъективным психологическим параллелям. Марузо пытался преодолеть формально-логическую схему Вейля, подчеркивая независимость порядка слов от мышления. Но Марузо все же изучает синтаксические группы, хотя и отрицает их связь с мышлением. Сторонники ритмической концепции идут еще дальше: они вычеркивают не только общее содержание языка, но и синтаксические группы, сводя все к ритмическим линиям. Фосслеровская школа на первый взгляд настаивает на обратном: она все соотносит с „содержанием“, но это „содержание“ оказывается совершенно искусственным. Если Рихтер объясняет передвижение глагола к центру предло-

¹ E. Richter, Zur Entwicklung... цит. соч., стр. 83.

жения изменением ритмической линии, а Вартбург это же явление связывает с „динамическим“ умом средневекового человека, то как бы ни были различны эти толкования, они имеют и нечто общее: они одинаково произвольны, в одинаковой степени аисторичны и не заключают в себе ничего специфически синтаксического.

Вот почему мы думаем, что для советской лингвистики вопрос о методе изучения порядка слов приобретает тем большее значение, чем большая путаница обнаруживается в этом отношении в западном языкознании.

В вопросе происхождения романского порядка слов из латинского обычно смешиваются, как нам кажется, проблема генезиса порядка слов и различное применение этого нового, уже созданного, порядка слов в языке художественной литературы. Хотя французский язык и является аналитическим, но, как известно, инверсия в нем явление обычное. *Lorsque le moment fut venu des embrassades*, — пишет Флобер. *Avec, sur son visage, un sourire*, — повествуют братья Гонкур. Инверсия подлежащего получает особенно широкое распространение у писателей конца XIX и начала XX столетия. Грамматический разрыв слов постоянно наблюдается в современной литературе, а у декадентских писателей типа Марселя Пруста он особенно культивируется. Исследователи теряются. С одной стороны, утверждается, что по мере исторического развития французского языка и утраты флексий, порядок слов становится все более и более твердым, а с другой — оказывается, что язык новейшей художественной литературы вновь возрождает былой „беспорядок“, расшатывает уже казалось бы установившиеся нормы.

В своей работе о порядке слов Э. Рихтер стремилась объяснить это тем, что в определенную эпоху писатели начинают „делать наоборот“. Если в общем разговорном языке господствует падающий ритм порядка слов, тогда в художественной литературе возникает восходящий порядок слов. Когда этот восходящий ритм в свою очередь делается обычным, шаблонным, тогда писатели вновь начинают прибегать к падающему ритму порядка слов и т. д. Как только тип А делается обычным, вводится тип В, который постепенно теряет свою оригинальность и вытесняется старым типом А, к этому времени вновь обретающим новизну.¹ Чтобы слово зазвучало небанально, нужно сдвинуть его с обычного места в предложении. Но постепенно это необычное место делается обычным и тогда писатели вновь ставят слово на

¹ Richter. Grundlinien..., цит. соч., стр. 37.

его первоначальную позицию, и слово опять звучит не-шаблонно.

Получается своеобразный заколдованный круг, из которого порядок слов будто бы не может вырваться.

Эта концепция переносится и в глубь истории языка и с необычайной легкостью стремится сразу разрешить все вопросы порядка слов. В самом деле, меняется место глагола в предложении? Следовательно писатели установили новое „небанальное“ положение для глагола. Происходит инверсия подлежащего? Это опять-таки писатели стремятся к оригинальности и т. д.¹

Как известно, порядок слов в истории французского языка постепенно приобретает все большее синтаксическое значение. Если последовательно сравнивать разные периоды в истории языка, то в этом легко убедиться. Язык XVII в. уже более строго относится к порядку слов, чем язык XVI в. XVIII век идет еще дальше по линии закрепления порядка слов. Разговорный язык XIX в. фиксирует место каждого слова еще определеннее, чем язык XVIII в. и т. д. На протяжении с XVI в. по XX столетие (мы пока не выходим за пределы ново-французского) в общем разговорном и народном французском языке идет постепенное закрепление порядка слов, независимо от того, как к этому относится тот или иной литературный стиль. В литературном стиле порядок слов может сравнительно легко меняться. Романтики начала XIX столетия „разрушают“ слишком симметричные контуры классического предложения. Реалисты поправляют романтиков. Символисты восстают против реалистов. Порядок слов то закрепляется (у классиков), то вновь делается более свободным (у романтиков), то опять как будто бы вливается в более спокойное русло (у реалистов пятидесятых годов), чтобы затем опять принять более „живописное“ расположение. Если бы общий язык каждый раз полностью поворачивал за тем или иным литературным стилем, тогда Рихтер, Лерх и другие, отождествляющие язык с литературным стилем, были бы правы. Но этого, конечно, не бывает. Вот почему порядок слов в общем языке нельзя смешивать с порядком слов у того или иного писателя или даже целого литературного направления.

Однако здесь возникает новое затруднение: как отделить общий язык от стиля отдельных писателей прошлых

¹ Как известно, аналогичной „концепцией“ широко пользовались и русские формалисты двадцатых годов нашего столетия в своих историко-литературных построениях.

эпох. Ведь то, что мы знаем, например, о французском языке XII столетия в значительной степени складывается из суммы литературных произведений, в той или иной степени стилизованных. Но в этом случае нужно исходить из среднего типа, проверять, по возможности, порядок слов в литературных текстах порядком слов в деловых документах (если они имеются), стремиться выяснить степень отклонения от общего языка в стилистически обработанных памятниках.

Для новой эпохи установить этот средний тип значительно легче, ибо здесь уже мы значительно больше знаем о народном и разговорном языке. Язык писателей типа Марселя Пруста, конечно, не будет отражать живого языка эпохи, но задача исследователя-лингвиста в том-то и заключается, чтобы вскрыть прежде всего общие нормы порядка слов того или иного периода в истории языка, а не частные случаи, характерные для индивидуальной манеры отдельного писателя или литературного направления.

Приведенные соображения имеют, как нам кажется, важное значение для установления принципов исследования порядка слов в истории языка. Ритм, мелодический рисунок фразы, психологический фон произведения, стремление к необычной расстановке слов ради „живописности“—все это имеет некоторое значение для стилистики, для изучения языка отдельных писателей и литературных направлений. Но в истории языка все эти причины отодвигаются на задний план. Если в истории языка глагол, например, закономерно меняет свое место, передвигаясь с конца предложения к его центру, и если это явление с определенного периода становится характерным для всего языка (народного, разговорного), хотя отклонения от него могут и наблюдаться в стилистически обработанной прозе, то эта проблема не может быть разрешена ритмически или психологически. Принципы изучения порядка слов в истории языка не совпадают с принципами изучения порядка слов в стилистике. Со стилистической точки зрения порядок слов может определяться не только семантикой синтаксических групп, но и ритмом, мелодическим рисунком фразы, индивидуальной манерой писателя, но с историко-лингвистической точки зрения порядок слов—это прежде всего проблема развития семантико-синтаксических групп, все же остальное приобретает второстепенное и третьестепенное значение.

Если старый тип *li pere fils aime* вытесняется новым типом *le père aime le fils*, то задача историка языка заключается в том, чтобы показать, какие семантико-синтак-

сические условия перетягивают глагол на второе место. Если у какого-нибудь современного писателя встречается старая последовательность слов (напр. *le père son fils aime*), то здесь могут быть психологические, эстетические, ритмические и тому подобные причины. Но все же новым языковым типом является *le père aime le fils* с глаголом на втором месте. Конечно, для лингвиста важно учитывать, насколько часто бывают отклонения от обычного типа в художественной прозе и поэзии, ибо эти отклонения вскрывают степень прочности, устойчивости определенного типа в обыденном языке, но все же основное внимание должно быть сосредоточено на общем типе. А общий тип может быть объяснен только семантико-синтаксически, а не ритмически или эстетически.

В дальнейшем мы попытаемся на материале показать справедливость нашего тезиса. Пока же подчеркнем, что разграничение историко-синтаксического понимания порядка слов и стилистического необходимо для установления самого метода исследования порядка слов. Учение о развитии романского порядка слов из латинского превращалось до сих пор в своеобразный склад самых разнообразных схем: исследователи прибегали то к ритму, то к психологии, то к грамматике, то ссылались на своеобразную манеру писателя, то обнаруживали одновременное влияние всех этих условий. Порядок слов целиком оказывался во власти субъективно-психологических схем, которые можно было истолковать как угодно.

3

Посмотрим теперь, как разрешаются обычно отдельные вопросы развития романского порядка слов, насколько может удовлетворить нас традиционная интерпретация этих вопросов, и что мы можем ей противопоставить. Начнем с проблемы места глагола в предложении. Мы уже видели, что вопрос о перемещении глагола с конца предложения в латинскую эпоху к центру предложения в романских языках решается обычно чисто ритмически. В 1892 г. Турнайзен в статье „О месте глагола в старо-французском“¹ обращает внимание на то, что уже в старофранцузскую эпоху глагол обнаруживает тенденцию к перемещению на второе место в предложении. Обследовав один памятник начала XIII в. (Aucassin et Nicolette), Турнайзен приходит к выводу, что в этом памятнике положение глагола на

¹ Zsch. f. rom. Phil, 1892, т. XVI.

¹² Ученые записки № 97.

втором месте в предложении является законом.¹ Турнайзен высказал предположение, что старофранцузский язык свободно выбирал лишь первый элемент предложения, тогда как глагол всегда стоял на втором месте.²

Это постоянство места глагола в старофранцузском Турнайзен стремился объяснить формулой Вакернагеля: „слабо-ударенные слова обнаруживают склонность примыкать к сильно-ударенным словам в предложении“. Уже в латинском классическом языке на втором месте в предложении иногда мог стоять глагол *esse*, который, по формуле Вакернагеля, должен был примыкать к первому ударенному элементу: *Tum est Cato locutus* (Цицерон), *Onnis est e vita sublata jucunditas* (он же) и пр. Задача, следовательно, заключается в том, как замечает и сам Турнайзен, чтобы показать, почему данный тип с *verbum finitum* на втором месте, являвшийся в латинском языке только возможным (и, прибавим мы, сравнительно очень редким), сделался во французском в определенную эпоху закономерным.

Турнайзен предполагал, что все объясняется формулой Вакернагеля: там, где мы встречаем вспомогательный глагол на втором месте, первый элемент предложения должен быть ударенным, так что получается чередование ударенного и неударенного. Там же, где предложение начинается с атонного элемента, вспомогательный глагол не мог находиться на втором месте, так как в противном случае образовалось бы невозможное по Вакернагелю чередование двух неударенных слов.³

Турнайзен настаивал, что там, где вспомогательный глагол находился на втором месте, там первый элемент предложения обязательно должен был быть ударенным и обратно, передвижение вспомогательного глагола со второго места в предложении, в силу ритмической связи неударенной формы с ударенной, приводило к соответствующим изменениям и в судьбе начального элемента.

Исследователь считал, что положение глагола в старофранцузском обобщается по типу *Tum est Cato locutus*, в котором спрягаемая форма глагола (*est*) уже находится на втором месте. Тип же, в котором вспомогательный глагол оказывался на втором месте, получал широкое распространение в старофранцузском вследствие того, что подлежащее (ударенный элемент) находилось, как правило, на

¹ Там же стр. 289.

² Там же стр. 290—291.

³ Там же, стр. 30.

первом месте и притяжение к нему неударенной формы вспомогательного глагола определялось „законом“ Вакернагеля: тяготение неударенного элемента к ударенному. Таким образом, на поставленный им же вопрос: почему в нехарактерном для латинского языка типе с личной формой вспомогательного глагола на втором месте (*Tum est Cato locutus*) место данной личной формы глагола распространяется на все глаголы в старофранцузском и из возможного становится закономерным, Турнайзен стремился разрешить при помощи схемы Вакернагеля: ударенная форма (подлежащее) находилась на первом месте, следовательно к ней тяготела неударенная форма вспомогательного глагола, место которого впоследствии обобщается для всех глаголов, вспомогательных и самостоятельных, простых и сложных.¹

Исходя из описательной конструкции типа *est... locutus*, Турнайзен подчеркивает рост ее значения уже в поздней латыни и в старофранцузском. Ряд глаголов (*habere, venire*, а затем *aller* и др.) получают вспомогательное значение и увеличивают степень распространения описательных оборотов. Распадение отложительных глаголов, их растворение в обычном типе, приводит к тому же распространению перифразических времен.

Ис толкование Турнайзена оказывается, однако, очень уязвимым. Сам автор вынужден признать, что в старофранцузском глагол не всегда примыкает к „первому ударенному элементу предложения“, это только идеальный случай, и что между латинским и старофранцузским типом все же образуется „большой разрыв“, объяснить который он не в состоянии.² Обращаясь к тексту, на основе которого Турнайзен строил свои выводы, мы действительно замечаем, что так наз. чередование ударенных и неударенных форм не только имеет исключения и отклонения, но и вообще оказывается фикцией: *Il li met se main en la siue* (Aucassin et Nicolette, изд. H. Suchier, 1903, стр. 14, строчка 65); *Ele s'estra'nt en son mantel en l'onbre del piler* (20,5). Если в этих примерах ударенные формы глагола как будто следуют за атональными подлежащими, то: *Nicolette se de'nen'a mout, si com vos aves oi* (21,1) сразу же осложняют и опровергают форму ритмического чередования, как только вместо

¹ Там же, стр. 302.

² Там же, стр. 303. Хотя Турнайзен и старается доказать, что положение глагола на втором месте в предложении является для XIII века уже законом (стр. 290), тем не менее перечисление всевозможных отклонений от этого „закона“ в одном только „Окассине“ занимает у автора пять страниц (стр. 291—296).

местоименного подлежащего появляется подлежащее именное, образуя столкновение двух ударенных форм: *Nicolette se dementa*, *Aucassin senti* и т. д.

Но дело не только в тексте XIII века. Обращаясь к латинской эпохе, мы еще раз убеждаемся в несостоятельности ритмического истолкования. Но, прежде чем перейти к позитивному разрешению вопроса, остановимся еще на одной попытке ритмического построения.

В своем историческом синтаксисе Лерх вслед за Морфом¹ указывает, что в старофранцузском были возможны следующие основные четыре конструкции порядка слов с описательной формой глагола:

1. *le chastel ad pris* (он захватил замо́к).
2. *ad pris le chastel* (= новофранцузский тип)
3. *ad le chastel pris*
4. *pris ad le chastel*

Первый тип порядка слов (*'le chastel ad pris*) с дополнением перед глаголом был наиболее распространенным в древнейших памятниках французского языка. Затем идут другие конструкции в порядке убывающей частоты из употребления. Лерх стремится объяснить, почему первый из четырех приведенных типов порядка слов был наиболее распространенным в древнейшую эпоху. Оказывается, как убеждает нас исследователь, несмотря на то, что „вторая и третья конструкции, казалось, в большей степени соответствовали естественному, логическому порядку“, тем не менее побеждает первая конструкция, как „более отвечающая ритмическому принципу.“² Почему же первая конструкция была ритмически „лучше“? И здесь, как и у Турнайзена, приходит на помощь формула Вакернагеля. Оказывается в первой конструкции мы имеем строгое чередование ударенных и неударенных (или слабо-ударенных) форм, чего нет, по мнению Лерха, в других случаях. Исследователь рассматривает *le chastel* в первой конструкции как одно слово, так что получается чередование ударенного слова (*le chastel*) со слабо ударенным или неударенным (*ad*), тогда как во второй и третьей конструкциях „сталкиваются два ударенных тона“ (*pris* и *chastel*).³ Сравнивая затем вторую конструкцию (*ad pris le chastel*) с третьей (*ad le chastel pris*), Лерх объясняет большую распространенность второй тем, что в третьей конструкции „сталкиваются два ударенных тона“ (*chastel*, *pris*), чего будю бы нет во второй кон-

¹ Lerch. Hist. franz. Syntax, III, 1934 стр. 356.

² Там же.

³ Там же, III, стр. 357.

струкции, „так как существительное сопровождается артиклем“.¹

Следовательно, анализируя „ритмические преимущества“ первой конструкции по сравнению со второй и третьей, Лерх рассматривает существительное вместе с артиклем (*le chastel*), в результате чего получается одна ударенная форма, к которой примыкает атонная (*ad*), причем во второй и третьей конструкциях оказывается одинаковое „столкновение ударенных тонов“. Рассматривая же „ритмические преимущества“ второй конструкции по сравнению с третьей, Лерх то же существительное (*chastel*) произвольно отделяет от артикля, так что во второй конструкции уже не оказывается „столкновения двух сильных ударений“, как это раньше утверждал исследователь при сравнении второй конструкции с первой.

Так обнаруживается полная несостоятельность ритмического истолкования. Почему вообще одну конструкцию надо считать „естественной“, другую „неестественной“, и что такое „естественное“ и „неестественное“ в синтаксисе—все это остается совершенно неясным. Лерху кажется, что „лучший“ ритм это тот, который основан на чередовании ударенных и неударенных форм. Но факты не укладываются в схему, и исследователь искусственно вставляет их.

Метод Лерха в конце концов очень прост: порядок слов в типе *A* ритмически „лучше“ порядка слов в типах *B* и *B*, но порядок слов в типе *B* в свою очередь ритмически „лучше“ порядка слов в типе *B*. Поэтому конструкция типа *A* встречается чаще конструкции типа *B*, но *B*, в свою очередь, более распространенная конструкция, чем *B*. Все определяется ритмом, все держится на субъективном представлении о „благоприятном“ (*günstig*) и „неблагоприятном“ (*ungünstig*) ритме.

Лерх по существу отказывается от семантико-синтаксического анализа форм описательного прошедшего, т. е. от важнейшей проблемы.

Порядок слов внутри описательного прошедшего (*constructum habeo* или *habeo constructum*) должен многое объяснить в развитии этого типа прошедшего времени в романских языках. Как видно на основании материалов, приводимых Тильманом в его специальном исследовании об этой конструкции в латинском языке,² тип описательного глагольного образования, впоследствии превратившийся в прошедшее

¹ Там же.

² Ph. Thielmann. Habere mit dem. Part. Perf. Pass. Archiv f. lateinische Lexikographie und Grammatik, 1885.

время,¹ уже широко был распространен и в классической, и особенно в поздней латыни, однако причастие внутри этой конструкции было в латинском языке, как правило, на первом месте (*constructum... habeo*, *compertum... habeo*, а не *habeo... constructum*, *habeo... compertum* и т. д.). Хотя сам Тильман и не делает этого вывода, но это с неизбежностью вытекает из простого подсчета многочисленных примеров, приводимых самим автором. Случаи, когда вспомогательный глагол в описательной конструкции находится на первом месте (тип *habeo constructum*, т. е. будущий романский тип) сравнительно очень редки, тогда как примеры с противоположной последовательностью слов встречаются в большом количестве и в классической, и особенно, в поздней латыни (тип *constructum habeo*, не сохранившийся в романских языках). Мы видели, что и Турнайзен, исходивший из типа *est... locutus*, прекрасно понимал, что это нехарактерный для латинского языка порядок слов, воспринимавшийся как инверсия (см. выше его пример: *Tum est Cato locutus*). Поздняя латынь не дает, повидимому, увеличения типа *habeo constructum* (здесь также преобладает *constructum habeo*), что крайне осложняет проблему.²

До сих пор ни один из известных нам исследователей, занимавшихся историей описательного прошедшего в романских языках, не обращал внимания на то, что для истолкования романского описательного типа из латинского надо прежде всего объяснить переход латинского типа *constructum habeo* в романский *habeo constructum*. Е. Herzog, например, все свое внимание устремляет на то, чтобы осветить вопрос о том, как и когда тип описательного глагольного образования получает значение прошедшего времени, но исследователь исходит из типа *habeo constructum*, как из начального, исходного, древнейшего, даже не ставя вопроса о его происхождении.³ А материалы Тильмана убеждают нас в том,

¹ По вопросу о том, когда описательная конструкция *habeo + part. perf. pass.* получает значение прошедшего времени, существуют разные точки зрения. Thielmann считал (цит. соч. стр. 543), что *habeo + p. p.* в значении перфекта актива восходит к IV в. н. э. Кое-какие зачатки такого значения эта конструкция приобретает у Августина и Тертуллиана. Nicolau относит (*Remarques sur les origines des formes périphrastiques passives et actives des langues romanes* Bulletin linguistique, publié par Rosetti, Бухарест. 1936, IV, стр. 29 сл.) перфектное значение перифрастического образования к более позднему времени, к VI в. к эпохе Григория Турского, у которого тип *episcopum inuitatum habes* приобретает уже явно романский характер. Ср. E. Herzog. Das 10 Partizip im Altromanischen, Beihefte zur Zsch. f. roman. Philologie, 1910, XXVI, стр. 94 сл.

² Thielmann, цит. соч., примеры *passim*.

³ E. Herzog, цит. соч.

что тип *habeo constructum* является отнюдь не древнейшим, а сравнительно поздним развитием из более старого типа с другим порядком слов (*constructum...habeo*), который оставался основным для всего латинского периода, включая и период поздней латыни. Но, повторяем, Тильман убеждает нас в этом только своим материалом, так как вся его работа представляет лишь собрание интересного материала, к сожалению, однако, совершенно недостаточно осмысленного.

Нельзя не отметить, что в другой своей работе, посвященной описательным конструкциям *habere* с инфинитивом и возникновению романского футурума, Тильман писал: „Что находится между *prendre* (народное *prindere*) *habeo* и *prindrai* Страссбургских Клятв, между простым сочетанием двух элементов и почти синтетическим их соединением“ остается „единственным темным моментом“ в образовании романского футурума.¹

Тильману кажется, что обосновать переход латинского типа *prendre habeo* в романский *prindrai* очень трудно, ибо уже в древнейших памятниках французского языка мы имеем только слитные формы, которых совсем не было в латинском. Но Тильмана несколько не удивляет другой факт: переход латинского типа *constructum habeo* в романский тип *habeo constructum*. Следовательно, если в работе, посвященной образованию романского футурума, Тильман все же считает необходимым объяснить переход *prendre habeo* > *prindrai*, то в исследовании о перифрастическом прошедшем тот же автор даже не замечает перехода *constructum habeo* > *habeo constructum*.

Мы же думаем, что обосновать этот второй переход не менее важно, хотя в некотором отношении и значительно труднее, чем прояснить „темный момент“ в первом случае.

Prendre habeo уж имеет тот порядок слов, который сохраняется во всех романских языках при стягивании элементов футурума. Кроме этого, слитное будущее время, как известно, не во всех романских языках существует с древнейших времен, как во французском и итальянском, а является либо результатом длительного исторического развития, как, например, в испанском, либо до сих пор еще сохраняет в известных случаях свой старинный облик, как в языке португальском, в котором составные части футурума еще могут писаться раздельно. Следовательно линия развития типа *prendre habeo* > *prindrai* с точки зрения порядка

¹ Th. Thielmann. Habere mit dem Infinitiv und die Entstehung des romanischen Futurums. Archiv für latein. Lexikographie und Grammatik, 1885, II, стр. 201.

слов не представляется загадочной. Иначе обстоит дело с порядком слов внутри описательного прошедшего, в котором латинская последовательность слов с причастием на первом месте (тип *constructum habeo*) сравнительно редко встречается уже в средневековом периоде развития романских языков,¹ а в дальнейшем повсеместно вытесняется конструкцией со вспомогательным глаголом (все равно с *habere* или с каким-нибудь другим глаголом в функции вспомогательного) на первом месте. Но даже независимо от всех этих условий переход *prendre habeo* > *prendrai* представляется нам гораздо очевиднее, семантически проще, чем переход *constructum habeo* > *habeo constructum*.

Между тем исследователи, неоднократно пыгавшиеся истолковать этот первый переход,² оставили без всякого внимания второе, несомненно более сложное развитие.

Так обнаруживается, что исследователи, стремившиеся ритмически объяснить передвижение глагола с конца на второе место в предложении, исходя из описательных глагольных образований (Турнайзен, Лерх и др.), прошли мимо важнейшего вопроса о порядке слов внутри этих образований, определяемого семантико-синтаксическими отношениями между причастием и так наз. вспомогательным глаголом. А мы сейчас увидим, как этот „частный“ вопрос о порядке слов внутри описательного времени связан с общей проблемой места глагола в предложении.

Как указывает Тильман, глагол *habere* в ранней и классической латыни „сохранял в подавляющем большинстве случаев известную самостоятельность“ в описательных конструкциях и лишь впоследствии стал терять свое самостоятельное значение, превращаясь тем самым во вспомогательный глагол.³ Следовательно, глагол *habere*, пока он имел „известное самостоятельное значение“, мог не только подвергаться аттракции, но и сам притягивать к себе причастие. Однако в латинском языке, даже в позднюю эпоху, тип *habeo constructum*, который основан на аттракции причастия к глаголу *habere*, встречается, как было уже указано,

¹ E. Richter. Zur Entwicklung, цит. соч., стр. 36.

² См., например, A. Salenius. Vitae patrum Kritische Untersuchungen über Text, Syntax und Wortschatz der spätlateinischen Vitae patrum, Lund., 1920, стр. 289—290. Впрочем, зарубежные романисты и здесь обычно лишь констатируют слияние *habere* с инфинитивом, но не объясняют его. См., напр.: A. Ewert. The french language. London, 1933, стр. 176.

³ Thielmann. Habere mit dem Part. Perf. Pass., стр. 543. Необходимо подчеркнуть, что и в древнейших памятниках старофранцузского составные части описательного времени еще могли, как известно, сохранять некоторую самостоятельность.

сравнительно очень редко. В романских же языках именно этот тип получает широкое распространение уже с древнейших памятников, а латинский порядок слов (*constructum habeo*) удерживается еще в старых текстах в немногочисленных случаях, а затем и совершенно исчезает.

Происходит резкий скачок, до сих пор еще совершенно не объясненный. Мы попытаемся все же осмыслить причины этого важного и интересного синтаксического развития. В латинском языке, как известно, глагол, как правило, употребляется без местоимения: *Quartum annu n ago et octogesimu n* (Cicero Sen., 32). *Bellu n scripturus su n, quod populus Romanus cu n Jugurtha gessit* (Sall. Jug., 5, 1). *Sublato tyranno, tyrannida manere video: na n, quae ille facturur non fuit, ea fiunt* (Cic., Att., 14, 2). *Neque sibi homines feror temperaturos existimabat, quin in Italian contenderent* (Caesar, B. G., I, 33, 4).¹

В старофранцузском, в связи с общим развитием аналитического строя и распадом флексий личное местоимение постепенно начинает сопрозождать личные формы глагола. В „Евляии“ (около 900 г.), например, местоименное подлежащее уже встречается в половине главных предложений, такое же соотношение сохраняется в „Песне о Роланде“.

¹ Ср. попытку С. В. Шервинского в переводе „Метаморфоз“ Овидия (Публий Овидий Назон Метаморфозы. Перевод С. В. Шервинского. М., 1933, стр. 175) передать эту синтаксическую особенность латинского языка (употребление глагола без личного местоимения-подлежащего или резкое отделение их друг от друга) русскому читателю:

Тянет к Кенку она: „Ах, так-то, супруг мой любезный, Так-то, мой бедный, ко мне возвращешься?“ — *молвит*. У моря Есть там плотина, людьми возведенная: первое буйство Волн разбивает она и напор водяной ослабляет. Вот вскочила туда, и не чудо ли? вдруг *полетела*.

А вот в оригинале начало и конец этого отрывка: ... *tendensque crementes Ad Ceysa manus... Insilit huc; mirumque fuit potuisse; volabat*. Приводя это сопоставление в своей книге о художественном переводе А. Федоров комментирует его так: „В оригинале не только последнее, но и начальное предложение этого отрезка—бесподлежащее. В переводе же начальное предложение имеет подлежащее (она, т. е. Альтиона). Сказуемое последнего предложения в переводе связано с подлежащим первого, и хотя между этими предложениями приходится два других—каждое со своим собственным подлежащим—двусмысленности не возникает. Такое преобладание сказуемого над подлежащим дает отчетливый смысловый эффект, и воспроизводит если не особенность стиля Овидия, то определенную и характерную черту латинской речи...“ (А. Федоров. О художественном переводе. 1941, стр. 74—75). Все же, как видим, Шервинский был вынужден отступить от латинского синтаксиса в первом предложении и употребить местоименное подлежащее. В противном случае в русском языке конструкция эта могла приобрести двусмысленность.

В XIII в. личное местоимение перед личной формой глагола употребляется уже в большинстве случаев и по мере дальнейшего развития аналитического строя и унификации глагольных окончаний тип личной формы глагола с обязательным личным местоимением становится постепенно нормой языка.¹

В „Aucassin et Nicolette“ (начало XIII в.), в тексте, в котором Турнайзен обнаружил стремление глагола находиться на втором месте в предложении, местоимение в подавляющем большинстве случаев уже сопровождает личные формы глагола. *Aucassins fu mis en prison, si con vos avez oi et entendu* (16,1). *Se Diu plaist, je m'en garderai bien* (19,29). *Li murs fu depéciés, s'estoit rehordés, et ele mon'a deseure, si fist tant qu'ele fu en're le mur et le fossé, et ele garda contretu', si vit le fossé mout parfont et mout roide, s'ot mout grant paor. He dix i fait ele, douce creature! se je me lais cair, je briserai le col, et se je remain ci, on me prendra demain ...* (20,3). Примеры можно легко увеличить из любого места текста. Нельзя не отметить, что в тех случаях, где личное местоимение все же отсутствует перед личной формой глагола, эта последняя находится как бы в сфере семантического поля предшествующего или предшествующих местоимений. Так, в последнем примере: *ele mon'a, ele fu, ele gerda*, а затем *vit*. Это *vit*, несомненно, в сфере воздействия предшествующих *ele*².

Можно утверждать, как нам кажется, что передвижение глагола с конца предложения на второе место связано с образованием и развитием новой функции местоимения. Местоимение становится обязательным спутником всех личных форм глагола. Эта новая функция местоимения не была чем-то случайным в истории языка. Развитие аналитического строя и связанная с ним общая унификация флексий, в том числе и глагольных, приводили к тому, что роль местоимений, как показателей лица глагола, все более увеличивалась. Связь между глаголом и местоимением постепенно превращается в существенную семантико-синтаксическую связь между действием и лицом, совершающим это действие. Постепенно атонная форма личного местоимения становится так же невозможной без глагола, как и личная форма глагола без местоимения. Но личное местоимение в именительном падеже—это подлежащее, а подлежащее уже в латинском языке находилось, как правило, на первом

¹ Nyrop. *Grammaire historique*, т. V, стр. 206 сл.

² Ср. нашу работу: *Этюды по синтаксису испанского языка*. Научный бюллетень ЛГУ, № 14—15, 1947.

месте. Следовательно глагол, обнаруживающий тем большее синтаксическое тяготение к личной форме местоимения, чем дальше развивались контуры новой аналитической типологии языка, постепенно перетягивается на второе место, выступая обычно непосредственно за личной формой местоимения, которое, как подлежащее, находилось на первом месте в предложении.

Обращаемся, для проверки, к тому же тексту, который изучал и Турнайзен, к „Aucassin et Nicolette“. Оказывается, почти во всех случаях, когда глагол стоит на втором месте в предложении он следует либо за местоимением, т. е. за местоименным подлежащим, либо (значительно реже) за именным подлежащим: *ele senti, ele se leva, il a comencié, ele se demanta mout, il pensa tant, il se part de lui, se j'estoie ausi rices hom, je sai bien que vos estes Aucassins, je vos dirai, je vig lui matin, Aucassins oi, Nicolette eut faite le loge* и многие, многие другие.

Следует иметь в виду, что личное местоимение в функции подлежащего имело особенно широкое распространение в старофранцузском, как и в других средневековых европейских языках. В начале какого-нибудь абзаца, отрывка, строфы или *laisse* обычно употреблялось именное подлежащее, а затем уже шло местоименное подлежащее, повторяющееся иногда много раз. Так, в том же „Aucassin et Nicolette“: *Nicolette fait*, а потом *ele s'estraint, ele prent congié ele vint, ele monta* и пр. (стр. 20). *Aucassins ala par le forest*, а затем *il pansa, il ne sentoit, il vit* и т. д. (стр. 27). Вот почему мы вправе считать, что значение местоименного подлежащего было особенно велико как раз в ту эпоху, когда происходил процесс перехода глагола к центру предложения.

Конечно, стягивание личной формы глагола с личным местоимением это очень длительный процесс, и в старофранцузском личная форма глагола могла употребляться и без местоимения (см. выше примеры типа *ot mout grant paor*). Но не следует забывать, что и закрепление глагола на втором месте в предложении произошло не сразу. Для старофранцузского это только тенденция, и даже Турнайзен, который стремился превратить эту тенденцию в закон, будто бы непреклонно действующий уже в XIII в., все же был вынужден внести в этот „закон“ множество оговорок.¹

Несомненно лишь одно: если идти от более древних памятников французского языка к более новым, то можно установить, что глагол лишь постепенно закрепляет свое

¹ Thurneysen, цит. соч., стр. 291—296.

новое положение на втором месте в предложении, и обратно, отправляясь от поздних памятников к более старым, встречаешь все большее количество случаев, в которых глагол находится на втором месте (ср. в „Страсбургских клятвах“: *in quant Deus savoir et podir me dunat* в переводе на современный язык у Брюно: *que Dieu m'en donne le savoir et le pouvoir*, Histoire, I, стр. 14. В „Евлалии“: *la donnzelle celle kose non contredist*, 23. Ср. приведенные выше *Le chastel ad pris* и др.). Совершенно такое же положение в истории языка и с личным местоимением. Чем древнее памятник, тем чаще встречаются личные формы глагола без местоимения. Чем более поздний памятник, тем реже становятся такие случаи. Следовательно можно утверждать, что процесс закрепления семантико-синтаксической связи между глаголом и местоимением идет параллельно с передвижением глагола на второе место в предложении.

Если сравнить место глагола в „Песне о Роланде“ (конец XI в.) и в „Окассене“ (начало XIII в.), то можно заметить, что в первом тексте и глагол более свободно передвигается внутри предложения и личное местоимение еще очень часто не сопровождает *verbum finitum*. В „Окассене“, как мы видели, личное местоимение, как правило, уже сопровождает *verbum finitum* и глагол переходит на второе место. Анализ первых же строк „Роланда“ убеждает нас во взаимозависимости этих фактов. *Sur un perrun de marbre bloi se culchet* (12, издание L. Gautier), читаем мы о короле Мерсии. Местоимения здесь нет и глагол стоит в конце предложения. Но через строчку появляется местоимение и притягивает к себе глагол: *il en apelet e ses dux e ses cuntes*. Через три строчки опять появляется местоимение со следующим за ним глаголом (*Jo nen ai*), но дальнейшее развитие предложения опять отбрасывает глагол к концу (*ki bataille li dunget*), так как синтаксическая связь между относительным местоимением и глаголом (*ki... dunget*) оказывается слабее синтаксической связи между личным местоимением и глаголом (*Jo nen ai*). *Li Emperere se faite balz e liez; Cordres ad prise* (96—97). Здесь опять местоимение не выражено, и глагол оказывается после дополнения (*Cordres ad prise*). Но появляющееся местоимение перетягивает к себе глагол и так возникает современное *il a pris Cordoue*.

Отдельные отклонения от этой взаимной зависимости места глагола и местоименного подлежащего, которые можно обнаружить в любом тексте, нисколько не опровергают однако намеченной нами общей тенденции развития.

В свете этой тенденции становится понятной и та перестановка элементов внутри типа *constructum habeo* > *habeo constructum*, с которой мы начали рассмотрение вопроса о месте глагола. Личная форма глагола притягивается к местоимению, находящемуся впереди, откуда романский тип *habeo constructum*. Мы уже подчеркивали, что это притяжение отнюдь не формальное, а семантико-синтаксическое, ибо внутренние синтаксические отношения в аналитическом типе *J'ai construit* приближаются к внутренним синтаксическим связям флексивного типа *canto*, хотя и выражаются на совершенно новой основе. Никто не сомневается в том, что в типе *canto* соотношение между основой *cant* и флексией *o* является важным синтаксическим принципом флексивных языков, но также несомненно и то, что с определенного периода связь между *je* и *chante*, между *je+ai+chanté* приобретает, если и не столь императивное, то не менее важное семантико-синтаксическое значение в истории аналитических языков.

Так намечается возможность сразу ответить на два, глубоко связанные между собой, вопроса: и на более частный вопрос о причине перехода латинского типа *constructum habeo* в романский тип *habeo constructum*, и на более общий вопрос об изменении места глагола в предложении, о передвижении глагола с конца предложения к его центру.¹

¹ Наши выводы о положении глагола во французском предложении принципиально отличны не только от обычных заключений зарубежных романистов, но и от построений германистов. F. Maurer, например, в своем исследовании о месте глагола в немецком предложении так прямо и утверждает, что он „отказывается от установления причин, которые определяли начальное положение глагола в древневерхнемецком“: Fr. Maurer. Zur Anfangsstellung des Verbs im Deutschen, Beiträge zur germanischen Sprachwissenschaft. Festschrift für Behaghel, Heidelberg, 1924, стр. 183. Не выходит за пределы простого и беспомощного констатирования явлений и новейший американский исследователь-романист Н. F. Muller („On the origin of French word order“, *Romanic Review*, 1939 и его же, „The Beginnings of fixed French word order“, *Modern Language Notes*, Baltimore, LVII, 1942, стр. 546—552), ограничивающийся повторением старых положений.

СЛОВА-ЗАМЕСТИТЕЛИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Проф. В. Н. Ярцева

При рассмотрении грамматических конструкций современного английского языка необходимо исходить из анализа целого словосочетания, а не отдельного слова. Буржуазные лингвисты, сводившие изучение строя языка к описанию форм слов без рассмотрения семантико-синтаксических связей внутри предложения, не смогли вскрыть закономерности синтаксической структуры английского языка. Объясняется это также и тем, что скованные формальным историко-генетическим методом буржуазные ученые не учитывали важности исследования живых языков, подменяя подлинно научное изучение современного языка эмпирической регистрацией фактов. Описательные грамматики английского языка, приводя фактический материал (на который иногда даются ссылки в нашей статье), не дают теоретических обобщений, не показывают того, как отдельные грамматические явления современного английского языка связаны с общими закономерностями его строя и в частности не учитывают специфических черт словосочетания, возникающих при аналитической технике выражения грамматических значений. Между тем грамматическое, а часто и лексическое значение данного слова определяется в современном английском языке только по его синтаксическим связям с другими членами словосочетания. Поэтому роль синтаксического контекста при аналитической технике огромна, а слово вне словосочетания беспомощно. Из этого следует, что словосочетание в аналитическом языке имеет более тесные связи, чем словосочетание в языках флективных, так как там каждое слово как бы „опирается“ на своих соседей. С другой стороны, раз грамматическое и лексическое значение слова выявляется не морфологическими, а синтаксическими сред-

ствами, то словосочетание должно быть обязательно структурно закончено, так как его отдельные члены дополняют, поясняют друг друга.

Одним из средств связи слов во флективных языках является согласование. Его отсутствие в языках аналитических не только не означает расшатывания связей и освобождения каждого из членов словосочетания, но, наоборот, приводит к теснейшему слиянию их. В современном английском языке мы находим грамматические обороты, которые можно характеризовать как неделимые сочетания, так как нельзя провести границу между словами, их составляющими, без полного нарушения их смысла.¹ Например: I hate you to go away. — He allowed his house to be photographed. — He was afraid of her knowing the truth.

Необходимость для словосочетания быть структурно законченным дает иногда возможность оттягивать появление дополняющего члена, так как неполнота первой части словосочетания заставит ожидать чего-то идущего дальше. Поэтому в английском языке обычны такие конструкции, как: He was offered, and declined, the office of poet-laureate. — I love, and am loved by, my wife.

Обязательная структурная законченность словосочетания вынуждает при изъятии значимых слов из данного комплекса заменять их „словами-заместителями“, поставленными на то же место. С другой стороны, спаянность словосочетания при аналитическом построении делает вполне возможным подобное „изъятие“ знаменательного слова (при условии замены его словом служебным), так как из общего контекста будет ясно и значение и синтаксические связи „слова-заместителя“. Это приводит к широкому развигию в современном английском языке особой категории „слов-заместителей“, которые являются порождением аналигического строя английского языка.

По своему характеру эти слова отчасти напоминают местоимения, но не могут быть к ним приравнены ни семантически, ни функционально (хотя некоторые из слов-заместителей этимологически связаны с местоимениями), будучи гораздо более всеобъемлющими. Практически эти слова могут заменять любой член предложения и, наряду с заместителями имен, есть и заместители глаголов. С наличием указанной категории связано и существование в английском языке особых форм некоторых слов, которые эти последние имеют тогда, когда выступают в роли слов-заместителей.

¹ Б. А. Ильиш. Современный английский язык, Л., 1940 стр. 50—51.

В качестве подлежащего в английском языке часто употребляется *it*, по происхождению личное местоимение среднего рода, но по своей семантике и функции отошедшее от этого последнего и ставшее словом-заместителем. В ряде случаев *it* вовсе не значит „оно“, а лишь играет роль подлежащего при глаголе. Крейзинга пишет: ¹ «Нужно отличать местоимение *it* как подлежащее без самостоятельного значения от *it*, соответствующего определенной идее в уме у говорящего; его уместно назвать „формальным *it*.“ Мы находим этот тип предложения: 1) с глаголами, описывающими погоду (*it snows*), 2) с глаголом *to be* (*it is cold*) и в предложениях с прилагательным или существительным в сопровождении инфинитива или формы на *—ing* в роли предикативного члена. (*It is difficult to prevent this. — It is inconvenient arriving in London on Sunday*).

Следовательно, подобные конструкции употребляются чаще всего тогда, когда подлежащее, выраженное придаточным предложением или оборотом с отглагольным именем, слишком тяжело для того, чтобы поставить его перед глаголом. Сообщение как бы расчленяется на две части: грамматически законченное в первой части, оно семантически раскрывается во второй. *When B. was in the neighbourhood it amused him, and at the same time he felt it positively a duty, to be shocking* (Huxl., Point, 283).²

Несомненно, однако, что оборот с отглагольным именем в роли подлежащего и заменяющее его *it*, хотя и соотносительны, но не равноценны. Каждая из этих конструкций дает акцент той или другой части высказывания и поэтому они зачастую необратимы. Что *it* может употребляться как чисто формальное подлежащее, доказывается его использованием при старых безличных глаголах, прежняя форма которых стала нетерпима в рамках современного спряжения. Исторически *it* одно из самых ранних слов-заместителей, так как его местоименный и вместе с тем неопределенный характер делал его удобным для этой роли.

К конструкциям с *It* в роли субъекта близко подходят по значению обороты с *there*. Эта вводная частица формально

¹ E. Kruisinga. A Handbook of Present-day English. Groningen, P. II, 3, 1932, 265.

² Грамматические конструкции, разбираемые в настоящей статье, настолько типичны, что могут иллюстрироваться примерами из любого произведения на современном английском языке. Материалом для иллюстраций в основном служили следующие книги: A. Huxley. Point Counter Point, Leipzig, 1929, Tanchitz ed. v. I (сокращенно: Huxl. Point). — J. B. Priestley. Black-out in Grelley, London, 1943, W. Heinemann ed. (сокращенно: Priest Black). — R. Greenwood. Mr. Bunting, London, 1940 (сокращенно: Green. Bunt.).

отлична (в смысле произношения) от наречия *there* и оба могут рядом или с промежуточным словом встречаться в одном и том же предложении: *There indeed there was strangeness enough...* (Walpole, *Fortitude*, I, 96). Так же как и в случае с *it*, начиная предложение с *there*, мы получаем возможность отнести реальное подлежащее на конец фразы и тем самым эмфатически его выделить. *Now that there was no danger of his having to stay, he could afford to insist.* (Huxl. *Point*, 14). — *For there had always been cares and worries, he reminded himself* (Green. *Bunt.*, 8). — *There's a lot of luck in this game,...* (Priest. *Elack.*, 3).

Есперсен указывает, что во многих отношениях (занимаемое место в предложении и т. д.) это *there* ведет себя как обыкновенное подлежащее и многие грамматисты и считают его таковым.¹ Однако сам Есперсен осторожно называет его „третьестепенным членом“ (*tertiary or „lesser subject“*) и отмечает, что это *there* обычно указывает на существование чего-то, о чем более полная информация дается позже.

Спорность трактовки *there* в оборотах *there is*, *there was*, как формального подлежащего, заключается в том, что если в конструкции с *it* глагол всегда стоит в единственном числе, т. е. согласуется с *it* как со своим подлежащим вне зависимости от того, что следует дальше (например *it was the great English historians who taught us this*), то в случаях с *there* мы обычно находим согласование глагола-сказуемого с логическим субъектом (*there have been many strange rumours about him.*). Правда, в разговорном английском языке встречается и единственное число глагола, которое как будто бы вызывается именно *there*, поскольку логическое подлежащее стоит во множественном числе, но эти случаи не являются общей нормой. Пример: „Ah“, Stanway mused, „there's no first class masters in this district“ (Bennett, *Leonora*, 7).

С другой стороны, в плане историческом мы находим отчетливый процесс замены *it* на *there* в оборотах с глаголом бытия, что как будто доказывает их эквивалентность. На это ссылается и Кёрм, который считает *there* в такой же мере, как и *it*, формальным подлежащим, предвосхищающим реальное подлежащее (*anticipatory subject*). „В более старом английском языке перед глаголом „быть“ мы иногда находим *it* вместо *there*: „It was an English lady bright... And she would marry a Scottish knight“ (Scott, *Last Minstrel VI*) — „Cosin, it is no dealing with him“ (Marlowe, *Edward the*

¹ O. Jespersen. *Analytic Syntax*, Copenhagen, 1937, p. 139.

Second, I, 904)¹. В современном английском языке в этих случаях употребили бы *there*.

Исторически *there* — это указательное наречие, которое, будучи вынесено для эмпазы в начало предложения, вызывало инверсию глагола. Подобные примеры с *there* в начале предложения и постановкой глагола-сказуемого перед подлежащим встречаются с самых древних периодов английского языка. Когда при установлении твердого порядка слов любое слово, стоящее в утвердительном предложении перед глаголом, начало пониматься как его подлежащее, функция *there* могла быть переосмыслена. Подобный процесс переосмысления старых форм встречается в некоторых случаях. Кёрм замечает, что мы не вводим *it* в предложении „*To-day is the first of January*“, потому что „мы сейчас интерпретируем здесь *to-day* — когда-то ощущавшееся как наречие — как существительное, подлежащее для глагола *is*, так что этот оборот перестал быть безличным... В шекспировском „*Woe is me*“ *woe* воспринималось как существительное, подлежащее к глаголу, также как мы воспринимаем его и сейчас, но в более древнем типе построения *Me is (it) woe* оно было наречием, управлявшим дательным падежом *me*, и глагол *is* был безличным с подлежащим *it*, всегда опускаемым, поскольку предложение начиналось с дательного падежа“.²

Все эти параллели доказывают, что и *there* могло быть переосмыслено как подлежащее под влиянием того, что некоторые искорки английского языка называют *position press*. Вытеснение им в некоторых случаях *it*, выступающего в роли формального подлежащего, на что указывалось выше, инверсия в вопросительных предложениях (*is there*) — все это может служить доказательством восприятия *there* в современном английском языке как формального подлежащего. Противоречит этому только то, что не всегда глагол при нем стоит в единственном числе. Однако возникает вопрос, надо ли обязательно стремиться разложить оборот *there is* (и другие ему подобные), расчленив его на составные части и дифференцируются ли они сейчас языковым мышлением?

В том, что *there* отошло от своего этимологического источника — указательного наречия — и по значению и по фонетической форме, не остается никакого сомнения. Несомненно также, что оно примкнуло функционально к группе слов-заместителей, поскольку употребляется именно тогда, когда действительное подлежащее не стоит на присущем

¹ G. Curme Syntax, New York, 1931, p. 13.

² Ibid pp. 8—9.

ему месте — перед глаголом-сказуемым. Но, будучи по происхождению наречием — обстоятельством места, *there* включалось исторически в группу сказуемого и, в случае глагола-связки или подобного ему глагола с несамостоятельным значением, настолько прочно с ним сливалось, что образовало неразложимое целое. Замежим, что сейчас интересующее нас *there* употребляется именно со связочными глаголами, нормально с глаголом „быть“. В этих случаях весь оборот *there is* (также как и *there was* и ему подобные) представляет собой как бы форму-заместительницу, особую форму сказуемого, стоящего без предшествующего подлежащего или, точнее говоря, уже включающего его в своей синтетической форме. Как мы увидим далее, при разборе атрибутивных групп, подобные синтетические формы-заместительницы встречаются и в других областях английского языка и вместе со словами-заместителями составляют определенную систему. В том, что эта конструкция полностью укладывается в существующую систему, находится, с нашей точки зрения, добавочное доказательство правильности вышеприведенного толкования спорного оборота с *there*. Если принять это объяснение, то будут устранены указанные выше противоречия, а типы *is there*, *there were*, *there have been* и т. д. будут являться взаимочередующимися конструкциями.

Замену объекта находим мы в виде *it* и *so*, которые могут выступать и в роли анафорических и в роли предвещающих (*anticipatory*) объектов. В первом случае чаще используется *so*. Замена необходима для законченности словосочетания без повторения уже ясного из контекста объекта, причем достигается краткость выражения и вместе с тем грамматическая недвусмысленность, что особенно важно в английском языке, где транзитивность глагола определяется только синтаксически, по наличию при нем прямого дополнения „*You'll never write a good book*,“ *he had said oracularly „unless you write from the heart“*. *It was true*. *P. knew it*. *But was B. the man to say so*, *B. whose books . . .* (Huxl. Point, 266). — *A solid achievement, a solid position*. *Solid? Yes, he had thought so*. (Green. Funt., 8). — *People are always sighing in books but they rarely do it in real life*. (Priest. Black., 17).

При употреблении *it*, относящегося к последующему изложению, играют роль две противоположные тенденции, причем использование слова-заместителя оказывается удачным разрешением вопроса. Одна тенденция — это стремление закончить синтаксически словосочетание глагол + объект как можно скорее, другая — не отделять предикативного члена от глагола длинным дополнением. При использовании слова-заместителя слабо ударное *it* выполняет роль объекта,

а реальный объект, представляющий собою предложение или оборот с отглагольным именем, выносится на конец предложения. I soon brought it about that he thought better of it. — I found it difficult to refuse him his request. — Smiling with a pleasure which he would have found it hard to explain, he looked from one to the other. (Huxl. Point, 130). Miss F. felt it incumbent upon her to be particularly solicitous, scientifically so. (Huxl. Point, 255). Везде в этих примерах *it* играет чисто структурную роль, не имея самостоятельного значения. Если сочетание глагол + предикативный член неразложимо и уже приобрело характер сложногоглагольной формы, *it* не ставится. Например, *to think fit*, где словосочетание как бы приближается к сложному слову и имеет слабую ударный глагол.

It в роли анафоры употребляется достаточно часто. Иногда оно имеет характер очень конкретного указания. I knew that and she knew I knew it (Priest. Black., 41).

Часто, однако, оно просто отсылает к предшествующему изложению, без большой конкретизации: This was just what he wanted too, and I could see that the way I'd made it easy for him impressed him greatly in my favour (Priest. Black., 28). Однако чаще в роли анафоры выступает *so*: „It does say Brockleys, sir, doesn't it? Of course I can repack.“ — „You'll do so when I tell you.“ (Green. Bunt., 64). — „But how delightful for the rest of us!“ — „I suppose so“, said Walter (Huxl. Point, 182).

Как указывает Крейзинга (ук. соч., II, 2, 228), *so* может относиться и к последующему, но чаще в подобном употреблении встречается *it*. I have never, when I could have done so, taken the trouble to read original reviews of this little book. Предпочтение *so* как анафорического дополнения по сравнению с *it* объясняется может быть тем, что *it* несколько определеннее указывает на что-то, поэтому оно применяется для ссылок на словосочетание или слово, выступающее в роли объекта, в то время как *so*, происходящее от наречия, отсылает ко всему предшествующему содержанию, к мысли в целом, высказанной раньше, а не к какому-нибудь одному пункту ее.

Разумеется, в роли объекта встречается и указательное местоимение *that*, но оно сохраняет свой местоименный характер, более определенный, чем у слова-заместителя. Однако, когда *that* выступает в роли предваряющего объекта, оно имеет чисто формальное значение: „How could I have risked saying that about her being a Canadian?“ (Huxl. Point, 195).

В роли заместителя именной части сложного предиката (предикативного члена или определения к дополнению) выступают *that*, *it*, *so* и *such*. *So* отчетливо преобладает, но

вышеуказанные слова могут чередоваться, встречаясь в совершенно сходных конструкциях. „But he must be about a hundred by this time, isn't he?... I must say he doesn't look it.“ (Huxl. Point, 64). — „But aren't you one of my friends?“ she asked... — „Thank you for saying so.“ — „Thank you for being so“ she answered. (Huxl. Point, 146).

Иногда синтаксический разбор подобных конструкций очень труден, так как граница между дополнением и предикативным членом не всегда бывает ясна, поскольку исторически предикативный член может восходить к объекту. Крейзинга указывает на эту трудность: ¹ „Хорошо известно, что невозможно провести строгое разграничение между предикативным наречием и дополнениями. В иных случаях so выступает совершенно как дополнение, правда, не очень ясное, имея сходство с it или that, которые иногда могут заменить so, хотя нельзя сказать, чтобы эта замена не сказывалась в некоторой степени на значении“. Анализируя далее пример: „Although here and there a few students would prefer to take up mathematics, the number who did so was comparatively small“, Крейзинга считает, что do является здесь глаголом-заместителем, а so — заменой предикативного члена. Однако, можно спорить об интерпретации этого примера и расценивать глагол do как сохраняющий свое значение „делать“, а so, как прямое дополнение при этом глаголе.

That, such и so могут употребляться также и как предикативное определение к объекту. Например: His sister is tactful, but I couldn't call him that. — Is Beauty beautiful or is it only our eyes that make it so. В таком примере, как She made life interesting just because she found it so. (Times Lit. ²⁹ 190, 14), it служит заменой дополнения, а so — предикативным определением.

Наиболее любопытной чертой английского языка, получившей свое развитие в последнее время, является употребление to, как заместителя предикативного инфинитива. Широкое использование эта конструкция получает только с XIX в. ²

¹ E. Kruisinga, op. cit., II, 2.^o 221.

² Есперсен пишет по этому поводу: „Как должно определять это to? Я хотел бы назвать его новым типом местоимения; оно замещает инфинитив подобно тому, как it замещает существительное. Это чрезвычайно удобное использование to получило, повидимому, в этом столетии; оно подвергалось тому же преследованию со стороны ученых и мнимых грамматистов, как и большинство других новшеств, хотя и очень приемлемых“. (O. Jespersen. Progress in Language with special reference to English. London, 1894, 48).

То может заменять инфинитив при глаголе неполной предикации. But nobody in the family understood them, nobody wanted to. (Green. Bunt. 82). — „But why should I have him, if I don't want to?“ (Huxl. Point, 206). — Mayn't I even be unhappy, if I want to? (Huxl. Point, 247).

Слова, связанные с инфинитивом синтаксически и по смыслу, опускаются, как бы будучи подразумеваемы, но то восполняет недостающий член, обязательный при глаголе неполной предикации (последний пример можно было бы развернуто интерпретировать как: if I want to be unhappy). Также часто встречается to при глаголе to have в значении „долженствовать“: And there were blokes who went in for this stuff without having to. (Green. Bunt., 84). Встречается to с глаголом to go, указывающим на будущее время: „I wish we lived somewhere else“. — „Well, we ain't going to“, said Mr. Bunting firmly (Green. Bunt. 20). Встречается to в сочетании и с другими глаголами. „Will you have dinner with me one night?“ — „I'd like to“. (Priest. Black., 18). — „I like people who can hate“, „Lucy went on“. „I'll like knows how to“. (Huxl. Point., 209). С таким же успехом to, как заместитель инфинитива, может встречаться и при предикативных конструкциях с прилагательным. „Will you join us?“ I said I'd be delighted to (Priest. Black., 37).

В оборотах Accusativus cum Infinitivo мы также находим замену инфинитива на to. „Margorie, I won't go, if you don't want me to“. — „But I do want you to“, she answered. (Huxl. Point., 14). — „And if you treat your body in the way nature meant you to, as an equal, you attain to states of consciousness unknown to the vivisectioning ascetics“. (Huxl. Point, 162).

Обычно значение to, как слова-заместителя, легко раскрывается из контекста, так как оно служит всегда анафорой, вполне конкретно указывающей на глагол, стоящий в первой части изложения. В этом отношении to — настоящее слово-заместитель со всеми грамматическими функциями, ему присущими. Указание не на определенный инфинитив, а на какую-то целую мысль, подразумеваемую говорящим, встречается редко, но может попадаться в диалогах. Например: He leaned over her. The face that bent to kiss her was set in a kind of desperate madness. „No, no“. — „But why not?“ — „It wouldn't do“, she said. „Why not?“ — „... you seem to forget me, I don't want to“. (Huxl. Point, 235). Как можно раскрыть это to? Как I don't want to be kissed? Мысль выражена здесь слишком расплывчато.

Исторически to в вышеуказанной функции восходит, очевидно, к предлогу дательного падежа при старом скло-

няемом инфинитиве, но полностью от него отошло даже по фонетической форме, так как несет на себе ударение. Его употребление как слова-заместителя всецело обусловлено спецификой структуры словосочетания в английском языке, где предикативная группа должна иметь законченное построение и связочный глагол должен иметь при себе какой-нибудь дополняющий его член.

Общей чертой всех указанных слов-заместителей является уже некоторая оторванность от их этимологических дублетов. Их значение и функция в словосочетании определяется только по их связи с окружающими словами, что отличает слова-заместители от обычных местоимений. Имеют слова-заместители чисто структурное значение, и именно их семантическая опустошенность позволяет, как мы видели, заменять одно другим.

Как заместители глагола-сказуемого в современном английском языке может выступать ряд глаголов: *do, be, have, can, may, must, will, would, shall, should*. Часто они употребляются в ответах на вопросы, где невозможно по-английски сказать только „да“ или „нет“, а необходимо дать в миниатюре законченное предложение, состоящее из подлежащего и глагола заместителя. „I hear you're in want of an assistant editor“, — „Yes, I am“. (Huxl. Point, 215). Иногда повторяется тот же глагол, который уже был употреблен раньше в роли вспомогательного. No one, Mr. Bunting believed, was required to send in so many written reports as he was. (Green. Bunt., 13). — „I've seen a lot of life, more than most of these people“, — „Yes“, I told her, „I know you have“ (Priest. Black., 43). — „We seem to have wandered rather a long way from that“, — „Well, as a matter of fact we haven't“. (Huxl. Point, 263). — She didn't know why she was taking this line, but I thought that I did. (Priest. Black., 36). Однако существенным здесь является то обстоятельство, что глагол не просто механически повторяется, но служит замещением полной глагольной формы, нужной по смыслу. „In other words I didn't make as much of an outcry as you hoped I would“. (Huxl. Point, 207). — She had expected to hear from him; but he did not write. Not that there was any good reason why he should. (Huxl. Point, 145). — The moment he passed the pillar box he cast business cares over his shoulder like an old shoe. At least he always had until to-day. (Green, Bunt., 8). В этих последних примерах глаголы *would, should, had* употреблены как заместители полных форм (*would make, should have written, had cast*), хотя они и не встречаются в предшествующем предложении. Глагол-заместитель играет здесь чисто грамматическую роль,

а содержание оборота в целом раскрывается по связи с предыдущим изложением.

Глагол может замещать не только сложную форму, но и составное сказуемое со всеми включающимися в него элементами: *Play (i. e. gambling) should be reserved for the old — the old get so quickly deadened they do not go through the terrible moments younger people do.* (Lawndes, Chink, 2). Наречия, определяющие полную глагольную форму, могут сохраняться и при глаголе-заместителе: *I've never agreed to anything in my life and never will.* (Huxl. Point, 208).

На основании приведенных примеров может создаться впечатление, что глаголы-заместители — это просто вспомогательные глаголы (*auxiliary verbs*) английского языка. Действительно, глаголы, выступающие в роли слов-заместителей, могут в ином синтаксическом использовании служить вспомогательными глаголами, но в целом они не совпадают, во-первых, между ними наблюдается та же фонетическая разница, что и между другими словами-заместителями и их этимологическими эквивалентами: вспомогательный глагол обычно не несет на себе ударения, глагол-заместитель всегда его имеет; во-вторых, разумеется, вспомогательные глаголы и глаголы-заместители совершенно различны функционально. Кроме того, не всякий связочный глагол может быть словом-заместителем. Так, *dare*, *need*, *ought* — связочные глаголы, по некоторым признакам могущие включаться в один ряд со вспомогательными глаголами, не являясь словами-заместителями, так как не могут заменять всего сказуемого (при них может быть только замена предикативного инфинитива на *to*).

Употребление *do* как *verbum vicarium* идет еще с древнеанглийского периода. Его семантика легко объясняет его применение в этой роли. Суит указывает, что раньше встречалось употребление *do* не только в роли анафорического, но и предваряюще о глагола: „В древнеанглийском употреблении *do* как заместителя предшествующего глагола уже полностью представлено: *Christ weax swa swa othre cild doth* (Христос рос, как другие дети). С этим связано и другое своеобразное употребление *do* как предвосхищающего глагола в таких предложениях, как: *se mona deth aegther, ge wiext, ge wanath* — (луна поступает двояко: и увеличивается и уменьшается), где пропуск личного местоимения вполне закономерен, так как второе предложение является дополнением или пояснением к первому. Из этой полувспомогательной функции *do* развилась впоследствии чисто вспомогательная, со вторым глаголом в форме инфинитива, что однако еще крайне редко в древне-

английском. Конструкция с предваряющим *do* скоро вымерла в среднеанглийском, не оставив никакого следа в современном английском языке¹.

Зато конструкция с *do*, заменяющим глагол, упомянутый раньше, широко используется в английском языке. В редких случаях можно уловить в этом *do* отзвуки его этимологического значения: He scrambled to his feet and, as he did so, heard the knock repeated. (Huxl. Point, 237). Нормально *do* выступает в роли чисто грамматической, как слово-заместитель. England still stands very much where it did. (Huxl. Point, 177)—„Do you like Roualt's work? Because if you do, there's a very good Roualt over there“. (Priest. Black., 51.)—Already the black-out looked as bad as it had done the night before. (Priest. Black., 33).

Некоторые лингвисты называют употребление глаголов, подобное вышеприведенному, „абсолютным“ (absolute use)² и считают, что оно возникает из-за эллипса инфинитива при вспомогательном глаголе. Мы трактуем эти глаголы как слова-заместители. Характер их связи со вспомогательными глаголами был освещен выше. Исторически наличие эллипса трудно доказуемо, так как подобное употребление эти глаголы получили именно в современном английском языке, где, как мы видели, структурная законченность словосочетания приобретает особо важное значение и опускание грамматически существующей части предложения было бы мало оправдано. Примеры с *do* в роли глагола-заместителя в древнеанглийском, очень немногочисленные, целиком объясняются семантикой *do* („делать“) и не составляют чего-либо похожего на систему. Следовательно, категория глаголов-заместителей, как специальных служебных слов, стабилизируется только в новоанглийском языке и вместе с другими словами-заместителями создает определенную систему. Если бы даже их использование генетически и было связано с эллипсом, то для системы современного английского языка это не имеет никакого значения, так как произошло полное переосмысление подобных оборотов, глагол имеет все черты, присущие слову-заместителю, и конструкция воспринимается языковым сознанием не как эллиптическая, но, наоборот, как имеющая структурную законченность.

Особый случай представляют собою замены в атрибутивных группах. Прежде всего тут нужно указать на

¹ H. Sweet. A New English Grammar. Oxford, 1892, § 2172—2174.

² H. Poutsma. A Grammar of Late Modern English. Groningen, 1928, p. I, 1. p. 125.

использование *one*, роль которого в современном английском языке описывает Есперсен:¹ „Сейчас мы можем выяснить роль, которую это опорное слово (*prop-word*) *one* играет в экономике английского языка. *One* замещает существительное, которое либо только что упоминалось, и которое было бы неудобно повторять (анафорическое *one*), либо которое так туманно по смыслу, что никакое обыкновенное существительное не смогло бы удовлетворить этим требованиям так хорошо, как полностью неопределенное по значению *one* (независимое *one*). Само по себе это существительное, имеющее те же самые флексии (род, падеж, множ. число), что и обыкновенное существительное. С другой стороны, *one* может указывать, что слово к нему присоединенное является не определяемым, а определенным, и это во многих случаях устраняет сомнение, могущее иначе возникнуть в таком „бесформенном“ языке, как английский“.

Важнейшим из указанных Есперсеном употреблений *one* является именно его использование с определением как заместительного слова по отношению к определяемому, где сама функция определения только и выясняется по его месту перед словом-заместителем. Например: *His unpopular decisions could always be attributed to Mr. Ch.; and when he made a popular one, it was invariably made...* (Huxl. Point, 220).—*He was prepared to loose his life, in the certainty of gaining a new and better one.* (Huxl. Point, 216).—*„Who put that daylight bulb in Julie's room“—„Chris“, said Julie promptly, „I couldn't see with the teeny-weeny one I had before“.* (Green. Bunt., 40) *One* в подобной роли встречается уже в XV в., но свое специфическое развитие эта конструкция получает только в современном английском языке. *I have the moste stedefast wyf, and eek the mekeste oon that bereth lyf* (Chaucer, Canter. Tales, Skeat's ed., E. 1552).—*He was a prince. A most incivill one* (Shakespeare, Cymb., V, 5, 292).

Как и другие слова-заместители, *one* отрывается от своего этимологического дублета (числительного *one*) и приобретает формы, раньше ему несвойственные. Когда, например, мы встречаем форму множественного числа *ones*, противоречащую первоначальной семантике этого слова (*one*—„один“), или сочетание *one* с определенным артиклем *the*, тогда как исконное значение *one*—это категория неопределенности, то мы особенно ясно видим, что *one* превратилось в слово-заместитель и отошло от *one*—числительного.

¹ O. Jespersen. *A Modern English Grammar on historical Principles* P. II. London, 1936, p. 263.

Don't let us make imaginary evils, when we have so many real ones to encounter (Goldsmith, *Globe ed.*, 1889, p. 616). — And here it stood, firm and solid as a Norman castle fortifying him in the belief that the things you worried about were the ones that never happened (Green. Bunt., 16).

Оне, как местоименное слово, замещающее существительные, могущие выступать в роли различных членов предложения, встречается с давних пор. Употребляется оно и сейчас: Denmark's a prison. Then is the world one (Shakespeare, *Hamlet*, II, 2, 250). — „Thanks for the compliment, if it is one“ (Huxl. Point, 174). — I don't mean I haven't behaved like a fool, but I'm not one really. (Priest. Black., 42). — The expression on his face was one of contemptuous amusement. (Huxl. Point., 51). — Оне всегда имеет оттенок некоторой неопределенности и в этом отношении отличается от that, встречающегося в той же функции: Ernest, however, did not choose to compare his lot with that of his father. (Green. Bunt., 25).

Иногда при таком употреблении оне сохраняет следы своего первоначального значения „один“. He had been dared to throw a bomb and he was going to throw one. (Green. Bunt., 129).

Однако, если оне, замещающее дополнение или предикативный член, может чередоваться с другими местоименными словами, то в группах определение + определяемое в качестве заместителя определяемого употребляется только оне, и именно это использование оне наиболее важно для современного английского языка. При отсутствии согласования прилагательного и существительного и вообще какой-либо морфологической формы, выделяющей определение, только позиция перед другим именем дает данному прилагательному или существительному значение определения. Следовательно, если определяемое имя изъято из словосочетания, то оно должно быть обязательно заменено словом-заместителем. Особенно это важно в тех случаях, когда определение выражено существительным, поскольку только его положение перед определяемым сообщает ему значение атрибутивности: If you did not care to bring a secretary, I would promise you the services of an amateur one. (Oppenheim, *A People's Man*, 27). — Mrs. M. when she arrived to take part in the conference, which gradually swelled to a family one, was equally unable... (Meredith, *Harrington*, 18).

История развития оне в подобном употреблении, освещенная в статье Люика¹, не очень ясна в своих деталях, но

¹ K. Luick. *Anglia*. 1906, B, XXIX.

совершенно несомненно, что в современном английском языке она включилось в группу слов-заместителей, служа для структурного завершения атрибутивных сочетаний.

Близко к описанному выше явлению стоят особые формы притяжательных местоимений, употребляемые в тех случаях, когда за ними не следует существительное и заменяющие, таким образом, как бы целую группу определение + определяемое. I gave her the drink, swallowed mine quickly then marched out. (Priest. Black., 45). — „When you've had a life like hers you oughtn't to be resigned.“ (Huxl. Point, 144) — „But what do my little miseries matter in comparison with yours,“ she protested (Huxl. Point, 230). — The inhabitants of a world of thought starrily remote from theirs peered at them (Huxl. Point, 105).

Как видно из приведенных примеров, эти „абсолютные“ (как их называют в грамматиках) формы местоимений могут иметь различные синтаксические функции: прямого дополнения, предложного дополнения, предикативного члена. Здесь не может быть речи об эллипсе определяемого существительного, так как сама форма местоимения отлична от таковой притяжательного местоимения при существительном.

Крейзинга указывает на то, что притяжательные местоимения в английском имеют характер¹ проклитик; следовательно, эллипс при них невозможен, а возможна именно замена целой группы, состоящей из притяжательного местоимения и существительного, особой формой слова-заместителя, отличного от притяжательного местоимения, хотя этимологически к нему восходящего. Дифференциация данных местоименных форм происходит в новоанглийский период и, таким образом, мы еще раз видим подтверждение того положения, что система слов-заместителей складывается в новоанглийском языке, благодаря их особому назначению заканчивать словосочетания в структурном отношении.

Слова-заместители встречаются, разумеется, не только в английском языке. Брюно указывает на существование слов, выполняющих функции замещения во французском

¹ Родительный падеж личных местоимений, употребляемый в роли определения, отличается от родительного падежа имени своим сугубо проклитическим характером. Этот проклитический характер объясняет почему имеется специальная сильная форма для тех случаев, когда эти местоимения встречаются без существительного, как „независимые родительные“. Это также причина того, почему соединение двух родительных падежей местоимений в роли определения или родительного падежа местоимения и родительного падежа имени не очень употребительно. Вместо you and my affairs в английском почти всегда говорят your affairs and mine. (E. Krusina, op. cit., II, 2, 138).

языке.¹ Однако он трактует этот вопрос в общей форме, не связывая это со структурой словосочетания и не рассматривая их синтаксическую функцию в языках аналитического строя. Точно также и Блумфильд, разбирая вопрос о „замещении“ (substitution) в своем общем курсе,² совсем не касается синтаксиса словосочетаний и, приводя примеры некоторых английских слов-заместителей, неправильно включает сюда личные местоимения, не видя того, что слова-заместители образуют определенную группу и объединяются общей синтаксической функцией, тогда как личные местоимения служат лишь заменой имени. Кроме того, следует подчеркнуть, что слова-заместители могут образовываться не только из местоимений и что не всякое местоимение является словом-заместителем в нашем смысле. Если аналитический строй служит предпосылкой развития категории слов-заместителей, могущих замещать любой член предложения, то как раз в современном английском языке эта группа слов представлена полнее, чем в других новых языках Европы.

В английском языке эта группа слов имеет строго очерченные синтаксические границы: они замещают различные члены предложения в целях полноты структуры словосочетания, которая одна в условиях аналитического строя служит показателем грамматического значения слов. Доказательство существования этой группы слов как особой категории лежит в том, что она носит вполне закономерный характер, проявляется в языке в целом. Члены этой группы, этимологически восходя к различным частям речи (местоимениям, наречиям, глаголам, предлогам) сейчас уже и фонетически и морфологически отошли от своих этимологических дублетов. Слова-заместители нельзя целиком приравнять к служебным словам, хотя их связывает, как общая черта, отсутствие самостоятельного лексического значения, так как служебные слова обычно соединяют между собой или модифицируют другие слова, а в данном случае речь идет именно о функции „замещения“. Некоторые из слов-заместителей весьма стары (например *do*), но в целом эта категория развивается только с установлением аналитической техники и большинство своих специфических черт и деталей своего употребления эти слова получают лишь в современном английском языке.

¹ F. Brunot *La pensée et la langue*. Paris, 1927 ch. *La Représentation*.

² L. Bloomfield. *Language*. New York, 1933. ch. XV, *Substitution*.

СЕМАНТИКА АНГЛИЙСКИХ СЛОВ В СВЯЗИ С ФРАНЦУЗСКИМИ ЗАИМСТВОВАНИЯМИ В ЭПОХУ СТАНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Доц. И. П. Иванова

В вопросе о влиянии, оказанном французским языком на английскую лексику после норманского завоевания, нельзя учитывать только внешний факт появления французских слов в английском словаре. Борьба между французскими и английскими лексическими элементами была, несомненно, гораздо сложнее и не могла ограничиваться только вытеснением тех или иных английских или французских слов. Громадное количество синонимов, образовавшихся в этот период, должно было способствовать изменению значения коренных английских слов.

Сознательное сопоставление французских и английских синонимов — чрезвычайно частое явление в среднеанглийских литературных памятниках. Так Беренс¹ цитирует среднеанглийские тексты Ancien Riwe, Genesis and Exodus, Layamon-A., С., Хронику и Homilies, где этот прием совершенно очевидно является переводом французского слова, его пояснением.

Но этот литературный прием является, безусловно, только незначительным отражением положения, создавшегося в языке. Колоссальный прилив французских слов создал богатую синонимику; поскольку невозможно продолжительное сосуществование в языке абсолютно или почти равнозначных величин, должно происходить либо семантическое размежевание синонимов, либо отмирание ненужных слов.

Целью данной статьи является установление влияния французских слов на изменение семантики их английских

¹ Behrens. Beiträge zur Geschichte der französischen Sprache in England. Frz. Studien I B.

синонимов. Влияние французского слова устанавливается путем сопоставления времени появления его в английском языке, с одной стороны, и времени появления нового значения в соответствующем ему английском синониме — с другой. Все приводимые даты взяты из Большого Оксфордского словаря.¹

Применение дат, приводимых в NED, для выяснения соотношения семантики английских и иностранных слов нуждается в некоторых оговорках. NED приводит дату первого появления данного слова в литературных памятниках и дает также последний найденный в литературе случай его употребления. Каждое значение слова прослеживается отдельно. Но, разумеется, момент, когда французское слово, по имеющимся у нас данным, впервые отмечено в английских литературных памятниках, далеко не совпадает с фактическим временем его проникновения в язык; с другой стороны, и новое значение английского слова должно было просуществовать некоторое время в устном языке, прежде чем оно зафиксировалось настолько, чтобы данное употребление его было общепонятно. Без этого же последнего условия едва ли слово могло попасть в язык письменности. Следовательно, фактическое время появления французского слова, а также и изменение значения английского слова является несколько более ранним, чем это дает словарь.²

Приводимые ниже примеры мы разбиваем на две основные семантические группы, именно: 1) слова, относящиеся к различным конкретным областям жизни (быт, церковь, военное дело, крестьянская жизнь) и 2) слова, обозначающие понятия времени и пространства.³

I. Слова первой группы

Ване. А.-с. *banan* имело значение „убийца, причина смерти“. *Hie naefre his banan folgian noldon* (Chron. 755). „Они не хотели следовать за его убийцей“. *Tham wearth Weohstan banan* (Beow. 5222) „тому Веохстан стал убийцей“. В XIV в. *banan* принимает значение „яд“. *Bane, or pouyon* (1440, Prompt. Parv.).

В литературном языке это слово сохранилось до нашего времени только в сложных словах — именно, в названиях растений, напр. *dogbane*, *henbane*, *Ratsbane* и т. д.

¹ A New English Dictionary, под ред. Murray. В дальнейшем сокращенно обозначается NED.

² Сокращенные названия памятников даны по NED.

³ Слова даны в их среднеанглийской форме. В дальнейшем „англо-саксонский“ сокращенно обозначается „а.-с.“, среднеанглийский — „ср.-англ.“, старофранцузский — „ст.-фр.“.

Одновременно, в англо-саксонском и среднеанглийском существует глагол *murthrian* с значением „убивать“ и существительное *morthor* „убийство“. В XIV в. в английский язык проникает ст.-фр. слово *meurdrir*, *moerdri*, со значением „убивать“, близким к семантике английского глагола.

С этого момента резко повышается употребление глагола *murthrian*. В XIV в. оба глагола встречаются в одинаковом значении, в формах *murthren* и *mordren*.

В XIV в. от *murthren* и *mordren* образуется *poen agentis*—*murtherer*, *morderour*, *mordreour*.

Фонетическое и семантическое совпадение англо-саксонского и французского глаголов привело к тому, что глагол *murder* укрепился в языке и образованное от него имя действующего лица *murderer* вытеснило *bane* в его первоначальном значении. Нет никакого сомнения в том, что именно ст.-фр. *meurdrir* способствовало широкому распространению этих двух глаголов, воспринимавшихся как одно и то же слово. Фонетически, после перехода *th > d*, *murthrien*, должно было дать ту самую форму, которую мы имеем в современном языке. Частота же употребления его, как уже сказано, резко увеличивается со времени появления *meurdrir*.

С появлением фр.-англ. синонима *murtherer*, *mordreour* слово *bane*, не теряя своего прежнего значения, приобретает новое, более специализированное значение—„яд“. Однако после укрепления и распространения нового слова, *bane* в значении „убийца“ перестает употребляться, и в дальнейшем встречается в литературном языке только очень редко и носит характер архаический.

Однако и новое значение *bane* не удержалось в языке, как самостоятельное слово. Уже с середины XIII в. в английский язык вошло ст.-фр. *poison* со значением „напиток, принесящий смерть“. Одновременно засвидетельствовано фр. *venim* в значении „яд“. К концу XIV в. значение его расширилось, *poison* обозначает уже „любое вещество, являющееся смертельным при введении его в организм“. Это значение совпало с новым значением *bane*, и последнее, уступив французскому слову обозначение общего понятия „яд“, сохранилось только, как указано выше, в названиях ядовитых растений. Растения, обозначаемые этими названиями, обычны в Англии, их ядовитые свойства известны крестьянам лучше, чем кому-либо другому, и названия эти живут в крестьянском языке, чем и объясняется сохранение старого слова.

Bede. А.-с. *bēd* означает „молитва“ (а.-с. *bēodan*, совр. нем. *Gebet*), и встречается, начиная от самых древних памятников до XVI в. Так, в 885 г. у короля Альфреда, I, 7.

Baeda's Eccl. Hist.-Thaet he scolde tha bedu anescian „чтобы он уменьшил молитвы“.

В 1200 г. Trin. Coll Hom: On salmes and on songes and on holie bedes... „Псалмами и песнями и святыми молитвами“.

В XIV в. впервые засвидетельствовано в англ. языке ст.-фр. слово *prayere* (*Cursor Mundi*, 1300). *Bede* и *prayer* существует некоторое время рядом, в одинаковом значении, и встречаются в письменности в виде синонимических пар. Так, например, в 1330 г., *King of Tars*, 642: *With beodes and with preyere*; позднее, 1494 г. *Fabian*, VI CCXIII, 223: *I hoped to have ben saved by your bedes and prayers*. „Я надеюсь, что буду спасен вашими молитвами“.

Благодаря тому, что церковь находилась в руках французских прелатов, французские слова, связанные с церковной жизнью, особенно легко проникали в общий язык. *Prayer* и *bed* не могут долго оставаться вполне синонимичными, и уже в конце XIV в. а.-с. *bed*, теснимое своим французским конкурентом, приобретает значение „чётки“. Это значение впервые засвидетельствовано в *Piers Plowman* в XV, 119: *A peyre bedes in her hande And a boke undir hire arme*. „С парой чётки в руке и с книгой подмышкой“.

Таким образом, за французским словом сохраняется абстрактный характер, а английское слово приобретает чисто-материальное предметное значение, т. е. выдерживается соотношение, являющееся обычным в борьбе английской и французской лексики.

Старое значение вымирает не сразу и встречается рядом с новым. Так, в том же *Piers Plowman* мы находим: *And sat softly adoun, And seide my bileve, And so I babbled on my bedes*. „И я сел, и сказал свое «верую» и так я бормотал свои молитвы“. Последняя цитата в *NED*, в которой встречается это значение—*Chron. grey Friars*,—относится к XVI в.

Однако уже к началу XV в. предметность значения является настолько преобладающей, что первоначальная религиозная окраска слова забыта, и *bede* приобретает свое дальнейшее значение—„бусы“. Впервые оно засвидетельствовано в 1400 г., *Destruction of Troy* XV, 7044: *Garmentes gay... Bright bedis and brasse broght thai with all*. „Светлые одежды... яркие бусы и металлические украшения принесли они с собою“. Это значение укрепляется в языке; значение „чётки“ переходит к фр. *rosary*,—значения „чётки“ и „бусы“ несовместимы в одном слове, так как одно из них чисто-религиозное понятие, а другое, наоборот, относится к области светских украшений. Таким образом, только зна-

чение „бусы“ дошло до современного языка, если не считать выражения *to tell one's beads*, где сохранилось значение „чётки“.

Burgh. А.-с. *burg* имеет значение „крепость, цитадель, замок“—*Ad arcem et ad moenia-to burge and to wealle*, Kent gloss. 820 г.; „К крепости и к стене“. *Eadweard cyning getimbrede tha burg* (1000 г. OE Chron). „Эдвард король построил крепость“. Это значение сохраняется до XV в.

В XI в. появляется ст.-фр. *castel* в значении „замок“. Оно прочно ассоциируется с понятием феодальной крепости, феодального замка. Норманские бароны строили эти замки, они принесли с собой слово, обозначающее именно этот род крепости, и оно прочно вошло в английский язык. Уже в 1137 г. летописец говорит: *For aefric rice man his castles makede, and agenes him heolden, and fylden the land full of castles*. „Ибо каждый могущественный человек свои замки строил, и они держали (замки в своих руках) против него, и наполнили страну замками“. После проникновения в ср.-англ. яз. *castel*, с конца XII в. *burg* приобретает значение „поместье, двор“. Это значение встречается довольно редко. *And thider geclepien alle his undertheod, that hi bi ene fece to his curt (berie) come scolde*. (1175 г., Cott. Hom., 231). „И туда созвать всех своих подчиненных, чтобы они должны были одновременно придти к его двору“. Это значение сохраняется до XVI в.

Рядом со значением „крепость“ *burg* имеет значение „укрепленный город“. Это значение встречается уже у Альфреда, *Orosius: Hie binnan thaere byrig up eodon... ond tha burg mid ealle awestan*. (Oros. II, VIII, § 1). „Они вошли в город... и город со всеми (жителями) уничтожили“. Позднее, в *Gen. Exod.- yet sat Lot at the burges gate*; где упоминание о воротах указывает на то, что город обнесен стеной. Кроме того, *burg* означает и просто „город“, „населенный пункт более крупный, чем деревня“, „город, имеющий муниципалитет“. *Be it castel, burg outhur cite*; „Будет ли это замок, город (с муниципалитетом) или крупный город“. (Sir Ferumbras) *Trevisa: Many...cytles and boroughes*.

В начале XIV в. в средне-английский проникает ст.-фр. слово *forteresse*, впервые засвидетельствованное в *King Alisaundre*. В конце XIV века *burg*, несколько изменяя последнее из упомянутых выше значений, приобретает смысл „город“, обладающий специальными привилегиями; „город, имеющий представителя в парламенте“. Последнее значение существует до нашего времени.

Значение „укрепленный город“ исчезает в XV в.

Слово *burg*, как мы видим, в а.-с. полисемантично. Семантика его имеет два определенных направления: 1) „крепость, укрепленный город“,—где преобладает военная окраска, и 2) „город; населенный пункт; город, обладающий муниципалитетом“,—где подчеркивается тип городского устройства. В начале, разумеется, понятия „крепость“, „город“ и „город, обладающий муниципалитетом“ более или менее совпадали. Города,—особенно крупные города,—были обнесены и укреплены; только крупные и, следовательно, укрепленные города имели муниципалитет. Но с приходом норманнов начинается строительство *castels*. С другой стороны, города растут, расширяются за пределы городских стен и, чем крупнее, чем богаче и оживленнее город, тем больше выступает на первый план муниципальная организация, тем сильнее развивается борьба за получение известных привилегий. Это содержание понятия *burgh* делается преобладающим. Однако старое значение *burgh* держится до тех пор, пока изобретение пороха не вызывает переворота в военной технике. Старые укрепления *burgh* уже не годятся, появляется новая система укреплений, обозначаемая французским словом *forteress*, и *burgh* окончательно теряет ассоциированное с ним представление о защите города и развивается, как обозначение гражданского устройства города.

Непосредственное влияние фр. *bourg*, (*faubourg*) отразилось в недолго существовавшем значении *burg* „предмestье города“, XIV-XVI в. (1450 г.): *King Arans hadde al day assaied the Castell of Arondel, but... nothing thei wonne, saf only hei hadde brente the burgh withoute.* (Merlin. XVIII, 294). „Король Аранс осаждал замок Арундель целый день, но они ничего не добились, кроме того, что сожгли предмestье снаружи“.

С here. Самые ранние значения а.-с. *seap*:

1) „сделка торговля, купля и продажа“. *Naes thaet ythe seap to gegangene gumena aenigum.* (Beowulf, 2416-2417). „Нелегко достичь этой сделки кому либо из людей“.

2) „Товар, имущество“, „обычно скот“: *Ac hie waeron micle swithor gebrocode on tham thrim gearum mid ceapes cwilde and monna* (897, Chr). „Ибо они были еще более разорены за эти три года мором скота и людей“.

3) „Рынок, рыночная площадь“: *Vendo, ic gange to seape.* (Aelfric, Gram. XXXII, 201). „Я иду на рынок“.

4) Второе значение—„имущество, скот“ существует очень недолго; последняя цитата в NED относится к началу XI в. Одновременно с исчезновением его появляется новое значение—„цена“. Это значение, несомненно, тесно связано с значением „скот“. Оно впервые засвидетельствовано в Ecclesi-

astical Laws" короля Канута: Deorum ceape gebohte (Eccl. Laws, 18). „Выкупил дорогой—букв. глубокой ценой“.

Дальнейшее развитие идет следующим образом. В первой половине XIV в. впервые засвидетельствовано в ср.-англ. письменности,—именно у Р. Брунна,—ст.-фр. слово *bargaine*, существующее до нашего времени в значении „сделка“. К этому же времени относится и последняя цитата на значение *ceap* „сделка“. В дальнейшем, в этом значении фигурирует только слово *bargain*.

В XIII в. появляется ст.-фр. *markitt*, но *chere* в этом значении существует до XVI в., встречаясь, однако, редко. Старое значение *chere*—„рынок“ сохранилось в названии улиц *Cheapside* и *East Cheap* в Лондоне.

В конце XIII в.—нач. XIV в. появляется ст.-фр. *pris* в первой половине XIV в.—*value*. Оба эти значения отмечены впервые у Р. Брунна.

Итак, к середине XIV в. имеются французские синонимы буквально для всех значений *sear*: *bargain*, *market*, *price*, *value*. Очевидно, не случайно то обстоятельство, что именно с середины XIV в. *chere* начинает употребляться в определенном контексте, в застывших оборотах: *god cher*, *der cher* и т. д. Так, в *Polit. Songs*, *Poem on the Evil Times of Edw. II*: *The god yer was agein i-come and god cher of corn*. „Опять наступил хороший год и дешевазна зерна“.

God cher может также означать общее состояние рынка,—„большое предложение, низкие цены“. В связи с этим, *cher*, употребляемое в качестве прилагательного, получает значение „легко достаемое, имеющееся в изобилии, малочценное“ откуда совершенно понятен переход к значению „дешевый“.

Таким образом *cher* после появления старо-французских синонимов продолжает свое существование только в идиоматических оборотах, со временем дающих его новое значение, тогда как прежние его значения переходят к французским словам.

Der. A-c. deor имеет значение „животное“, обычно четвероногое. *Is that deor panther haten* (Ехоп., 95 b). „Это животное называется пантерой“.

В XIII в. появляется ст.-фр. *beste* (засвидетельствовано впервые в „*Hali Meidenhed*“, 220), и в конце XIII в. *deor* употребляется в значении „олень“.

NED дает цитату в значении „олень“ от 893 г.; однако цитата эта не вполне убедительна: *Hi haefde tha gyt, tha he thone cyning sohte, deora unbebohtra syx hund. Tha deor hi hatath hranas*. (Aelfred, Oros). „Он имел тогда, когда он

короля посетил, прирученных оленей непроданных шестьсот. Этих животных они называют *hranas*“.

Здесь в первой фразе возможно значение „олени“, но во второй ясно значение „животное“. Также и дальше: *That gafol biþ on deora fellum, and on fugela federum and hwales bane*. „Дань бывает из шкур животных и птичьих перьев и китового уса“.

Далее, идет перечисление животных, шкуры которых идут в продажу: *fiftyne mearthas fell, and fif hranas, and an beran fell*. „Пятнадцать шкур куниц и пять оленей, и одна медвежья шкура“. Здесь олень назван *hran*, а не *deor*.

Однак, даже если согласиться с тем, что в первой приведенной цитате от 893 г. *deor*, действительно, означает „олень“, одна цитата не может доказывать распространенности данного значения. Следующая цитата относится уже к XIII в.

Очевидно, после появления старо-французского слова ср.-англ. *der* суживается до обозначения животного, характерного именно для английских лесов и являющегося любимым предметом охоты и браконьерства, а также объектом лесных законов. Общее же, видовое понятие переходит к французскому слову.

Старое значение *der* сохраняется, согласно NED, до XV в. включительно. Шекспировское *small deer* является, очевидно, пережитком в виде застывшего оборота.

Fane. Выше, при разборе слова *burgh*, уже упоминалось о том, что слова из области военного быта в английском языке в огромном большинстве французского происхождения. В словах, не вымерших в языке окончательно, но вытесненных из области военной терминологии под влиянием столкновения с французскими словами, семантика изменилась в направлениях, не связанных с военными значениями.

Так, а.-с. *fana* означало „флаг, знамя“. — *Fana hwearfode, scir on sceafte* „Знамя развевалось яркое на древке“. (1000, Boeth, *Metrica* 1, 10).

В XIII в. появляется ст.-фр. *banniere*. В течение некоторого времени *banner* и *fana* употребляются синонимично, и иногда вместе, в одном предложении: *They trumpryd and her banere displaye.... and many a fane* (1325 г., Coeur de Lion, 3893). „Они трубили и выставили свои знамена... и много флагов“.

В XIV в. в язык проникает ст.-фр. слово *реппон* или *pennant*.

В XV в. появляется немецкое или датское слово *flag*.

Все эти новые слова входят в военную терминологию и вытесняют *fane*. Лишенное своего прежнего содержания, *fane* сохраняется в виде понятия предмета, развевающегося по воздуху, откуда возникает значение „флюгер“. Это значение мы находим уже у Чосера: *O stormy roeple... ever untrewed... and chaungyng as a fane. (Clerkes Tale, C. T. 940)*. „О, беспокойные люди... всегда неверные... и изменчивые, как флюгер“.

В современном литературном языке слово *fane* сохранилось только в кентской форме *vane*, тогда как старое значение вымерло, если не считать возможных случаев употребления слова в виде сознательного архаизма.

Harvest. А.-с. *harfest* означает „осень“; „время уборки зерна“. — *Tha feower timan... Lengten, sumor, haerfest and winter. (1050 г. Byrherfth's Handhoc)*. — „Четыре времени... весна, лето, осень и зима“. Значение „время уборки зерна“ не отделяется от значения „осень“ до XII в.

То же значение мы находим и в ср.-англ.: *The holi rode dei, the latere, thet is ine heruest. (Anchr. Riw., 412)*. „День святого креста, более поздний, который бывает осенью“.

В XIV в. в ср.-англ. яз. проникает ст.-фр. слово *autumn*, впервые засвидетельствованное у Чосера.

Французское слово, свободное от производственных ассоциаций, легко утверждается в литературном языке. *Harvest* продолжает жить в крестьянском языке, как мы это видим по современным крестьянским диалектам. Но в крестьянском языке, преобладает не отвлеченное понятие времени года, как такового, а именно практические, производственные моменты, связанные с этим сезоном. Отсюда, главным значением *harvest* становится „уборка урожая“; затем появляется значение „урожай“ (в XIV в.). В этом значении *harvest* продолжает существовать и в литературном языке, опять-таки по принципу, преобладающему в размежевании семантики английских и французских слов: отвлеченное понятие переходит к французскому слову, английское же изменяется в сторону конкретизации значения.

Non. А.-с. *non*, заимствованное из латинского *nona hora*, означало девятый час дня, который по римскому счислению соответствовал современным 3 часам дня. — *Sele drincan on threo tida,—on undern, on middaeg, on non. (1000 г., Sax Leechd., 11, 140)*. „Полезно пить три раза—утром, в полдень, в 3 часа“.

Это значение сохранялось и в ср.-англ. период: *Hit wes welneyh mydday, tho thusternesse com, In alle Middenherde forth thet hit wes non. (1275 г., Passion of our Lord, 478)*. „Был почти полдень, когда настал мрак во всем мире, пока не наступило 3 часа“.

Слово *пооп* или *pones* обозначало также церковную службу — „девятый час“. Эта служба приходилась на 3 часа дня, т. е. девятый час по римскому счислению, но впоследствии была перенесена ближе к полдню. Отсюда, с начала XIII в. мы встречаем *pones* в значении „полдень“: *The sonne... is euene aboue thin heued right at the pones stounde* (S. Engl. Leg., I, St. Michael 403, 1290). „Солнце... прямо над твоей головой в полдень.“

Вероятно, одновременно со значением „полдень“ развилось и зарегистрированное несколько ранее значение „обед“, через сложное слово „*ponmete*“, засвидетельствованное в XI в. *Me... scolde... giefte him his formemete, that him to lang ne thuhte to abiden oth se laford to the none inn come.* (Cott Hom., 231—1175 г.) „Следовало дать ему завтрак, чтобы ему не слишком долго показалось ждать, пока господин придет к обеду.“

На рубеже XIV в. проникает в язык ст.-фр. *diner*, имевшее, очевидно, хождение сначала среди аристократических кругов, затем проникающее в средние слои. В XV в. значение *поп* „обед“ исчезает из литературного языка. Одновременно вымирает и значение „3 часа“, так как одно и то же слово не может обозначать различное время. Остается только значение „полдень“ т. е. опять полисемантическое слово теряет часть своих значений.

Интересно отметить, что фр. *попе*, также происходящее из лат. *попа*, приобрело в некоторых диалектах значение „полдень“, „обед“, и существует в них до сих пор в этом значении (Dict. Larousse).

Shroud. A.-с. *scrud* означает „одежда“; имеется глагол *scrudan* „одевать“. *He sylth him andlyfene and scrud—Dat ei victum et vestitum.* (Deuteron, 10,18). „Дает ему пищу и одежду.“ *Scruden us mid wapnen of lihte.* (OE. Hom., 3). „Оденемся в доспехи из света.“

В XIII в. появляется ст.-фр. слово *habit* в значении „одежда“ (засвид. впервые в „*Ancr. Riw.*“ 1225 г.). В XIV в. *scrud* приобретает значение „место, дающее приют, защиту“ (особенно временный приют—палатка, шалаш): *The thef...fond hure ther...ligging under shroute* (Sir Ferum bras, 2416). „Вор... нашел ее там... лежащую в шалаше.“

В XIV же веке в язык входит фр. *garment* (впервые засвидетельствованное в „*Seuen Sages*“, 13). Старое значение *shroud* еще сохраняется в языке (напр. в *Piers Pl: I schor me into a schroud shep as I were.* (Prol., 2). „Я оделся в одежду, как если бы я был пастухом.“

Однако в языке существует ряд французских слов, обозначающих одежду: *garment*, *habit* и *gown* (впервые засви-

детельствованы в XIV в.) и, кроме того, ряд названий для отдельных частей одежды. Среди высших и, частично, средних слоев населения господствуют французские моды и, таким образом, прививаются французские названия. Старое слово *shroud*, неприменимое к одежде французского покроя, от значения „покров“ принимает значение „саван“, впервые засвидетельствованное в XVI в.

Следовательно, здесь, как и в некоторых приведенных выше примерах, английское слово уступает функцию объективного обозначения предмета французскому слову; английское же слово принимает несколько торжественно-эмоциональный оттенок, будучи связано с представлением о смерти.

Старые значения *shroud* „одежда“ и „приют“, „покров“ вымирают в XVII. Глагол *to shroud* сохраняет значение „укрывать“.

Wede. Судьба слова *wede* сходна с судьбой *scrud*. А.-с. *waede* означает „одежда“: *Ic was nacod, nold ge me waeda tithian* (283, 33.) „Я был голым, он не хотел одежду мне дать. Позднее, в „OE. Homilies“: *We shulen leden al this leinten on festing... on unwasshen weden* „Мы должны проводить время поста в нестиранных одеждах“.

В ср.-англ. это значение сохраняется: *Hi sende horfelle messagers, in pouere manne wede* (Glouc. Chr., 3447).

В XIV в., как уже указано в разборе *scrud*, в англ. яз. проникают фр. *garment* и *gown*.

Wede в значении „одежда“ сохраняется до XVII в., но уже в XVII в. появляется значение „траур“. Здесь то же отклонение в сторону ассоциации со смертью, что и в *scrud*.

II. Слова второй группы

Loft. А.-с. *loft* (сканд. *lopt*) означает: 1) воздух, 2) небо. *Heo ne fith on naenum thinge ac on lofte heo stynt*. (Hexameron of Basil, 1000 г.). — „Она не лежит ни на чем (ни на одной вещи), но на воздухе она стоит“. *He maketh the fisses in the se, the fueles on lofte*. (Trin. Coll. Hom., 222, 1200 г.). „Он создает рыб в море, птиц в воздухе“. Эти значения *loft* сохраняются до XVI в.

В XIV в. суц. *sky* (заимствованное в а.-с. из сканд.), обозначавшее ранее „облако“, принимает значение „небо“, образуя, таким образом, синоним одному из значений *loft*. В XIV в. появляется фр. *air*, становясь рядом с другим значением *loft*. Новое значение *sky* впервые засвидетельствовано в 1300 г., в „Cursor Mundi“. Фр. *air* засвидетельствовано впервые в том же году (Wright's Pop. Science).

Одновременно с появлением названных синонимов *loft* получает значение „мезонин, чердак“. Это значение засвидетельствовано впервые в „Cursor Mundi“, 1227—79: *In a loft was in the toun A chifd thar kest a-poither doun Ute of the loft unto the grund.* „На чердаке был в городе ребенок, который сбросил другого с чердака на землю“. Последнее значение сохранилось до наших дней.

Здесь, было бы рискованно предположить, что французские и английские синонимы непосредственно повлияли на развитие семантики слова *loft*. Одновременность появления синонимов и нового значения не позволяет сделать такое предположение. Но совершенно понятно, что новое материальное значение, развившееся из прежнего, стало основным, когда для прежних значений появились синонимы. Прежние значения сохранились до XVI в.

Me1. A.-s. mael имеет значения: 1) время, подходящий момент для чего-либо: *Mael is me to feras.* (Beow., 316). „Время мне идти“. 2) суженный вариант предыдущего значения, время принятия пищи: *He wule eten gif he mei et aþe mele swa muchel swa et twam.* (Lamb. Hom., 31). „Он будет... есть, если сможет, за одну еду столько, сколько за две“; 3) мера: *Diles threo cucler mael.* (Sax. Leechd., 11, 154). „3 ложки аниса“. Два последних значения сохраняются и в ср.-англ. *Hi nelleth me giue of min owe mid gode herte a mel.* (Rob. Glouc's Chron., 814). „Он не хочет дать мне из моего имущества добровольно даже еду“. *A corun with foure fingur mele heigt.* (1382, Wycl. Exop. XXV, 2)—Vulg. — *altam quatuor digitis.* „Корона высотой в четыре пальца (букв. «в меру» четырех пальцев)“.

В XIV в. в язык проникает ст.-фр. существительное *measure*, впервые засвидетельствованное в „Curs. Mundi“ 1300 г. В XV в. отмирает значение *mael* „мера“ и остается только первое, дошедшее до нас, значение. Здесь опять мы имеем случай полисемантического слова, теряющего одно из значений при появлении французского синонима.

Room. A.-s. rum означало „пространство, место“. *Tha his tiddaige under rodera rum rim waes gefylled.* (Gen. 1166, 1000 г.). „Когда под пространством (сводом) небес число его дней было исполнено (закончилось)“.

В ср.-англ. это значение сохраняется: *The laferd hafde litell rum In all thatt miccle riche* (1200 г., Orm). „Господь имел мало места во всем этом большом государстве“.

В XIV в. проникает в язык ст.-фр. *space* (впервые в значении „пространство“ засвидетельствовано у Гауэра, 1390 г.). Несколько ранее, в средние века, проникло ст.-фр.

place. В дальнейшем, размежевание значений происходит обычным путем: space принимает абстрактное значение, room продолжает означать „пространство“, но в более узком, конкретизованном смысле. Уже в XIV в. мы видим этот процесс конкретизации, выражающийся в том, что слово room принимает значение „определенная ограниченная часть пространства“. The roume and the space that er contende In the cete of heven has nane ende. (Ham-pole, Pr. Consc. 9168). „Место и пространство, которое оспаривалось, не имеет конца в небесном городе“. And al the wittes of a man is sett in that little rowm. (Alph. Tales, 1440 г.). „И весь ум человека помещен в это маленькое помещение“.

Отсюда понятен переход к значению „комната“, появившемуся в XV в. A grangie de 5 rowmes. (Durh. Acc. Rolls, 637). „Дом в пять комнат“.

В XIV в. в язык вошло ст.-фр. chamber (впервые засвидетельствовано в 1300 г., Floriz. and Blanchefl). Оно не проникло в глубокие слои, сохраняя и поныне некоторую торжественность и официальность. Таким образом, конкретизированное room утверждается в литературном языке в своем новом значении.

Tide. А.-с. Tid имело основное значение „отрезок времени“: Waes seo hwil micel, XII wintratid torn getholode. (Beow, 147). „Было это время долгое, двенадцать лет время (в течение 12 лет) страдания испытывал“. Tha ic sume tide fram the gewat. (Baeda's Hist., V, XIII, 432). „Когда я некоторое время от тебя ушел, т. е. давно с тобой расстался.“ Это значение существовало рядом с синонимом tima, имевшим, видимо, более отвлеченное значение, чем tid.

В ср.-англ. tide всегда имеет при себе какое-нибудь определение. Full well is us this tide. Nowe maye we make goode chere. (Yorksh. Plays, Chr. with the Doct. in the Temple, 286). „Хорошо нам сейчас, теперь мы можем быть в хорошем настроении.“ In middes on a mountain at midmorwe tide Was piht a pavilion. (P. Plowman, II, A, 42). „На середине горы в полуденное время был поставлен шатер“. Vor he wolde croune bere, for the heye tide. (Rob. glouc. Chron, 3267). „Ибо он хотел надеть корону, ради торжественного времени (-праздника)“. С X в. засвидетельствовано значение tide „час“. Thy ilcan geare athiestrode sio sunne ane tid daeges“. (900 г., O E Chron). „В тот год было солнечное затмение в час дня“. An waese haefth threo tida; feower waessan gefyllath twelf tida. (1000 г., Aelfric, Homil., II, 338). „Одно бдение имеет три часа; четыре бдения составляют двенадцать часов“.

В XIII в. проникает в язык ст.-фр. *hour* (впервые засвидетельствованное в 1250 г., *O. Kent. Sermon.*), и в начале XV в. это значение *tid* вымирает.

В связи с общим конкретным характером *tide*, значение его конкретизируется, как „определенный момент, период в году“, отсюда и „время года“. Как было указано, *tide* в ср.-англ. в значении „время“ характеризуется обычно определением. В значении „время, период года“ наблюдается то же явление: *April-tide* и т. д.

В XIV в., во второй его половине, входит в язык ст.-фр. *season* (впервые засвидетельствовано в 1340 г. *Alex. and Dind.*). *Tide* в указанном значении живет до XVI в., после чего сохраняется только в некоторых застывших оборотах, как: *New Year's tide*, *Yule-tide*.

Одновременно, начиная с XIV в., развивается значение „*tide of the sea*“. *Fro day to nyght it changeth as the tide*, (*Chaucer, Man of Lawe's T.*, 1036). „От дня к ночи она изменяется, как прилив“.

Здесь возможно влияние средне-нижне-немецкого *getide* и голландского *ghetide*, со значением „прилив, отлив“. Фактических доказательств влияния немецкого и голландского слова не имеется, но предположение это, высказываемое NED, вполне вероятно. Если так, это означает, что *tide*, разделяя свое прежнее значение с французскими синонимами, легко приняло новое значение под влиянием иностранных слов.

Таким образом, значение *tide*, выражающее конкретное представление времени, исчезает с появлением фр. *hour* и *season* и еще более конкретизируется, суживаясь до понятия „прилив и отлив“. Следует отметить, что англ. *time* осталось без изменения, как обозначение отвлеченного понятия времени, между тем как в понятии пространства „*goom*“ конкретизировалось, а отвлеченное значение передается французскому *space*. Очевидно, здесь имело значение то обстоятельство, что уже древнеанглийский язык имел два слова для обозначения временных понятий, одно из них — конкретное, другое — более отвлеченное. Здесь не произошло заимствования французского синонима, который бы впоследствии сузил и конкретизировал английское слово, взяв на себя отвлеченное значение.

Суммируя изложенный в этой статье материал, можно прийти к следующим выводам.

Многие английские слова изменили свое значение после того, как в язык вошли синонимичные им французские слова. Изменение значения английского слова происходит, в большинстве случаев, приблизительно через срок от

полстолетия до столетия после вхождения в язык иностранного синонима. Обычно старое значение существует еще одно или два столетия после появления нового значения но, в конце концов, погибает, вытесняемое не только прочно утвердившимся к тому времени французским синонимом, но и своим собственным новым значением, поскольку полисемантизм в известных случаях может вызывать недоразумения. Возможно, что в деле вытеснения старых значений в некоторых случаях немалая роль принадлежит новым лексическим заимствованиям из латыни в эпоху Возрождения, но рассмотрение этого предположения увело бы слишком далеко от разбираемого вопроса.

В разобранных здесь словах можно наметить два основных типа. К первому типу относятся слова полисемантические; они теряют часть своих значений при появлении в языке французского синонима. При этом в одних случаях в полисемантическом слове только исчезают некоторые из его значений, и одно какое-то значение становится основным. Таковы слова *burgh*, *non*, *mel*. В других случаях происходит некоторое развитие одного значения, как в *harvest*, *deer*, *chepe*.

Ко второму типу принадлежат слова, не являющиеся полисемантичными. Если в предыдущем типе изменения заключались либо в потере одного из значений, либо в некотором изменении его, причем новое значение тесно связано со старым, то во втором типе значение слов меняется коренным образом. Эти слова принадлежат к какой-либо из областей, где особенно сильно сказалось французское влияние в лексике, т. е. где французская культура внесла свою терминологию. Таковы *baup*, принадлежащее к юридической области; *bede* — из церковной терминологии; *fapa* — из военной области; *shroud*, *wede*, замененные французскими терминами из области мод. Все эти слова, как видно, принадлежат к совершенно определенным кругам понятий, именно в силу своего моносемантизма. Не всегда слова, принадлежащие к определенным техническим, если можно так выразиться, областям, подвергались таким резким сдвигам; *burg*, — также техническое слово, было полисемантично и пошло по пути наименьшего сопротивления — по пути утраты части значений.

Из разобранных здесь слов *root*, *loft*, *tide* подверглись конкретизации при столкновении с французскими синонимами. Здесь сказалось классовое положение французского языка, языка аристократии, а отчасти более высокая ступень, на которой стояла тогда французская культура по сравнению с английской.

В англо-саксонском эти слова имеют не вполне четкое значение общих понятий; они только полуотвлеченны, в них наличествует большая доля материальности. При столкновении с французским синонимом эта нечеткая отвлеченность исчезает, результатом чего оказывается появление в языке двух вполне ясно обрисованных понятий, — абстрактного и конкретного.

ОБРАЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Доц. Л. Л. Иоффик

Личные местоимения, как грамматическая категория представляют большой интерес, так как, составляя неотъемлемую часть языка, они видоизменяются при историческом развитии его строя, участвуя прежде всего в выявлении субъектно-объектных отношений. Система местоимений современного английского языка, отражая своеобразие его строя, имеет целый ряд особенностей, которые становятся понятными при рассмотрении истории сложения этой системы.

Система личных местоимений древне-английского языка, сходная в своих основных чертах с системой местоимений в других индоевропейских языках, подверглась значительным морфологическим и синтаксическим трансформациям в процессе развития строя английского языка. При превращении английского языка из флективного в аналитический личные местоимения приобретают особую синтаксическую функцию из-за отсутствия личных окончаний глагола-сказуемого. „В тех языках, в которых сказуемое не изменяется по лицам, следовательно, не содержит в себе субъектного выражения, субъект получает отдельное в предложении место и выражающее его местоимение... занимает позицию подлежащего".¹ „Отсюда можно было бы прийти к выводу—пишет далее акад. Мещанинов,—что местоименное подлежащее при глаголе стало в английском языке как бы необходимой принадлежностью глагольной формы".²

В современном английском языке личные местоимения занимают особое положение. Характерным является сохранение большинством местоимений двух падежных форм,

¹ Акад. И. И. Мещанинов. Члены предложения и части речи, М.—Л., 1945, стр. 224.

² Там же.

позволяющих формально дифференцировать субъект и объект (ср. I-me, he-him, she-her, they-them), при полной утрате возможности различения субъектно-объектных форм существительными.¹ Форма объектного падежа личных местоимений возникла в средне-английский период как результат слияния винительного и дательного падежей в одну общую форму. Однако дальше этого процесс стирания падежных форм местоимений не пошел. Только в одном случае форма объектного падежа вытеснила именительный падеж. (См. ниже местоимение you).

Особое внимание может привлечь также исчезновение местоимения второго лица ед. числа thou, которое завершилось в новоанглийском периоде. Это явление не имеет параллели в других индоевропейских языках (ср. русский, французский, немецкий и др. языки). Интересно также то, что вопреки тенденции к уменьшению числа местоименных форм, заметной в новоанглийском периоде, в XVI веке возникла новая форма—притяжательное местоимение средн. рода ед. числа its.

Современная система личных местоимений стабилизировалась довольно поздно, в XVIII в. Непосредственные предпосылки ее становления можно проследить, анализируя языковой материал второй половины XVII в., периода переходного от раннего новоанглийского к современному английскому языку.

В настоящей работе мы рассматриваем употребление и пути устранения некоторых форм личных местоимений² в их основных синтаксических функциях в языке второй половины XVII в., отраженном в комедиях эпохи Реставрации. Таким образом можно показать, как происходило формирование современной системы личных местоимений.

В раннем новоанглийском периоде (XV, XVI вв.), современная система местоимений еще не установилась. Широко употребляются местоимения, исчезнувшие в современном языке: все формы местоимения 2-го лица ед. числа thou; именительный падеж местоимения 2-го лица множ. числа ye; древнеанглийская форма объектного падежа местоимения 3-го лица множ. числа 'em. His служит притяжательным

¹ Только два местоимения имеют форму общего падежа (common-case form)—местоимение ед. числа средн. рода it (древнеанглийская форма именит. и винит. падежей) и местоимение 2-го лица мн. числа you; объединение именит. и винит. падежей этого местоимения в одну форму произошло в новоанглийском периоде.

² Из других местоименных форм рассматривается лишь притяжательное местоимение ср. рода, ед. числа its и вопросительно-относительное местоимение who.

местоимением 3-го лица ед. числа для мужского и среднего рода. Its, новое притяжательное местоимение, позволяющее грамматически дифференцировать принадлежность к неживым предметам и владение живых существ, засвидетельствовано впервые в конце XVI века (1598 г.)

Пресловутая грамматическая „свобода“ раннего новоанглийского, неустойчивость и колебание грамматических норм, характерные для эпохи интенсивного разрушения элементов синтетического строя языка и быстрого развития аналитических способов выражения, проявляется и в области местоимения, главным образом в параллелизме грамматических средств выражения: формы *ye* и *you*, *them* и *'em* употребляются в одинаковой грамматической функции. Неустановившийся порядок слов позволяет сохранить так наз. *dativus ethicus*, конструкцию, которая в строгих рамках современного английского предложения была бы неясной и грамматически двусмысленной.

Однако в этот же период намечаются тенденции, развитие которых приводит к установлению современной системы форм и функций местоимений. Главная из них — стремление к устранению флективных форм, характерное для строя английского языка. Оно проявляется в стирании падежных различий местоимений — слиянии именительного и объектного падежей личных и вопросительных местоимений в одну общую форму. Наблюдается также аналогичное явление, которое можно охарактеризовать как стремление уменьшить количество наличных в языке местоименных форм, независимо от их роли в предложении. Развитие этой тенденции приводит к исчезновению местоимения *thou*.

Не только в раннем новоанглийском, но даже и в языке второй половины XVII века, который по ряду признаков является периодом перехода от раннего новоанглийского к поздненовоанглийскому, т. е. к современному языку, мы еще находим в системе местоимений много черт, сходных с языком XVI в. Но вместе с тем именно в этот период создаются предпосылки для установления современных норм употребления местоимений.

I

Язык комедий эпохи Реставрации, также, как и ранний новоанглийский, сохранил большее количество форм местоимений, чем современный язык.

Широко употребляются все формы местоимения 2-го лица ед. числа *thou*, наряду с вытеснившим его впоследствии *you*, например: „Nay, Faith, I see thou art angry now; pr'y-thee don't trouble thy self, I'll stay with thee.“ (Shadwell.

"The Sullen Lovers", IV, I, 73).¹ В этом предложении встречаются формы именительного и объектного падежей *thou* и *thee* и возвратное местоимение *thyself*. Притяжательные местоимения *thy* и *thine*: "This moment end thy fears, for I am thine." (Behn, "The City Heiress", V, 5, 259).²

В XIII в., под влиянием французского языка, *ye* и *you* становятся формами вежливого обращения к одному лицу. Постепенно они распространяются в этой роли и употребляются преимущественно в спокойной, не эмоциональной речи. Франц, автор "Shakespeare—Grammatik",³ давая подробный анализ употребления *thou* и *you* в языке Шекспира, отмечает, что в большинстве случаев *thou* применяется в состоянии какого-нибудь аффекта, выражая самые разнообразные чувства—радость, любовь, гнев, презрение. *Thou* используется также, как форма фамильярного обращения—господ к слугам, родителей к детям и влюбленных друг к другу. Нормой для официального разговора, для речи, не окрашенной эмоционально, в языке Шекспира является *you*. Очень часты случаи чередования *thou* и *you*, в зависимости от изменения настроения говорящих.

В комедиях Реставрации *thou* встречается не менее часто, чем у Шекспира. Оно, наравне с *you* является нормой для языка. Но трудно найти предложение или несколько связанных фраз, в которых то или другое местоимение применялось бы последовательно. В огромном большинстве случаев *thou* и *you* чередуются, выражая смену настроений в эмоционально окрашенном разговорном языке комедий. Это чередование *thou* и *you*, вызванное сменой аффекта, а подчас и безразличное, является одной из специфических черт этого периода.

Употребление *thou* и *you* у Шекспира, как показывает подробный анализ Франца, напоминает употребление местоимений 2-го лица ед. числа в русском, немецком и французском языках. Но в этих языках мы не найдем чередования "ты и Вы" в одном предложении, за исключением, может быть, единичных случаев.

Thou и *you* чередуются при выражении более или менее сильного аффекта—гнева, негодования, причем, обычно, говорящий начинает с *you* и, проникаясь все большим негодованием во время разговора, переходит к *thou*, например в комедии Etherege, "She wou'd if she cou'd"⁴, Lady Cockwood

¹ T. Shadwell, Works, V. I, London, 1720. (Первая цифра обозначает акт, вторая—сцену и третья страницу цит. изд.).

² A. Behn, Plays, V. II, London, 1871 (перепечатка издания 1724 г.).

³ W. Franz, Shakespeare-Grammatik, Heidelberg, 1924, S. 254.

⁴ G. Etherege, Works, London, 1704.

говорит со своим бывшим возлюбленным, который относится к ней холодно: You are mistaken, Sir, if you think, I am concern'd for your going to the Spring garden this evening, my Quarrel is the same with Sir Oliver and is so just that thou deserv'st to be poison'd for what thou hast done. (V, I, 162).

Комедия Otway, „Friendship in Fashion“.¹ Служанка упрекает свою госпожу Mrs. Goodvile в том, что последняя собирается изменить своему мужу. Mrs. Goodvile с возмущением отвечает:

„Ha, wrong him What say you Lettice? I wrong my Husband! Such another word forfeits my good opinion of thee forever“ (II, I, 252).

В этой же комедии Трумен, стараясь отделаться от навязчивого Малагена, которого он презирает, начинает с thou и затем переходит к you:

„Pr'y thee, Tormentor, leave us, do not I know the Wine thou drink'st is as base as the Company thou keep'st! To be plain with you, we will not go with you, nor must you go with us.“ (I, I, 242).

Употребление you в этом примере знаменует переход на официальный тон, не допускающий возражений.

Thou употребляется также, как и в устах Трумена, для выражения глубочайшего презрения, у Wycherley. в „The Plain Dealer“: Manly. „Canst thou be angry thou thing“.² (Coming up to novel, II, 1, 23). Чередование thou и you наблюдается в речи с ироническим оттенком. В комедии Wycherley „The Gentleman Dancing Master“³ Gerrard иронически любитесь офранцузившимся молодым человеком:

„... but Monsieur, now give me leave to admire thee, that in three month at Paris you could renounce your Language, Drinking and your Country for which we are not angry with you, as I said, and come home so perfect a French-man, that the Dreyemen of your Father's own Brew-house wou'd be ready to knock thee on the Head“. (I, 2, 9).

Thou и you чередуются в фамильярной речи, в разговоре между друзьями.

В комедии Otway, „Friendship in Fashion“ Валентин и Гудвиль приветствуют их общего друга Трумена:

Val: Truman, good morrow, just out of your Lodging? But that I know thee better, I should swear thou hadst resolv'd to spend this day in Humiliation and Repentance

Goodv: I beg your Pardon. Some Lady has taken up your Time. Thou canst no more rise in a Morning without a Wench, than thou canst go to Bed at Night without a Bottle. Truman, wilt thou never leave Whoring. (I, I, 238).

¹ T. Otway. Works, V. I, London, 1722.

² W. Wycherley. The Plain Dealer, London. 1700.

³ W. Wycherley. The Gentleman Dancing Master. London, 1702.

Ravenscroft „The London Cuckolds“ Townley удивляется неудачам своего приятеля в любовных интригах:

Thou art always upon intrigues; I never know any of your intrigues come to any thing... you see I never make it my business to look after women, and yet they sail in my way and I am succesful, whereas thou art always coursing'em about, and when you are at the very suit of them, thou loosest' em.¹

Это высказывание эмоционально окрашено очень слабо; неудачам своего приятеля Townley несколько хвастливо противопоставляет свои успехи; выбор местоимения нельзя объяснить нарастанием аффекта. Употребление *you* и *thou* безразличное.

Трудно объяснить смену местоимений в следующем отрывке из комедии Dryden „Marriage-a-la-Mode“:²

Паламед, увидев впервые Доралису, влюбляется в нее:

Dor.: And now see what a miserable wretch you have made your self.

Pal.: Who, I miserable? Thank you for that. Give me Love enough and Life enough, and I doifie Fortune.

Dor.: Know then, thou Man of vain Imagination, to thy utter confusion that I am virtuous.

Pal.: Su h another Word, and I give up the Ghost!

Dor.: Then, to strike you quite dead, know that I am marry'd too.

Pal.: Art thou marry'd, O thou damnable virtuous Woman.

Dor. Yes, marry'd to a Gentleman; young, handsome, rich, valiant, and with all the good Qualities that will make you despair and han; yourself.

Pal.: Well in spite of all that I'll love you, (I, I, 472).

Если выделить одни местоимения 2-го лица, то получается следующая схема:

Dor.: you, yourself I thou, thy, I you I you, yourself.

Pal.: you... I... I thou, thou I you

Весь диалог эмоционально насыщен, но в комедийном тоне. Торжество Доралисы и отчаяние Паламеда не воспринимаются серьезно. Употребление *thou* приходится на середину диалога, высшую точку напряжения, но и то непоследовательно.

В следующих примерах мы также находим почти или абсолютно безразличное чередование *thou* и *you*:

Wycherley „The Plain Dealer“, Оливия говорит своему мужу:

I'm glad on't—otherwise you had ravish'd her, Sir? But how dar'st thou go so far as to make her believe you wou'd ravish her? (V, I, 67).

¹ E. Ravenscroft. The London Cuckolds. London, 1921 (перепечатка издания 1682 г)

² J. Dryden. The Comedies., Tragedies and Operas, V.I. London. 1701.

Вспышка гнева в середине настолько коротка, что в конце мы находим снова you; здесь скорее пример безразличного употребления, чем смены настроений.

Вдова сутяжница обращается к своему адвокату:

Go, save thy breath for the Cause; talk at the Bar, Mr. Quaint. You are so copiously fluent, you can weary any ones ears, sooner than your own Tongue. Go, thou art a fine spoken Person; Adad, I shall make thy Wife jealous of me, if you can but court the Court into a Decree for us (ib. III. I. 35).

Схема употребления местоимений в этом высказывании: *thou, you, you, your, thou, thy, you.*

Некоторые англисты (в том числе и Poutsma)¹, считают, что в течение XVII и XVIII веков *thou* постепенно исчезало из языка. Однако материал языка комедий показывает, что количественно разницы в употреблении *thou* по сравнению с языком Шекспира нет, или если и есть, то очень небольшая. Употребление *thou* в комедиях отличается от употребления *thou* у Шекспира учащением чередования *thou* и *you*, связанным с ослаблением эмоционального значения *thou* и заменой его более бесцветным *you*. Окончательное вытеснение местоимения *thou* очевидно и является результатом такого чередования.

Этот процесс можно себе представить в нескольких этапах:

1. Появление вежливого *you* в обращении к одному лицу (XIII, XIV вв.).

2. Распространение *you* как местоимения, употребляемого в спокойной, не эмоциональной речи; *thou* сохраняется как местоимение, выражающее дружественные, родственные отношения, аффект, социальное неравенство (обращение к слугам и плохо одетым людям).²

3. Чередование эмоционально окрашенного *thou* с неэмоциональным *you* в одном и том же предложении или высказывании, отражающее изменение настроений (у Шекспира, в языке комедии).

4. Учащение чередования *thou* и *you*, наблюдаемое в языке комедий; *thou* начинает терять эмоциональный оттенок; чередование превращается в безразличное (2-половина XVII в.).

5. *You* вытесняет потерявшее свою специфическую семантику *thou* (XVIII в.).

¹ H. Poutsma. A Grammar of Late Modern English. Groningen, 1916. Part II. Section 13., p. 886.

² Franz, op. cit., S. 260.

В XVIII в. *thou* постепенно исчезает. В начале века, у Дефо, *thou* встречается еще довольно часто¹, но Аддисон и Стиль относятся неодобрительно к употреблению *thou*, издаваясь над квакерами: ... „видел книгу в его руке... это была религия квакеров. Читая ее я обнаружил, что это было не что иное, как новомодная грамматика. Главным местоимением являлось *thou*, а что касается *you*, *ye* и *youre*, я обнаружил, что они не считались частями речи в этой грамматике. Всем глаголам нехватало 2-го лица множ. числа“.² Отсутствие *you* в роли местоимения 2-го лица ед. числа остро ощущается авторами.

Таким образом местоимение 2-го лица ед. числа исчезло из английского языка, что повлекло за собой не только уменьшение количества форм личных местоимений, но также и исчезновение одной из немногих флексий английского глагола. Вместе с устранением местоимения *thou* исчезает окончание 2-го лица ед. числа—*est*. Система глагола продвинулась еще на шаг на пути к аналитическому строю.

II

Обратимся к особенностям употребления того местоимения, которое впоследствии вытеснило *thou*. В языке комедий еще существуют две формы местоимения 2-го лица множ. числа—*ye* (древнеанглийский имен. пад. *ge*) и *you* (древнеанглийский дат. вин. пад. *eow*). Процесс вытеснения *ye* формой винительного падежа *you* начался в XIV в., как одно из проявлений общей тенденции разрушения флексии и унификации падежных форм. В дальнейшем происходит полное смешение их функций. *You* используется как подлежащее и *ye* встречается в роли дополнения. Уже в середине XVI в. *you* употребляется чаще, чем *ye* в функции именительного падежа. У авторов конца XVI в. обе формы применяются почти безразлично. У Марло *ye* встречается чаще в вопросительных предложениях и в обращении, напр.: „How have ye spent your absent time;“, „O, then, ye powers that sway eternal seats“.³

У Шекспира форма именительного падежа на втором плане; она встречается сравнительно часто в некоторых драмах, как *Hy VI*, *Hy VII*, в других—лишь в единичных случаях, напр. в *Love's Lab. 5 раз*, *M. Wives—1 раз*.⁴ Франц

¹ G. L. Lannert. An Investigation into the Language of Robinson Crusoe, Upsala, 1910, p. 48.

² *ib.*, p. 52.

³ K. Schau, Sprache und Grammatik der Dramen Marlowes, Leipzig, 1901.

⁴ Franz, op. cit., S. 251.

не может обнаружить какую-либо закономерность в выборе формы местоимения. Однако в новом переводе библии (Authorized Version, 1611 г.) мы находим последовательное разграничение этих форм. *Ye* выступает только как подлежащее, *you* — только как дополнение. Эта дифференциация проводится настолько последовательно, что можно предположить наличие сознательного стремления переводчиков употребить формы этого местоимения грамматически правильно, в разрез с тенденцией живой речи, напр.:

Ask, and it shall be given you; seek and ye shall find; knock and it shall be opened unto you. (Matth., VII, 7).¹

Здесь несомненно искусственное восстановление этих форм в их прежних функциях, не характерное для языка начала XVII в.

Неправ Есперсен, когда он говорит, что вскоре после смерти Шекспира „*ye* следует считать исчезнувшим из современного стандартного английского языка“.² В языке комедий *ye* встречается довольно часто, даже чаще, чем в языке Шекспира, если сопоставить употребление *ye* с данными Франца. В предложении оно чередуется с *you* в синтаксических функциях именительного и объектного падежей. В языковом сознании говорящих *ye*, повидимому, воспринимается как фонетический вариант *you*, благодаря совпадению первого звука, сонанта *j* в обеих формах.³ Кроме того *ye* легко поддается стяжению энклитического или проклитического характера, а всякого рода краткие или стяженные формы строевых слов пользовались особой популярностью в разговорном языке эпохи Реставрации.⁴

Следующее предложение весьма характерно для языка комедий:

So, are ye come? odd y'are welcome, very welcome, odd ye are, here's a small Banquet, but I hope'twill please you... (Othway, „The Soldier's Fort, one“, V, 3, 41).

Здесь местоимение 2-го лица множ. числа встречается в трех формах — *you*, *ye* и стяженной *y' (are)*.

В стяжении *ye*⁵ имеет две формы — проклитическую, в

¹ J. Storm. Englische Philologie, Leipzig, 1896, S. 1001.

² O. Jespersen. Progress in Language, London, 1894, p. 265.

³ Ср. аналогичную точку зрения у Франца (op. cit., S. 251).

⁴ Ср. случаи стяжения, которые в современном языке неопустимы: Is there no Truth nor Honesty i' th' World (Behn, The City Heiress, III, 1, 211). Tis evident, I am betrayed, abused, H'as lookt and sigh'd and talkt away my Heart... (Ib., III, 1, 210).

⁵ Ср. интерпретацию стяженной формы Есперсеном: „in countless passages, where modern editions of Shakespeare read you're the old folio; has y'are, which must no doubt be interpreted ye are“ (op. cit., p. 256).

которой отпадает *i*: (1) и энклитическую, в которой отпадает *j* (2). Энклитическое *ye* встречается реже:

1) And though I know the Truth of what y've done will set her a raving. I'll heighten it a little with Invention... and be here again before y're ready" (Etherege, *Sir Fopling Flutter*, I, I, 189).

2) "What, d'ee think to make an ass of me?" (D'Urfey, *The Fond Husband* IV, 4, 81).¹ "d'y hear, Daughter..." (Wycherley, *Love in a Wood*, III, I, 29).²

Примерами безразличного синтаксического употребления *you* и *ye* могут служить следующие предложения:

"Palamede has Wit, and if he loves you, there's something more in ye than I have found (Dryden, *Marriage a-la Mode*, V, I, 510).

You и *ye* выражают дополнение:

"Tis not above Five; At seven I will not fail ye, Madam, you have given me new Life with this Favour" (D'Urfey, *The Fond Husband*, III I, 47).

Здесь *ye* применяется в роли объектного падежа, *you* — именительного, употребление, противоположное присущим этим формам исторически функциям. См. также; *ib.*, III, I, 47; Shadwell, *"The Sullen Lovers"*, V, 1, 92; V, 1, 106; Behn, *"The City Heiress"*, I, 1, 173; I, 1, 179.

Наряду с безразличным грамматическим использованием обеих форм этого местоимения встречается много случаев, когда *ye* имеет известную эмоциональную окраску, применяется при выражении сильного аффекта, гнева, часто мольбы, в то время как *you* употребляется в спокойной речи.

Случаи "эмоционального" употребления *ye* можно разделить на две группы:

1. *Ye* в роли именительного падежа:

а) в обращении (функционально — вокатив).

При обращении к силам природы, богам и т. п. *ye* имеет известную стилистическую окраску, придавая высказыванию оттенок торжественности, высокий стиль.

Shield me, ye Shades of Night. (Behn. *The City Heiress*. IV. I, 236).
Alas, ye Cods, am I despis'd and scorned. (*ib.*, V, 3, 259).

В сатире Buckingham, *"The Rehearsal"*³ поэт Бейз (пародия на Драйдена), хвастливо комментируя слова одного из персонажей своей нелепой пьесы, подчеркивает сознательное использование им *ye* как стилистического приема:

Physician: O ye Gods.

Bayes: There's a smart Expression of a Passion: O ye Gods! That's one of my bold Strokes, I'gad. (III, 2, 31).

¹ D'Urfey. *The Fond Husband; or the Plotting Sisters*. London, 1735.

² W. Wycherley. *Love in a Wood; or St. James's Park*. London, 1694.

³ G. Buckingham. *The Rehearsal*. London, 1734.

Это употребление было свойственно и языку XVI в. (см. выше пример у Марло). Торжественный оттенок речи в сознании говорящих связывался с тем, что *ye*, повидимому, воспринималось, как более архаичная форма (ср. влияние библии).

Но еще более часты в комедиях случаи употребления *ye* в обращении при словах, имеющих значение брани— *dog, rascal, rogue knave* и т. п. *Ye* здесь служит для выражения гнева, презрения, угрозы.

*I can hold no longer, ye eternal Dogs, ye Curs, ye Ignorant whelps. (Shadwell, The Sullen Lovers, V, I, 94).
To her, like a Man, ye knave (Behn, The City Heiress, II, 3, 201).*

В комедии Otway „The Soldier's Fortune“ офицер-роялист, оставшийся после Реставрации не у дел, рассуждает о неблагодарности населения к солдатам; после окончания войны каждая сводня в приходе будет кричать:

Fough, ye lousy Red-coat Rakehell! hout ye Caterpillars, ye Locusts of the Nation; you are the Dogs that would enslave us all, plunder our Shops, and ravish our Daughters, ye Scoundrels (I, I, 336).

Здесь несомненна ассоциация *ye* с бранным значением именно в вокативе; как только бранное слово становится предикативным членом, в роли подлежащего появляется *you (you are Dogs...)*.

б) Подлежащим глагола *to lie*, слова с одиозным значением, в большинстве случаев выступает также *ye*:

„Ye lie, ye did rail at his Play“ (Shadwell, The Sullen Lovers, III, I, 58; см. также ib., IV, I, 79.)

2. *Ye* в роли объектного падежа, дополнение при глаголах, выражающих просьбу, мольбу:

Now I conjure ye both, by all your Honour... (Behn, The City Heiress I, I, 184):

Мольба ярко выражена в следующем отрывке из той же комедии. Уайльдинг умоляет разгневанного дядю выслушать его. Дядя неумолим и отвечает отказом:

Wild.: I beseech ye, Uncle, hear me.

Sir Tim.: No.

Wild.: Dear Uncle.

Sir Tim.: No...

Wild.: At least hear me out, Sir.

Sir Tim: No. I have heard you too often, Sir, till you have talk't me out of many a fair Thousand; have had ye out of all the Bayliffs, have brought you out of all the Surgeons, and have crost ye out of the Books of all the Mercer S. (I; I, 172).

Но в гневной тираде дяди уоу и уе чередуются совершенно безразлично в роли дополнения.

Весьма возможно, что в период Реставрации, когда уе и уоу были грамматическими синонимами, когда исконное синтаксическое значение этих форм было забыто, могло возникнуть стремление дифференцировать их семантически, придавая уе некоторую эмоциональную окраску. Исходным моментом могло быть ощущение уе как более архаической формы (опять-таки влияние библии). Но, как и в случае предпочтения thou местоимению уоу, выбор формы местоимения (thou, а не уоу; уе, а не уоу) служит только знаком эмоции; чувства, которые оно призвано выразить, могут быть диаметрально противоположного характера (ср. thou — любовь, презрение, гнев; уе — обращение к богам и негодяям).

В некоторых разговорных формулах, в повелительном наклонении уе употребляется почти всегда:

Jack, hark ye, (Shadwell, *The Sullen Lovers*, III, I, 55.)

...look ye there, ye Rogue. (Behn, *The City Heiress*, II, 3, 202).

В таких оборотах уе сохранилось в диалектах до сих пор.

В первой половине XVIII в. уе еще встречается, преимущественно в энклитическом положении, после глагола. Дефо: „What are ye“, „Hark ye“. „¹ Ричардсон: „I warrant ye“; „Look ye;“ в риторических обращениях: „Judge ye, my honoured Parents...“.² Во второй половине XVIII в. уе уже воспринимается как архаизм. Английский грамматик того времени Уорд (Ward) пишет: „Ye появляется редко (и только во множественном числе), за исключением торжественного стиля священного писания“.³

В XIX в. уе исчезает из разговорного и литературного языка в функции именительного и объектного падежа. Процесс объединения падежных форм местоимения 2-го лица закончен. Эта тенденция оказалась сильнее, чем стремление сохранить уе при помощи семантической дифференциации, наблюдавшееся в языке эпохи Реставрации. Фонетический момент, сходство произношения уе и уоу (общий сонант j), не мог не сыграть некоторой роли в ускорении процесса объединения падежных форм этого местоимения. И в настоящее время уоу является единственным личным местоимением, в котором произошла полная ликвидация падежных различий.

¹ Lannert, op. cit., p. 52.

² W. Uhrström, *Studies on the Language of Samuel Richardson* Upsala, 1907, p. 30.

³ Lannert, op. cit. p. 55.

III

Не только местоимение 2-го лица, но и местоимение 3-го лица множ. числа в исследуемый период выражено грамматическими синонимами — формой *them* (скандинавского происхождения) и *'em*, которое восходит к древнеанглийскому *him* (дат. падеж).

В языке комедий *'em* употребляется значительно чаще, чем *them*. Ср. следующие данные:

D'Urfeу, „The Fond Husband“.			Wycherley, „The Plain Dealer“		
—	'em	them	—	'em	them
I акт	13 раз	—	I акт	11 раз	—
II .	12 .	1 раз	II .	25 .	1 раз
III .	20 „	1 .	III .	25 .	2 .
IV .	18 .	2 .	IV .	21 .	1 .
V .	14 .	2 .	V .	21 .	1 .

В языковом сознании эта форма воспринималась, видимо, как стяжение *them*; ее исключительно частое употребление объясняется предпочтением стяженных и сокращенных форм, о котором говорилось выше.

Следующий отрывок очень характерен, как пример употребления *'em* в живом, непринужденном разговоре:

Rang.: We'll catch 'em in his Lodging!
 Mar.: Entrap 'em there and bring him in to suit?
 Rang.: Right What else? We'll shame 'em.
 Mar.: Slight 'em.
 Rang.: Laugh at 'em.
 Mar.: Vex 'em.
 Rang.: Ruine 'em,
 Mar.: Dam 'em.
 („D'Urfeу, The Fond Husband,“ II, I, 28).

В тех немногих случаях, когда встречается форма *them*, она может безразлично чередоваться с *'em*:

... and the same Bait, that persuades them to Matrimony, shall entice 'em into Adultery (Shadwell, The Sullen Lovers, III, I, 50).

'Em встречается не только в речи персонажей комедий, но также и в авторских ремарках, из чего можно заключить, что частое применение формы *'em* не было результатом сознательного стремления отразить разговорный язык эпохи, так как комедиографы употребляют *'em* в своей речи.

Ср. следующие авторские ремарки: „Sir Charles makes up to 'em.“ (Behn, „The City Heiress“, I, I, 183). „Taking 'em asunder, they draw.“ (Ib., I, I, 184).

В XVIII в. 'em еще употребляется в литературном языке. Примеры у Дефо и в „Зрителе“ многочисленны. К концу века 'em воспринимается как вульгаризм. В „Эвелине“ Вигнеу образованные персонажи употребляют только 'em.¹ Форма 'em может встретиться в разговорном языке и в настоящее время, но в языковом сознании большинства она воспринимается как сокращенная неударная форма them и расценивается как вульгаризм. Ср. следующее указание в *The Vulgarities of Speech corrected* (1826 г.): „Еще одно вульгарное сокращение... опускание th в слове them“.²

IV

На протяжении всего развития английского языка наблюдается тенденция ликвидировать падежные формы местоимений, свести их к одной общей форме, но эта тенденция проявляется неодинаково интенсивно в разные периоды и в отношении разных местоимений.

Ликвидация различия между формой именительного и объектного падежей личных местоимений могла идти по двум путям—замены именительного падежа объектным (напр. рассмотренное выше вытеснение *ye* формой *you*) и объектного—именительным. В истории английского языка наблюдаются обе тенденции. Остановимся на первом пути устранения падежных различий местоимений—вытеснении объектным падежом именительного во всех функциях последнего.

В 1-м лице единственного числа форма объектного падежа *me* в современном языке почти полностью вытеснила форму именительного *I* в роли предикативного члена после связки *to be*. Хотя многие грамматики отказываются признать этот факт, в живом языке эту замену можно все же считать совершившейся.

Для языка XVI—XVII вв. это явление еще не характерно. У Шекспира *I* сохраняется как предикативный член: „*I knew 'twas I*“, *Tw*. *Me* встречается чрезвычайно редко³.

В языке комедий именительный падеж является нормой: *Courtine, is it you?*

Yes, Sweet heart, 'tis I (*Otway, The Soldiers' Fortune, IV, 2, 392*).

Ay, Sir, 'tis I, poor Jeremy, Sir. (D 'Urfe, The Fond Husband, IV, 2.98).

Me встречается в субстантивации: *Oh, happy night! Oh happy hour!, Oh happy me!* (*Crown, The Country Wit; II, 1, 31*).⁴

Но также и *I*: *tis I, impatient I* (*Behn, The City Heiress, V, 3, 248*).

¹ Lannert, op. cit., p. 57.

² Cit. ib., p. 56.

³ Franz, op. cit., p. 244.

⁴ J. Crown, *The Country Wit*, London, 1735.

Один раз встречается *me* после *than* в эллиптическом сравнительном предложении:

I know some of my schoolfellows, who when we were at school, were two Years younger than me (Wycherley, *The Plain Dealer*, II, 1, 39).

В 1-м лице множ. числа примеры единичны. *Us* выступает в роли подлежащего в следующем предложении:

A Gentleman so well made as you may be confident — us easte Women could not deny you anything, if 'twere for yourself. (Wycherley, *The Plain Dealer*, II, 1, 26).

Интересен следующий пример, где *us* вначале появляется в своей основной функции, как дополнение, затем в результате постепенных синтаксических сдвигов оно в конце отрывка употребляется вместо именительного *we* в роли предикативного члена.

Pal: We came hither so very privately, that you could not trace us.
R h o: Us? what us? You are alone. *Pal*: Us? The Devil's in me for mistaking. Me, I meant, or us; that is you are me, or I you, as we are friends, that's us (Dryden, *Marriage-a-la Mode*, III, 2, 495).

Объектный падеж местоимения 2-го лица ед. числа у Шекспира и в языке комедий встречается в функции именительного довольно часто, главным образом в повелительных предложениях типа „*hark thee*“, „*run thee*“. Появление формы объектного падежа здесь можно объяснить отчасти влиянием повелительных предложений с возвратным объектом, напр. „*retire thee*“.

Woodcock: Dear Rogue, if thou lov'st me, out of my Room.
Ninny: No, good sweet Woodcock, now go thee. (Shadwell, *The Sullen Lovers*, V. 1, 101).

Thee and I cannot have Horner's privilege, who can make use of it. (Wycherley, *The Country Wife*, III, 1, 32).¹

Объектный и именительный падежи местоимения 2-го лица множ. числа окончательно совпали в этот период (см. выше). Формы *you* и *ye* воспринимаются как грамматические синонимы.

Объектный падеж 3-го лица ед. числа мужского рода *him* в языке Шекспира употребляется вместо именительного *he*, главным образом в случаях притяжения, когда личное местоимение принимает падеж следующего относительного местоимения:

В комедиях встречаются два случая притяжения:

I would not think thee him I see thou art. (Dryden; *The Rival Ladies*, II, 1, 80) = *he whom*.

¹ W. Wycherley. *The Country Wife*. London, 1695.

I've none but honest meaning in my Passion, whilst him you favour so profanes your Beauties, in scorn of Marriage and Religious Rite, attempts the ruin of your sacred Honour. (Behn, *The City Heiress*, I, 1, 183).

Кроме того him встречается как предикативный член после глагола to be;

Hark! Some Body knocks, it may be him (Etherege, *She wou'd if she cou'd*, V. 1, 159).

В следующем примере him заменяет he в функции подлежащего. Инверсия после транзитивного глагола вызывает форму объектного падежа:

What a Pox makes him here, (Shadwell, *The Sullen Lovers*, IV, 1, 75).

Объектный падеж местоимения женского рода, her, один раз встречается вместо she после than.

But I say, Sir, you are a beggarly younger Brother, twenty year younger than her. (Wycherley, *The Plain Dealer*, II, 1, 29)

3-е лицо множ. числа them вместо they употребляется как предикативный член:

Free. These are the very self'same Gowns and Petticoats.
Court. Their Surprise confirms us, it must be them. (Etherege
She wou'd if she cou'd, II, 2, 112).

В дальнейшем развитии языка эта тенденция проявляется сильнее в разговорном языке, в просторечии (см. многочисленные примеры у Шторма, *op. cit.* S. 674), но с ней ведется борьба в литературном языке и формальной грамматике. Керм с удовлетворением констатирует: „это небрежное употребление (т. е. объектный падеж местоимения вместо именительного, — Л. И.), хотя и обычно в разговорном языке, в общем менее распространено в нашей лучшей (best) литературе, чем это было раньше“.¹

Аналогичная тенденция использования формы объектного падежа в роли именительного в абсолютном употреблении, не при личной форме глагола, победила в современном французском языке для некоторых местоимений, в английском языке, главным образом в разговорном, можно признать победу лишь за формой me в обороте it is me; здесь объектный падеж вытеснил именительный в функции предикативного члена.

¹ G. O. Curme. *A Grammar of the English Language*, V. III, Syntax. London, 1931, p. 43.

Вторая возможность устранения падежных различий местоимений — замена объектного падежа именительным, используется в раннем новоанглийском в меньшей степени, чем первая. Именительный падеж употребляется вместо объектного после союза *and*, чаще всего в обороте „*between you and I*“. Франц пишет о применении этого оборота в языке Шекспира следующее: „Судя по частому употреблению таких сочетаний, как *you and I*, *thou and I*, *he and I*, мы имеем основания предположить, что в этом случае налицо застывшие формулы языка елизаветинского времени, не изменявшиеся и в косвенном падеже. Местоимение первого лица стоит обычно на последнем месте из требований вежливости“.¹

Возможно, что аналогия с подобными сочетаниями частично влияла на употребление именительного падежа в обороте „*between you and I*“, но это не единственная причина. Главную роль играла общая нетвердость и неуверенность в употреблении форм, появившаяся в результате распада флексии и связанная с этим потребность притти к единой неизменяемой форме местоимения.

В языке комедий оборот „*between you and I*“ также широко распространен, как и в эпоху Шекспира:

...but betwixt you and I, let me tell you, we are all Mortal. (Shadwell. *The Sullen Lovers*, I, 1, 27).

No ceremony between thee and I, Man. (Wycherley. *Love in a Wood*, III, 1, 33).

После *let*:

Prithee let thee and I take the Air together. (Etherege. *Sir Fopling Flutter* II, 2, 225).

В инфинитивном обороте с *for*:

„But I'de fain know, what occasion there is for you I and to quarrel now. (Shadwell, *The Sullen Lovers*, V, 1, 101).

В обороте с *and* первое местоимение стоит в объектном падеже вместо именительного, по аналогии с оборотом зависящим от предлога или *let*:

Thee and I cannot have Horner's privilege, who can make use of it (Wycherley. „*The Country Wife*“, III, 1, 32).

Случаи употребления именительного падежа вместо объектного в других положениях в комедиях встречаются реже.

¹ Franz., op. cit., S. 249.

В следующем примере I стоит тоже после *and* вместо объектного падежа, но очень далеко от первого местоимения:

It makes him pass upon some for a Man of very good Sense. and I upon others for a very civil person. (Etherege. *Sir Fopling Flutter*, I, 1, 196).

В ответе на вопрос:

Gill — „Fair Creature, who is't you seek with so much sorrow?“
 Charl.: — Thou, fatally fair Inchintruss (Behn, *The City Heiress*, V, 5, 257).

Free. — „But is the twenty pound gone since the morning?“

Man. — To my Boats-Crew; would you have the poor brave Fellows want?

Free: Rather than you or I (Wycherley. *The Plain Dealer*, III, 1, 47).

Здесь I синтаксически является дополнением к глаголу *to want*, но отдаление объекта от глагола, положение его после *you*, не различающего падежи и сочетание с *and*, напоминающее конструкцию „between you and I“ вызывают употребление именительного падежа.

We стоит вместо *us* непосредственно после *between*:

Come, faith Madam, let us e'en pardon one another for all the difference I find between we Men, and you women, we forswear ourselves at the beginning of an Amour, you—as long as it lasts. (Wycherley. *The Country Wife*, V, 3, 58.).

В XVIII в. эта конструкция еще довольно часто встречается после *let*, напр. у Аддисона: „let you and I end our quarrel“; С. Джонсона: „Let you and I, Sir, go together“; в конце века у Берни (Burney) уже как вульгаризм: „Let's you and I have a little fun together“.¹

Тенденция стирания падежных различий местоимений проявляется также в употреблении именительного падежа вопросительного местоимения *who* в функции дополнения, вместо объектного *whom*. Одним из главных факторов, способствовавших распространению формы *who* в роли дополнения в разговорном языке явился устанавливающийся в XVI в. порядок слов, характерный для языка аналитического строя: подлежащее—сказуемое—дополнение. Так как вопросительное местоимение—объект предшествует сказуемому, оно могло принять форму именительного падежа. Также имело значение то обстоятельство, что *who* было единственным вопросительным местоимением, имевшим две падежные формы (ср. *what* и *which*).

¹ Storm, *op. cit.*, S. 678.

В языке Шекспира в довольно большом числе случаев *who* уже вытеснило форму косвенного падежа, однако этот процесс ни в коей мере не зашел так далеко, как в современном разговорном языке. Объектное *who* встречается у Шекспира в функции вопросительного местоимения чаще, чем в функции относительного; возможно даже употребление *who* после предлога: *Jago: „he's married“. Cassio: „To who?“*¹

Интересны попытки издателей Шекспира в XVII в. заменить объектное *who* формой *whom*.² Однако грамматикам не удалось искусственно воздействовать на язык в этом направлении. В языке комедий *whom* встречается редко, в особенности в роли вопросительного местоимения, тогда как у Шекспира объектное *who* еще не имеет такого широкого распространения. Но *who* после предлога уже не употребляется. Предлог перенесен в конец предложения.

Чаще всего *who* встречается в вопросительных предложениях:

Who have we here, Pinchwife? (Wycherley. The Country Wife, I, 1, 7).

В следующем примере *who* является объектом вопросительного, *whom* — относительного предложения.

R a n g. Who do you talk of?

D a p. Christina, whom I took up in a chair, just now at St. James's Gate. (Wycherley. Love in a Wood, IV, 3. 52).

Who довольно широко распространено как объект и в придаточных предложениях (преимущественно в дополнительных):

Bed who you will, Sir, and what you will. (Crown. The Country Wit, V, 2. 104).

I know who you mean, She is as censorious and detracting a Jade, as a superannuated Sinner. (Wycherley, The Plain Dealer, II, 1, 20).

Дополнение к глаголу:

You may talk of your Hectors and Achilles and I know not who. (Buckingham, The Rehearsal, V, 1, 61).

Таким образом, в языке комедий употребление формы *who* в роли субъекта ширится и растет по сравнению с языком Шекспира, несмотря на попытки грамматиков XVII в. ограничить это употребление.

Современные лингвисты расходятся в оценке состояния употребления *who* как объекта и перспектив его дальнейшего развития. Суит пишет: „мне кажется, что многие из образованных людей никогда не употребляют *whom*, всегда

¹ Franz, op. cit., SS. 292—293.

² Ibid.

who";¹ но Керм, отмечая, что „в повседневном разговорном, так же как и в более раннем литературном языке, все еще обычно употребление who как неизменяемой формы в функции субъекта и объекта“, включает следующими словами: „в общем, однако, употребление who вместо whom уменьшается во всех функциях в литературном языке“.²

В современном языке who употребляется не так широко, как в языке комедий, под влиянием формальной грамматики, считающей эту форму „неправильной“ в функции дополнения. Однако в силу особенностей, характерных для языка аналитического строя, перспектива слияния двух падежных форм местоимения в одну представляется все же весьма вероятной.

Тенденция сведения именительного и объектного падежей местоимений к одной форме проявлялась, как мы видели выше, с одной стороны, в замене именительного падежа объектным, с другой—в замене объектного падежа именительным. Развитие не пошло по второму пути. Форма именительного падежа в функции дополнения употребляется в раннем новоанглийском реже, чем форма объектного падежа в роли именительного; дополнение, выраженное именительным падежом, встречается в определенном положении—после союза *and*, главным образом в обороте „between you and I,“ который употребляется как готовая формула в разговорном языке XVI и XVII вв. Франц объясняет это явление аналогией с сочетаниями *he and I*, *you and I* и подобными, встречавшимися часто в функции подлежащего. Можно воспользоваться этим объяснением, так как мы находим именительный падеж в роли объектного чаще всего именно в этом положении, но применение этого оборота было возможно только в период относительной неустойчивости употребления падежных форм местоимений.

Стремление заменить объектный падеж формой именительного проявляется гораздо заметнее при употреблении вопросительного местоимения *who* (объектный падеж *whom*). Имелось больше оснований для такой замены. В период стабилизации порядка слов в английском предложении по типу *S. V. O. (Subject—Verb—Object)*, было естественно видеть форму именительного падежа перед сказуемым. *Who* в роли вопросительного местоимения должно стоять перед сказуемым. В тех случаях, когда вопросительное местоимение сочетается с предлогом, у Шекспира еще возможно употребление *who* после предлога. В языке комедий предлог

¹ Cit. Storm, op. cit., S. 680.

² Op. cit. pp. 101—102.

уже перенесен в конец предложения. Таким образом внешний облик трехчленной формулы сохраняется, но содержание ее иное—O. V. S., или в придаточных предложениях—O. S. V.

Употребление формы именительного падежа местоимения в функции объектного не может привести к каким-либо недоразумениям, так как вопросительное местоимение *what*, относящееся к неживым предметам, не имеет особой формы объектного падежа (исторически *what*—форма среднего рода) и также потому, что: „если прямое дополнение в силу каких-либо причин стоит раньше глагола... то это не вызывает никаких затруднений, объект в этих случаях дан заранее, и переходный глагол, стоящий после него, очень легко воспринимается, как направленный на этот заранее данный объект“.¹

Поэтому мы находим такое широкое употребление *who* в функции дополнения в языке комедий. Франц пишет, что в языке Шекспира процесс вытеснения объектного *whom* формой *who* не зашел настолько далеко, как в современном разговорном языке, тогда как в комедиях *who* в роли дополнения применяется еще шире, чем в настоящее время. Уже в XVII в. заметны стремления грамматиков задержать этот процесс, восстановить форму косвенного падежа *whom* в ее правах и в результате этих стремлений в современном языке, в особенности в литературном, *whom* является нормой.

V

Из конструкций, в которых местоимения выступают в роли дополнения, для языка комедий характерно употребление так наз. *dativus ethicus*—местоимения 1-го или 2-го лица в объектном падеже после сказуемого для выражения более тесной связи говорящего с его высказыванием. *Dativus ethicus* распространен в разговорном языке средне- и ранне-новоянглийского периодов. В современном языке он вышел из употребления: „To-day there is little feeling for this once common construction“, говорит Керм.² Этот оборот не свойствен современному синтаксическому складу мышления. «Вместо того, чтобы сказать: „that was you a joy“, мы теперь обычно говорим: „That was a joy, I tell you“ и вместо „Now heed me that“ мы говорим: „Now I want you to heed that“, Мы можем, однако, иногда употребить предложный датив *с for*: There is a fine Fellow for you».³

¹ Б. А. Ильиш. Современный английский язык. Л., 1940, стр. 38.

² Op. cit., p. 108.

³ Ibid.

В комедиях *dativus ethicus* очень широко употребляется, но почти исключительно от местоимения 1-лица, 2-е лицо встречается только 1 раз.

В предложении *dativus ethicus* может занимать различные положения. Чаще всего местоимение стоит между сказуемым и прямым дополнением:

„Come, Charles, take up thy Sword, Charles, and d'ye hear, forget me this woman. (Behn, *The City Heiress*, I, I, 185).

A damn'd Villain that spends me three pence a Day I know not how. (D'Urfey, *The Fond Husband*, IV, 3, 76).

Sirrah, pull me your Hat off thus-with a grace (Ib., IV, 3, 73).

Это предложение напоминает слова Петруччо из „Укрощения строптивой“, недопонятые его слугой Грумио и стоившие последнему наказания: „Villain, I say, knock me at this gate and rap me well, or I'll knock your Knave's pate“. ¹

The other day a damn'd old Rat eat me up a Dining-Room (Shadwell, *The Sullen Lovers*, IV, I, 87).

The Vulgar never understand it, they can never conceive you, Sir, the Excellency of these Things (Ib., III, 1, 31).

Dativus ethicus стоит после прямого дополнения:

But I say, Yes, Sir, love her me, and love her me like a man too or I'll renounce ye, Sir. (Behn. „*The City Heiress*,“ I, 1, 185).

Prithee speak that a little louder and with a hoarse voice... speak it me in a voice that thunders it out indeed. (Buckingham. *The Rehearsal*, I, I, 17).

Dativus ethicus находится между косвенным и прямым дополнением:

Then I will make you me a League offensive and deffensive with the king of England. (Shadwell. *The Sullen Lovers*, IV, I, 72);

между связкой и предикативным членом:

My Valet de Chambre, whom you see here, grows me acquainted with her Woman. (Dryden. *Marriage-a-la-Mode*, I, I, 194);

после подлежащего, в повелительном предложении:

...and drink ye me like a sober loyal Magistrate all those Healths you are behind. (Behn. *The City Heiress*, III, I, 213).

В современном языке *dativus ethicus* недопустим. Каковы были причины, вызвавшие исчезновение этого вида дополнения? Личное местоимение в объектном падеже употребляется в роли *dativus ethicus*, судя по материалу языка комедий, преимущественно в двух положениях: 1) непосредственно после сказуемого перед прямым дополнением

¹ Franz. op. cit., S. 266.

(he spends me three pence; forget me this woman; never conceive you the Excellency of these things) и др. или 2) после прямого дополнения (love her me, speak it me). Следует отметить, что в большинстве примеров сказуемое выражено переходными глаголами. Следовательно, если *dativus ethicus* стоит между сказуемым и прямым дополнением, он занимает место косвенного дополнения и может быть принят за таковое, или, если глагол по своей семантике не имеет косвенного дополнения, то *dativus ethicus* можно принять за прямое дополнение, а прямое дополнение выпадает из предложения.

Не меньшие затруднения возникают и в том случае, когда *dativus ethicus* стоит после прямого дополнения. В этом положении он также не укладывается в норму современного предложения, в котором прямое дополнение должно следовать непосредственно за сказуемым и может быть отделено от него только косвенным дополнением, обозначающим лицо, в интересах которого совершается действие. Частое употребление *dativus ethicus* в языке комедий свидетельствует о том, что в период Реставрации эти нормы современного предложения еще не сложились окончательно.

VI

В языке комедий полностью установилась современная система притяжательных местоимений. Существенным отличием языка комедиографов Реставрации от языка XVI в. и даже от языка некоторых современных им авторов является широкое внедрение нового притяжательного местоимения 3-го лица ед. числа среднего рода—*its*.

В древнеанглийском языке притяжательное местоимение ед. числа среднего рода совпадало с мужским родом в форме *his*, именительный и винительный падежи среднего рода имели форму *hit*. В XVI в. стало ощущаться неудобство употребления формы *his*, общей для мужского и среднего рода. Массон¹ приписывает это главным образом отпадению *h* в слове *hit*, процессу, который закончился к XVI в. *Hit*, потеряв *h*, перестало иметь что-нибудь общее с *his*. Однако этот фонетический момент не мог быть единственной причиной. XVI век, начало уточнения грамматической системы современного английского языка, требовал более четкого выражения определения—притяжательного местоимения, чем это позволял полученный в наследство от древнеанглийского языковой материал. Тем более, что в тече-

¹ D. Masson. Essay on Milton's English and Versification, Poetical works of John Milton, V. I. London, 1874.

ние среднеанглийского периода грамматический род пересмыслился в род натуральный, четко отделяющий людей от неживых предметов. Естественно, что необходимо было выразить принадлежность и другие оттенки значения притяжательного местоимения по отношению к неживым предметам иными средствами, чем по отношению к живому лицу.

В течение XVI в. употреблялись различные способы выражения притяжательного местоимения 3-го лица ед. числа среднего рода, основанные на старом языковом материале:

1) местоимение *his*, совпадающее с мужским родом; 2) иногда притяжательное местоимение женского рода—*her*; 3) форма именительного и объектного падежа—*it*; 4) аналитические способы описания—*thereof* и *of it*. Все эти способы были явно неадекватны, так как местоимения *his* и *her* совпадали с определениями лиц мужского и женского пола, *it*—с именительным и винительным падежами; аналитические описания не выражали полностью значение притяжательного местоимения и были несколько тяжеловесны, особенно в разговорном языке.

В конце XVI в. появляется новое местоимение *its*, образованное из *it* с окончанием „s“ по аналогии с флективным родительным падежом существительных, которое удовлетворяло всем требованиям. Но прошло около столетия прежде чем эта форма победила окончательно.

Франц указывает, что новое притяжательное местоимение *its*, очень существенное нововведение в области местоимения, до конца XVI в. заменялось *his* и аналитическими описаниями. До 1650 г. оно употребляется очень редко. Только во второй половине XVI в. оно находит всеобщее распространение и признание в литературе, но *his* остается еще долго наряду с ним.¹

Это местоимение впервые находим в 1598 г. в „*Worlde of Wordes*“ Флорио и затем в 1603 г. в „*Montaigne*“ того же автора, но Массон предполагает,² что не исключена возможность воспроизведения Флорио уже ранее возникшего употребления, поскольку в этих произведениях *its* встречается часто. В переводе библии (*Authorized Version*, 1611) *its* не употребляется. У Шекспира засвидетельствовано только 10 случаев применения, причем все в произведениях, появившихся в печати в 1623 г., т. е. после смерти Шекспира.³

¹ Op. cit., S. 282.

² Op. cit., p. LXIII.

³ Franz. op. cit., S. 283.

В начале XVII в. новое притяжательное местоимение еще не получило распространения в литературном языке. Массон считает, что все это время *its* постепенно внедрялось в разговорном языке, в особенности в драматической литературе.¹

Однако это внедрение шло очень медленными темпами. В комедиях положение совершенно иное. *Its* является единственной формой местоимения на протяжении всего рассматриваемого периода. Ни один из способов употреблявшихся ранее (и даже в XVII в.) не встречается. Одного отрывка будет достаточно для иллюстрации этого положения:

This Morning is its last rehearsal, in their habits, and all that, as it is to be acted; and if you and your Friend will do it but the Honour to see it, in its virgin attire, tho' perhaps it may blush, I shall not be ashamed to discover its Nakedness unto you. (Buckingham. „The Rehearsal“ I, 1, 9). Речь идет о пьесе Бейза.

Интересно сопоставить употребление *its* в языке комедий не только с языком предшествующего периода, но также и с языком авторов, хронологически современных комедиографам Реставрации. Имеется подробное исследование употребления этого местоимения в языке Мильтона.²

Мильтон в поэзии, на протяжении всей своей литературной деятельности (1624—1674), употребил *its* всего лишь 3 раза—в 1629 г. и 2 раза между 1658—1665 гг. В прозе он избегал *its* так же, как и в поэзии. Разница по сравнению с языком комедий поразительная. Вместо *its* Мильтон использует *his* или *her*, *it* у него не встречается. Массон приводит следующее любопытное наблюдение: „Само представление или особый акт мысли, вложенный в слово *it* и его эквиваленты (*of it*, *thereof* и т. д.) возникало гораздо реже в литературе эпохи Мильтона, чем в настоящее время... Самая любопытная вещь во всей истории слова *its*..., это та степень, до какой оно избегалось до момента признания его как слова, допустимого в серьезных сочинениях, избегались даже поводы к его употреблению. Это очень заметно у Шекспира. Самое понятие, которое мы выражаем посредством *its* по всей вероятности встречается один раз в его произведениях на десять раз его употребления, которое можно найти у любого современного писателя. Следовательно, мы можем сказать, что изобретение или принятие этой формы изменило не только стиль английского языка, но и даже наш способ мышления“.³

¹ Op. cit., p. LXIII.

² Masson, op. cit.

³ Op. cit., p. LXVII.

Далее Массон, описывая так наз. *its-test*, примененный им к стихотворению, приписываемому Мильтону, в котором *its* употребляется 4 раза на протяжении 54 строк, замечает: „Не была ли эта эпитафия написана одним из тех людей в Британии, в 1647 г., которые полностью, включили слово *its* в свой словарь и чье мышление усвоило тот особый синтаксический прием, подсказываемый и облегчаемый знакомством с этим словом? Мильтон явно не был одним из них“.¹

На основании этого наблюдения можно сделать вывод, что комедиографы Реставрации были людьми, усвоившими новый синтаксический прием, но автору очерка следовало бы начать объяснение с переосмысления категории рода, вызвавшей необходимость появления нового местоимения.

Чем же объяснить такое резкое отличие языка авторов комедий от языка их современников в употреблении *its*? Очевидно, это явление следует отнести за счет специфики разговорного языка. Это местоимение, вызванное конкретной необходимостью, возникло приблизительно в конце XVI в., но как каждое новое явление, с трудом проникало в литературный язык. Между тем оно получало все большее распространение в разговорном языке и утвердилось как норма в языке среды, о которой писали и с которой были связаны комедиографы Реставрации.

Таким образом, употребление нового притяжательного местоимения *its* вместо его прежних эквивалентов является существенным синтаксическим нововведением по сравнению с языком XVI в. и даже большей частью XVII в.

Необходимость особого притяжательного местоимения среднего рода возникла в языке, как результат переосмысления грамматического рода в естественный. В течение довольно долгого периода до возникновения *its*, существовало несколько способов выражения его значения, но поскольку ни один из них не был адекватным, в живой речи и литературе возникло бессознательное, по всей вероятности, стремление избегать даже поводов к их употреблению. Поэтому распространение *its* в языке было связано с трудностями. Не все могли одинаково быстро привыкнуть к употреблению нового синтаксического приема. Раньше всего эта перестройка произошла в разговорном языке. Писатели продолжали придерживаться старой традиции. Комедиографы Реставрации полностью восприняли новое определение, ко-

¹ Ibid.

торое господствовало в разговорном языке, вероятно, уже в середине XVII в. Употребление *its* в языке комедий тождественно с современным языком.

VII

Подведем некоторые итоги рассмотренным явлениям. В языке комедий эпохи Реставрации мы находим те же формы местоимений, которые существовали в раннем новоанглийском, но в результате продолжающегося развития аналитических тенденций английского языка, количественно и качественно их употребление уже иное. В раннем новоанглийском, как и в последующем периоде, эти тенденции в области местоимения проявляются ярче всего в уменьшении количества форм местоимений, наличных в языке, главным образом, путем объединения именительного и объектного падежей в одну общую форму. Этот процесс развивается чрезвычайно медленно и неравномерно и в разные периоды истории языка выступают разные стороны этой тенденции. Развитие идет по двум путям—вытеснения именительного падежа формой объектного и замены объектного падежа формой именительного.

В первом случае—тенденция унификации падежных форм местоимений одержала полную победу только в отношении 2-го лица множ. числа—форма объектного падежа *you* в современном языке окончательно вытеснила исконную форму именительного падежа *ye*. В языке комедий мы застаем промежуточную ступень этого развития. Форма *ye* распространена едва ли не шире, чем в языке Шекспира, но люди второй половины XVII в. окончательно забыли, что *ye*—основная форма подлежащего, а *you* было когда-то только дополнением, несмотря на то, что *you* начало превалировать над *ye* только во 2-й половине XVI в. (около 1550 г.). Процесс объединения именительного и объектного падежей этого местоимения в период Реставрации закончен.

You и *ye* сосуществуют, как параллельные формы общего падежа—*„the common-case form“*, грамматически используются безразлично, как в функции подлежащего и предикативного члена, так и в функции дополнения, тогда как в раннем новоанглийском исконное грамматическое значение форм *ye* и *you* еще сознавалось (ср. *Authorized Version*). Количественное преобладание *you* в исследуемом периоде, как формы более четкой фонетически, показывает, какая форма победит в дальнейшем. Стремление семантически дифференцировать *ye* и *you* путем использования *ye* в определенных лексико-синтаксических сочетаниях для выра-

жения эмоций, наблюдаемое в языке комедий, прошло бесследно для дальнейшего развития языка.

Тенденция объединения падежных форм других местоимений проявляется у Шекспира и в языке комедий сравнительно слабо. У Шекспира в роли предикативного члена встречается чаще лишь объектный падеж местоимения 2-го лица ед. числа *thee*, в 1-м и 3-м лице—в единичных случаях. В языке комедий мы находим очень незначительный сдвиг в развитии этой тенденции. В функции предикативного члена встречаются формы *me*, *us*, *them* в единичных случаях, *thee*—чаще, *him*—несколько раз. Эта тенденция получает большее распространение в разговорном и вульгарном языке XVIII и XIX вв. В современном языке форма объектного падежа местоимения 1-го лица ед. числа вытеснила именительный падеж в обороте *it is me*. В раннем новоанглийском и в языке комедий форма *I* в этом обороте преобладает.

Вторая сторона процесса стирания падежных форм местоимений—вытеснение объектного падежа именительным—в современном языке не отражена. В раннем новоанглийском и в языке комедий в области личных местоимений она менее сильна, чем первая. Именительный падеж употребляется в роли объектного по преимуществу после союза *and* в застывшей формуле. Мы находим более полное отражение этой тенденции только в том случае, когда дополнением является вопросительное местоимение *who*, которое стоит в начале предложения. В этом положении употребление дополнения в форме именительного падежа позволяет сохранить внешний облик трехчленной формулы английского предложения. Однако в современном языке эта форма тоже не победила.

Стремление к ограничению количества местоименных форм в языке комедий проявляется также в том, что в этот период уже созданы предпосылки для устранения местоимения 2-го лица ед. числа *thou*. *Thou* чаще чередуется с *you* в одном предложении, чем в предыдущие периоды. Благодаря этому чередованию эмоциональное значение *thou* ослабляется, облегчая его полную замену местоимением *you*. Эта замена завершается в XVIII в. Исчезновение *thou* вызвало исчезновение окончания 2-го лица ед. числа глаголов в настоящем и прошедшем времени (*est*), но этот процесс взаимообусловлен.

Итак, в языке комедий мы застаем ступень развития системы личных местоимений, непосредственно предшествующую современной. Но в этот период остается еще неустраненным параллелизм форм грамматического выраже-

ния, хотя, как отмечалось выше, качественно и количественно употребление этих местоименных форм иное, чем в раннем новоанглийском. Две формы употребляются в одинаковой грамматической функции:

Thou и you — как семантико-морфологические варианты,
 you и ye } воспринимаются как фонетико-морфологи-
 them и 'em } ческие варианты.

Из этих шести форм в современном языке сохранились только две — you и them.

Другой особенностью, которую язык комедий эпохи Реставрации разделяет с ранним новоанглийским, является употребление так наз. *dativus ethicus*, особого типа дополнения, чуждого современному языковому сознанию. *Dativus ethicus* исчез из языка, повидимому, потому, что он не нашел себе места в схеме современного английского предложения, тем более, что в английском языке есть другие лексические и синтаксические средства для выражения его содержания. Возможность употребления этого типа дополнения, которое занимает место, закрепленное в настоящее время за косвенным и прямым дополнением, свидетельствует о том, что во второй половине XVII в. современная структура простого предложения не стабилизировалась. Сравнительно частое употребление этой конструкции показывает также, что объектный падеж личных местоимений несет большую синтаксическую нагрузку, чем в настоящее время, выражая не только косвенное, прямое и предложное дополнения, но также и особый тип дополнения — *dativus ethicus*.

Изменения в составе местоимений, рассмотренные в настоящей работе, непосредственно предшествовали установлению современной системы личных местоимений. Они произошли во второй половине XVII в. — в том периоде, когда структура языка являлась переходной от раннего к позднему новоанглийскому. Все эти изменения — не частные случаи языкового развития, а проявление общих закономерностей, заложенных в строе английского языка, главным образом, стремления устранить ряд пережиточных флексивных форм.

Появление и широкое распространение местоимения *its* также не случайно. Оно знаменует собой выработку новой категории одушевленности и неодушевленности, только намечавшейся в раннем новоанглийском и сменившей отживший грамматический род.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Доц. Э. Якубинская-Лемберг. Л. П. Якубинский. Некролог	3
Список печатных работ Л. П. Якубинского	8
<u>Проф. Л. П. Якубинский.</u> «Поучение» Мономаха как памятник древнерусского литературного языка	10
Проф. Б. А. Ларин. О принципах составления атласа славянских языков	23
Доц. Э. И. Каратаева. К вопросу о развитии бессоюзного предложения в русском языке	37
Доц. С. С. Советов. Стилистическое осмысление мужеско-личных окончаний и «предметных» окончаний в постическом языке «Гражины» Мицкевича	51
Доц. Ю. С. Маслов. К вопросу о происхождении посес- сивного перфекта	76
Доц. А. В. Десницкая. К вопросу о соотношении именных и глагольных основ в индоевропейских языках	105
Доц. Е. А. Реферовская. К вопросу о категории вида в языке французского народного эпоса	140
Проф. Р. А. Будагов. Этюды по историческому синтаксису фран- цузского языка	160
Проф. В. Н. Ярцева. Слова-заместители в современном англий- ском языке	190
Доц. И. П. Иванова. Семантика английских слов в связи с французскими заимствованиями в эпоху становления национально-литературного языка	206
Доц. Л. Л. Иофик. Образование современной системы личных местоимений в английском языке	222

Подписано к печати 22. II. 1949 г. М-02777. Печ. л. 15 $\frac{3}{4}$.
Уч.-изд. л. 18,2 Тираж 2000 + 50 отд. отт. Заказ № 1023.

Типография ЛГОЛУ. Ленинград, Университетская набережная, 7/9.



